

К 1397739



Выразительность и энергия для литературы просто необходимы... Именно это качество несет в себе проза Галины Щекиной. Экспрессия текста, превращающаяся в экспрессию танца, музыки... Экспрессия вызова также содержится уже в самом названии романа «Графоманка», расположенном рядом с фамилией автора. Знаки вопроса, без которых героиня Ларичева не может обойтись, отражают ее эмоциональное состояние, им она заряжает читателей.

Сергей Фаустов, критик

'Э.РА - Летний сад' серия  
"Визитная карточка"

**Галина Щекина**  
**«Графоманка»**  
роман

финалист премии  
«Русский Букер»–2008

shekina.ru  
galera50@gmail.com



Галина Щекина **ГРАФОМАНКА** роман

серия **Визитная карточка**



**Галина Щекина**

**ГРАФОМАНКА**

роман



**Галина Щекина**

# **Графоманка**

**роман**



**Летний сад**  
Москва  
2008

УДК 821. 161. 1-1  
ББК 84 (2 Рос = Рус) 6-44

**Галина Щекина.**

**Графоманка. Роман.**

М.: Издательское содружество А. Богатых и Э.Ракитской (Э.РА);  
издательство "Летний сад", – 196 с.

Издание второе.

**Серия «Визитная карточка»**

**в рамках проекта "Э.РА-Летний сад"**

**Роман «Графоманка» Г. Щекиной стал финалистом премии  
«Русский Букер»-2008.**

*На обложке работа Василия Птюхина «Камерата»  
Фотография автора на обложке Наталья Сучковой  
Куратор издания Елена Шмыгина  
Корректоры Любовь Молчанова  
Анастасия Астафьева*

*Автор благодарит Союз российских писателей за содействие  
в издании книги.*

*Особая благодарность Сергею Фаустову, без которого роман  
не мог бы состояться.*

*Галина Щекина родилась в 1952 в Воронеже, там же закончила университет. В Вологде с 1979 года. Начала писать в 1985, публиковалась в «Книжном обозрении», «Дружбе народов», «Литературной России», «Журналисте», сборнике «Женщины и СМИ» (Москва), альманахе «Илья» (Москва), журналах «У» (международный), «Стороны света» (Нью-Йорк), «День и ночь» (Красноярск), «Вологодский Лаг». Член Союза российских писателей с 1996 г.*

**ISBN 978-5-98575-379-0**

All rights reserved

© Галина Щекина, 2008

---

### От издателя

*Галина Щекина работает в литературе много лет. Работает честно и бескомпромиссно, без скидки на всевозможные обстоятельства и соблазны, которые могли бы отвлечь ее, талантливого прозаика, от той магистральной линии, которую она выбрала. Линия эта, как Вы, читатель, успели догадаться, — наследование лучших традиций русской классической прозы — от Пушкина до Довлатова, от протопопа Аввакума до Александра Солженицына....*

*И не случайно я вспомнила об Аввакуме. Жизненный путь современной женщины-писательницы так же тяжел и полон опасностей, как когда-то был тяжел и опасен путь Аввакума... А силу возмущения, с которым восстает автор этой книги против пошлости, бытовухи, чернухи, мещанства и глупости, можно сравнить лишь с силой неистовства мятежного протопопа. Остроумие, ирония и самоирония Галины Щекиной лишь выгодно оттеняет внутреннюю силу ее прозы.*

*Проза Галины Щекиной вызывала и вызывает самые неоднозначные отзывы — от полного неприятия до восторженного преклонения. Не вызывает она только одного — равнодушия. А это самое главное.*

**Э. Ракитская**, член Союза писателей Москвы,  
член правления Иерусалимского отделения  
Союза русскоязычных писателей Израиля.

---

## О Галине Щекиной и ее книге

...

Оказавшись однажды в Вологде, я познакомился с Галиной Щекиной и получил от нее рукопись романа «Графоманка». Щекина в Вологде персона чрезвычайно известная. Недоброжелатели считают ее авантюристкой и говорят, что название этого романа полностью соответствует облику и образу автора, поклонники почтительно именуют Галину Щекину «бессменной повивальной бабкой вологодского «андеграунда». То, что она — лидер, для меня так же несомненно, как и то, что она — талантливая писательница, знающая, как и куда поставить слово в прозе. К ней тянутся молодые и не очень молодые северороссийские люди, не желающие, чтобы их малую родину воспринимали исключительно в контексте хоть и великолепной, но окаменевшей, застывшей «памятниковой» культуры. Ведь в Вологде, как и везде по России, обнищавшие братья и сестры - литераторы на радость чертям разведены по разные стороны так называемой «баррикады».

Щекина постоянно что-то изобретает, придумывает, осуществляет «проекты», издает рукописные и интернетовские сборники, участвует в диловинных конференциях. То есть, она — живой и действующий литератор, в чем читатели имеют сегодня возможность убедиться. Хорошая современная русская литература водится не только в пределах Садового кольца или в окрестностях Невского проспекта, но везде, где живут нормальные люди и кипят страсти. Именно такие личности, как Галина Щекина, не дают нашей литературе заснуть и свалиться с лавки.

*Евгений Попов*

### Экспрессия

«Графоманка» взрывает пласт (скрытый даже от большинства членов Союза писателей) взаимоотношений начинающих писателей с Союзом писателей — корпоративной организацией, оберегающей чистоту жанра, мировоззрения, многого другого, что не имеет прямого отношения к искусству и выступает против того, что напрямую к оному относится. Зачастую литературные семинары, устраиваемые творческими союзами, являют собой типичное промывание мозгов. Кстати, фразы, услышанные Ларичевой и приведенные в повести, взяты целиком из стенограмм реальных семинаров.

Экспрессивная информация — содержащая данные об эмоциональных свойствах произведения искусства, главным образом того, что оно изображает. Выразительность и энергия для литературы просто необходимы, чтобы компенсировать упомянутые уже в начале недостатки литературы. Именно это качество несет в себе проза Галины Щекиной. Экспрессия текста превращающаяся в экспрессию танца, музыки...

---

Экспрессия вызова также содержится уже в самом названии повести «Графоманка», расположенном рядом с фамилией автора. Знаки вопроса (в повести их бесконечно много), без которых Ларичева не может обойтись, отражают ее эмоциональное состояние, ими она заряжает своих собеседников, отчего происходит буйное общение.

Проза Щекиной — проза эмоционального экстрима. Она естественным образом продолжает линию русской литературы, начатой Викторией Токаревой, Людмилой Петрушевской, Людмилой Улицкой, Ниной Горлановой. У Галины Щекиной есть изюминка — способность наполнить диалоги или описание природы своей собственной, присущей только ей эмоциональной энергией. Это делает чтение захватывающим.

*Сергей Фаустов, Вологда*

### Эгоизм языка

...Эгоизм языка, с заложенной в нем самой энергией себялюбия, и есть защита от влияния извне и подавления творчества, а значит и от графомании. Эту фразу стоит записать отдельно — «эгоизм языка — защита от графомании». Антитеза — графомания — это подражание. Графомания — это стремление писать заимствованным, или стилизованным под общепринятый, языком. Есть графомания или нет графомании — это вопрос эгоистичности языка. Стремление подражать может быть здоровым или болезненным, но в любом случае — это мания, а не творчество.

Стремление писать собственным себялюбивым языком не может быть названо графоманией по определению. Заслуга Галины Щекиной в том, что она рискованным и смелым заголовком подняла тему и авторским литературным текстом эту тему закрыла.

*Сергей Фаустов, Вологда*

### Предупреждение критики

Не признаю термин «женская проза». Для меня и Людмила Улицкая, и Виктор Пелевин — представители того «нежного ремесла», о котором постоянно и мучительно размышляет литератор Ларичева в «Графоманке» Литература и литература. Не женская, не мужская. Есть НЕлитература. Галину Щекину я к ней отнести не могу.

*Татьяна Рожкова, Вологда*

...

У Булгакова: в XX веке Мастер распят социумом, как Христос в I-м; искусство — способ жизни художника. У Петрушевской: мир — дисгармония; в нём нет ни счастья, ни покоя, ни воли... У Щекиной: мир прекрасен; я хочу его писать, разве я виновата, что не могу не писать, что я

---

такая, как есть, художественное постижение бытия — счастье и смысл жизни.

Перед нами три художественных высказывания на тему «жизнь художника слова». Высказывание Галины Щекиной могло бы стать более убедительным, будь оно более выстроенным. Она скажет на это: «Вот ещё одна критика». А вся «Графоманка» — это подсознательный отпор всей и всяческой критике. Весь текст произведения — это предупреждение критики.

*Татьяна Рожкова, Вологда*

### **Другое время – другой язык**

О «Графоманке» были сказаны принципиальные вещи людьми, с которыми я не соглашаюсь. Это люди, которые попытались покопать по мелочи. Вещь довольно сложна, ибо она имеет в наличии какую-то антихудожественную сторону. Это кажущаяся сторона: здесь намеренно огрублена действительность, в которой мы живем, несомненно, присутствует тут и сатирический аспект, и намеренная краткость языка — которую можно было бы представить в доказательство невладения литературным языком — но!.. Такой язык используется сейчас широко. Учась в литинституте, я имел возможность убедиться... Почему это происходит? Как раз параллельно с «Графоманкой» я читал набоковскую «Машеньку». Литература конца XX века отказалась от языка Бунина, Набокова, Чехова.

В отличие от Набокова и Чехова, когда время было замедлено, герои могли позволить себе смотреть на пыль на ботинках — здесь жизнь и время стремительны. И бег по работам, редакциям, и домой, и в магазины — и т. д. — сам ритм, события вокруг не позволяют писать языком прошлого. Так вырабатывается новый, как бы газетный язык, даже можно сказать, что это публицистика. Но это поверхностный слой. Когда вдумываемся глубже — я не буду говорить, что нравится, что нет, есть и то, и другое — по этому произведению можно вполне определить, как жили люди определенной эпохи (по Руслану Кирееву — это есть физиологический очерк).

В центре книги — судьба талантливой женщины, которая из скромности называет себя графоманкой. Слово «графоман» — я раньше говорил — для меня человек пишущий. А писателем может быть не каждый. Графоман — человек, который плохо пишет, а как мы назовем художников? Ни у художников, ни у музыкантов, плохо они пишут или нет — нет такого разделения, только у писателей. Пишет, когда писать вроде бы не нужно. Даже название сложно. Графоманка — пишущая женщина, но это в свете определенных оценок...

Вообще рассказы Щекиной наполнены нашей страшной бытовухой, какой-то вселенской коммуналкой, неустроенностью и неприкаянностью... Где женщины плачут ночами в подушку, а мужчины готовы в любой момент умереть от инфаркта. Мастерство автора таково, что все

---

тонкости быта и бытия рассматриваются как в микроскоп. Но забыли мы, что надо любить друг друга, жалеть, тогда проживем подольше, не полезем в петлю, как Гена Шпаликов, не задохнемся от непосильной работы, как Шукшин. И тогда поэты перестанут бранить поэтов, исчезнет противостояние Моцартов и Сальери, люди перестанут ругать рассказы Щекина. То, что делает в литературе Щекина, дает читателям повод для размышлений, значит, еще одним талантливым писателем стало больше.

*Валерий Архипов, Вологда*

### **Прорыв к свету**

Роман — ДЫШИТ нерадостной жизнью героини, мы видим ОТКУДА она прорывается, стараясь сохранить свою душу. Поэтому в текст логично вплетаются мотивы веры, религии. Их косвенная подача — тоже интересна.

А ЧТО движет душой самой Ларичевой? Автор не дала нам НАДЕЖДУ, поскольку само повествование получилось безнадежным. И небольшой успех Ларичевой в конце повести ее не дает. Каждая «графоманка» видела такие «успехи» не раз и знает им цену.

Причиной безнадежности повествования я вижу слишком жесткое следование автора общей логике жизни российской женщины. Но литература — это не жизнь, это ее отражение под особым углом, даже ее вторичное отражение. Вот кроме смешных, в чем-то циничных, как и у всех нас, молитв Ларичевой Господу, я не увидела этого судорожного, упрямого движения женской души к свету, ее прорыва к творчеству.

*Ирина Дедюхова, Москва*

### **Нужен ли хэппи-энд**

«Графоманка» ждёт своего критика. Критика глубокого и серьёзного, который не будет сетовать, что произведение не решает «воспитательных задач», и ахать по поводу того, как тяжело жилось в застойное и постзастойное время.

Эта книга может быть прочитана как роман о становлении писателя. Или как произведение о женской судьбе. Но прежде всего это книга о сложном пути человека к себе. О духовном поиске, который ведёт каждый из нас. А на этом пути нет ни случайных людей, ни случайных камней.

Нужен ли «Графоманке» хэппи-энд? Хэппи ли этот энд? Бедная Ларичева. Такая живая, такая полноводная, такая родная и узнаваемая. Раненая на речных перекатах, упрямо бредущая сквозь колючие дебри статотчётов, смятого быта, сорной травы, взявшей в полон твои советские сотки.

---

Опустошённая и усталая, хватанувшая влаги жизни со вкусом дешёвого вермута, ошеломлённая — что ты будешь делать дальше, графоманка, верная рыцарша пера?..

Сплошной поток, могучее движение личности, формирование, лепка, само-лепка, формование, само-формирование этой личности — репликами окружающих, болезнью сына, снисходительностью мэтров местного рОзлива, картошкой в надёжном глиняном саркофаге, дремучими пьянками поэтов — вдруг резко обрывается в финале.

Ощущение: неужели этого ты и хотела, бедная Ларичева? И — реверс этого ощущения: слава те, Господи, не зря «петалась», пусть хоть так, ведь вроде забрезжило начало чего-то нового, большого, — это начало нового романа Ларичевой с жизнью.

*Мария Сидорова, Мирный*

### **Прочитав последнюю страницу, я осиротела**

«Произведения, которые мне хотелось читать не прерываясь, могу пересчитать по пальцам. Каждый день уходя на работу, я только и мечтала о том, чтобы побыстрее вернуться вечером, завалиться в кровать и читать эту книжку — «Графоманку». Прочитав последнюю страницу, я уткнулась в эти розочки, торчащие из машинки, я резко осиротела. Мне захотелось чего-то дальше... Почитав такое, хочешь сесть и тоже написать что-то хорошее...»

Это мой отзыв более чем десятилетней давности, это была еще та, самая первая «Графоманка». За эти годы она подтянулась, причесалась, нарастила несколько новых глав, но осталась все такой же родной и понятной, такой же узнаваемой в своих поступках и мыслях, в своих героях и местностях. Главное, что сбивало с ног тогда и сбивает сейчас, это полная открытость, душевная раздетость Ларичевой-Щекиной. Ты словно подсеяешься в ее тело, в ее мозг и каждую мысль героини продумываешь и проживаешь, как свою. И даже неровность повествования, кажущиеся, порой, притянутыми за уши ответвления, не всегда лирические отступления, в конце концов, играют на общую атмосферу, на глубокое погружение в мир героини.

Без сомнения, «Графоманка» большая удача Галины Щекиной. И как счастливо, что драматургия повествования вдруг совпала с драматургией реальной жизни — Ларичева-Щекина номинирована на «Букер», а это посерьезнее немецкой премии от «Дойче Велле»!

*Анастасия Астафьева, Вологда*

---

## Сложный случай

...Самый сложный случай — вологодская писательница Галина Щекина с ее «Графоманкой». Ни «социального реализма», ни «магического». Только дура дурацкая, губернская журналистка Ларичева собирает истории «про людей»: на родительском собрании, на всенародном сборе клюквы, на чернушной «творческой» пьянке, в общаге и в регистратуре поликлиники. Худая, нелепая, с кроличьим воротником жизнь 1980-х обретает свой язык — и человеческое лицо».

*Елена Дьякова, Москва, «Новая газета»*

---

## ПОД СВЕТАЛЫЕ СВОДЫ

Ларичева вбежала под светлые своды поликлиники в сильном запале. Она торопилась и скользила на свежeweымытом полу. Раздев ребенка, она рухнула вместе с ним и с пальто прямо на барьер раздевалки.

Ребенок звонко закричал: «Сам тете отдам!» Тетя стала распахивать пальто, а Ларичева потянулась за сумками.

— Эй, тихонько, ребенка с высоты уроните! — испугалась гардеробщица.

— Ах, да, извините.

У нужного кабинета спала неподвижная очередица, а у других кабинетов не было ни одного человека. Девочки и мальчики в трикотажных костюмчиках припали к родителям и забубенно смотрели вдаль. У Ларичевой ребенок тут же свалил с окна цветочный горшок.

— Следите за ребенком, — строго велела крахмальная медсестра.

Ларичева поспешно сунула горшок на место неразбитой стороной к людям и взяла ребенка в мертвые клещи. И вполголоса запела ему на ухо: «Посадил дедуля репку, пребольшая выросла...»

Участковая излучала тепло, как УВЧ:

— Фенкарол, бисептол?

— Поглотали.

— Электрофорез, ингаляцию?

— Отходили.

— Ой, не торопитесь. В легких чисто, но посидеть бы вам еще дома.

Элеутерококк покапать в ложечку.

— Не могу, на работу надо.

— Ну, как хотите. Печать в боксе.

Ларичева побежала по этажам, спасибая на ходу. Бокс был закрыт ровно полчаса, после чего сразу наступил обеденный перерыв.

— Не просите, не приму.

— Но почему? Полчаса вас ждала!

— Я не гуляла. Двадцатидневного на соскобы принесли, сами знаете, что такое. После обеда придете.

— После обеда не могу!

— Ну и мамочка. Государство ей дает дни на лечение, а она скандалит. Нарожают, потом плачутся.

Ларичева привыкла, что сначала из девочек воспитывают матерей, а потом этим же попрекают. Она уныло потащилась прочь, под светлые своды гастронома. Люди в коконах стылого пара казались безразличными и на одно лицо. Ларичева поняла, что все отличаются друг от друга не носами, не подбородками, а именно выражением лиц. Нет выражения — нет человека. Зимой всегда так.

---

Добыв кефира и дорогой колбасы, она обнаружила, что сынок пристроился к бабулькам и чего-то поел.

— Ты зачем побирался, сынок?

— А чего ж вы не кормите? Дите, оно жить хочет.

Ларичева некультурно отхватила зубами кусок колбасы и дала ребенку, чтобы разом заткнуть рот и ему, и бабульке. И еще — чтоб без нервов позвонить.

— Алло, статотдел? Забутину. Привет, выписали нас. Но только я приду в понедельник, а папка с оборудованием там, в нижнем ящике, вся запущена. Ты не занесешь? Я посчитала бы на выходных... Вот какая ты клевая. Жду вечером!

Оглянулась — сыночек пыхтел над колбасным огрызком.

— Алло, это союз? Мне бы Радиолова. Посмотрели рукопись? Хотела бы сейчас, ага...

Волоча сумки и ребенка, Ларичева въехала под светлые своды союза. Возвышенная секретесса ласково кивнула ей:

— Радиолов на заседании.

— Да мне только рукопись взять...

— Что с вами делать.

Взяла телефонную трубку, скользнула взором по сумкам, по сопливому сыночку.

Ларичева томительно краснела.

Вышел известный писатель Радиолов, корневик и душелюб. Выпустил много книг и казался необъяснимо добрым. У него был строгий белый пиджак и потемневшее в лишениях лицо.

— Посмотрел ваши наброски первого, если можно так сказать, приближения... Да вы присядьте. — Он глубоко вздохнул и опустил глаза. — Ну, зачем вы так, голубушка? Черен ваш мир, злобен. Не любите вы людей. А ведь они несчастны — как я, как вы, как все... Держите сына, это ронять нельзя, сувенирный столик, его выточили умельцы из глубинки... Их жалеть надо. А вы хлещете, ерничаете. Зачем? От этого сжимается сердце! Нехристианский подход! Но я согласен — есть характер. Как человеческий, так и литературный. Если хорошенько все это почистить, перепечатать, то можно рассчитывать на две профессиональные рецензии. Держите рукопись, держите сына, а то на него упадет эта сова, символ мудрости, если можно так сказать... О стилистике стоит отдельно поговорить, когда придете одна. Над этим еще работать и работать. Не можете без жаргонизмов. И концовки кое-где сочиненные. Да я верю... Нет, я не о первооснове, а о правде художественной. У нее свои законы... Ну, все, пора, у меня там люди, неудобно... Работайте, приходите, буду ждать.

Ларичева шла и соображала, почему это из жизненной правды не вытекает художественная. А на улице было холодно, чвиркал нос у прохожего, чвиркал под каблуком снег и чвиркали окоченевшие воробьи. «Холодно, бело и лыжно», — задыхаясь, бормотала Ларичева слова из

---

своей заветной тетрадки, — «неподдельная зима... можно ли ругать облыжно — даденное задарма?» У всех же есть в молодости песенники, вот и у Ларичевой был. Туда она записывала стихи, которые пела, и, чтобы долго не искать, обычно рядом с гитарой клала и тетрадь эту. На вечеринках тетрадь не требовалась, потому что народ под хмельком требовал петь «Милая моя». Но когда это была не вечеринка, а просто свои, например, Забугина, так тетрадь сразу находилась. Ее как откроешь — сразу в начале было крупно выведено: «Огромный рот, глаза на выкате, плутней и оборотней рать. Вы мне, пожалуйста, не тыкайте, не трогайте мою тетрадь!.. Один наказ: «Твори, свободная, по слуху ноты подбирай. Ведь музыка не папка нотная, а горе, и гроза, и грай!».

После холода сынок быстро сморился в теплом автобусе, и поэтому пришлось тащить его на себе от остановки до самого дома. Вот уж если где были темные, а не светлые своды, так это в родном подъезде. Руки отнимались от тяжести, но Ларичева помнила, что ее похвалил сам Радиолов, ради этого надо идти и дойти. И печатать всю ночь. И кормить супом растомленного капризного дитя. И разгребать посуду, и заводить стиральную машину, и все такое. Было бы только ради чего!

Стиральная машина дала течь и сделала на полу моря. Снизу из конторы пришло чопорное бюро эстетики и укорило запаленную Ларичеву:

— Послушайте, нельзя ли не лить нам на голову помой?

— А зачем вы там оказались внизу? Сами проектируете, сами и терпите.

— Жилкомплексы — это проектируем не мы, мы — промздания...

— Наплевать.

Бюро эстетики ушло в бессильном гневе. Пока моря сгоняла в ведро, пришла из школы дочь и свалила у порога портфель. Он упал как кузов с кирпичом.

— Садись, сегодня есть путевый рассольник.

— Сяду. — Приговоренная к рассольнику дочь откинулась на стенку как княжна Тараканова. — А на собрание пойдешь? Или опять записку напишешь?

— Какую записку?

— Да прошлый раз было собрание, а к тебе пришли поэты, вот ты и написала в записке, что нас затопило... И не пошла.

Ларичева вспомнила постыдный факт с поэтами и понурилась.

— Пойду, пойду... Ребенок встанет, одень, дай кефиру с печенюшками. И уроки делай. Я скоро.

Под светлыми сводами школы назревало объединенное родительское собрание начальных классов. Сначала каждый родитель отсидел внутри-классовые проблемы, потом все «а-б-в» согнало в актовыв зал.

Там застрочила пулеметная очередь повестки дня. Крепили связь семьи и школы. Рыжеволосая Синицкая-мать из параллельного «б» в зеленом вязаном платье, с янтарем на шейке, говорила складную речь.

Синицкой хорошо было крепить, она работала завлитом театра и во-

---

дила класс к себе на работу. А куда бы повела Ларичева? К себе в статотдел, что ли?

Ларичева вспомнила про свою работу и помрачнела. Она ведь три года там отсидела и ничему не научилась за все это время. Ее могла научить только ее начальница Пospelова, но та ничего не объясняла. Смотрела беспомощными голубенькими глазками — «Сидите тихо, пишите троху». — «Когда ж я буду постигать азы?». — «Да вы и так уже все знаете. Учились ведь. Тут надо все сбивать на угол»...

У Пospelовой было пятеро детей, и супругник всю жизнь искал приключений, а она сама была молчаливой и болезненно толстой женщиной. Когда в отделе были злые разборки, она не вмешивалась, она испуганно пила отвары: «Сидите тихо, пишите троху...» Ей не было и пятидесяти, когда ее настигла внезапная смерть от болезни почек. Свою короткую жизнь она прожила, перемогаясь и во вред себе, а в гробу лежала в новом ненадеванном трикотажном платье и с чужой оранжевой помадой на губах. На кладбище Ларичевой хотелось крикнуть: «Назад, все сначала! Перемотайте пленку!».

Никто не знал, что, когда страшная Пospelова впервые услышала голос Джона Леннона, по ее телу прошла волна блаженства...

На поминках бедную Пospelову, как обычно, залили водкой, заели жареной печенкой и красными помидорами. Вдовец довольно скоро женился, а на работе все пospelовские папки аккуратно собрали и сожгли в котельной. И Ларичеву посадили новые папки писать, и тогда она поняла, что с ней будет все точно так же... Жизнь покатит вал за валом, накрывая с головой...

А в это время на трибуну вышел Барсов-отец из параллельного «в», пытаясь осветить кружковую работу.

— ...раздувать профанацию подобного рода. Я люблю переплетать журналы, а сын не любит. Люблю музыку — английские газеты перевожу, а он нет. Он не любит ничего. Он просто взял мою пленку с группой «Мэднесс» и гонял, пока не порвал в куски. Что с ним делать? Конечно, легче всего сдать в какой-то кружок и отделаться. Раньше он был кудрявый крошка, и я водил его на компьютеры играть, а потом он подрос и ничего, кроме компьютера, знать не хочет, даже учиться. А я что, должен ему компьютер покупать? Наше понятие о ребенке сильно отстает от него самого. И чтобы ему помочь, надо стать, как он, изменяться вместе с ним. А нам это не под силу. Вот поэтому я пожелал бы всем нам любви. И еще гибкости — так сказать, зеленеть и давать побегу.

Зал сильно зашумел. Бордовая завуч в вологодском воротнике перевернула плечами, видно, она ждала чего-то другого... А Ларичева неистово радовалась живому человеческому слову. Пока шла смена повестки, она заглянула в пудреницу и ужаснулась. На ней лица не было. Она даже рассольник не успела поесть, а ночью мало спала, вот и результат. В косметический кабинет очередь на месяц вперед, а у Синицкой, наверно, свой косметолог. Хотя Забутина говорит — главное не это, главное цело-

---

ваться побольше. Но с кем? Муж у Ларичевой очень мягкий, терпеливый человек, но если заставить его целоваться, он сдурееет... Тогда держись...

— О профилактике кишечных заболеваний. — Миловидная врач-педиатр зашелестела докладом. — Вглядитесь в ваших ребятшек. Они бледные, вялые, не едят, не учатся? Подобные признаки уже могут означать угрозу. У нас исследовался мальчик, сильно истощенный на вид. После серии анализов у него обнаружили особи взрослых аскарид даже в легких. А внешне это было так похоже на пневмонию... По последним данным, сорок процентов школьников заражено аскаридозом и другими видами... Собрать немалые средства на партию пирантела... Полностью выбраны фонды...

По лицу Ларичевой текли слезы. Она была бессильна перед аскаридозом в таких тотальных масштабах, она не могла шевельнуться — как Пospelова, которой накрасили губы не той помадой. Это был асфальтовый каток, он ехал на живое тихо и неотвратимо. Остальные родители тоже сидели пришибленные, а иные со зверскими лицами уже пробирались к выходу. Но их настигал трубный глас завуча:

— ...На беззаветный детский труд нельзя ответить молчанием и черствостью... Концерт художественной самодеятельности и завершит нашу встречу, превратив ее постепенно в «Огонек».

В заскрипевшие разом двери въехали тележки с подносами в пять этажей. Это были стаканы с чаем и куски рулета, все дымилось и пахло.

— Смотрите, что творят. Детей два часа морили, а теперь они плясать, а мы трескать. А кому полезет?

— Вчера в большую перемену дали яйцо и гранатовый сок. Видать, сэкономили.

Вместе с рулетом на забитых родителей обрушился шквал хороших песен в честь благополучно скончавшейся четверти.

Возле Ларичевой остановилась пигалица с подносом и синими кругами под глазами. Рулеты ляпали пятна на ее белый фартук. Ларичева осторожно взяла рулет, шмыгнула носом и быстрее оттуда.

В раздевалке тем временем шло свое собрание. Синицкая-мать что-то доказывала насчет спонсоров. Сапеевы утверждали, что купили дом в деревне. Обойдутся без школы — дети будут читать рассказы Толстого и молитвы, а потом корове корм задавать, вот и вся школа, и людьми вырастут. А тот же Барсов-отец видел выход только в организации частных школ...

Слушая их и не слыша, задерганная Ларичева стала править через дорогу, но вскоре узрела вереницу автобусов. Они загораживали всю остановку и стояли далеко вдоль дороги, на окнах белели листовки: «По такой дороге больше не поедem». И тут она совсем ополумела. Ей казалось, что у детей что-то стряслось за эти два часа, что загорелась проводка под линолеумом, ворвались в дом бандиты. Аскаридоз развился в последней степени...

Обнаружив напротив банка автомашину «Ниссан» с гостеприимно

---

распахнутой дверцей, она вскочила туда и толкнула дремлющего шофера. Тот с перепугу было поехал, потом, проморгавшись, забоговал, загаля. Но Ларичева уже увидела знакомую вывеску с надписью ОСВОД, выскочила, побежала, спасибая на ходу.

«Только бы живые были... С глистами, без глистов, все равно. Только бы дверь была не взломана, а они там в наличии были. Ну, я прошу тебя, Господи, сделай, и я никогда больше не буду просто так уходить, ни на собрание, ни к поэтам...»

Ворвавшись, яко тать, в квартиру, она первым делом увидела в ванной сыночка, который мирно переливал шикарнейший рассольник прямо в тазик с колготками. А рядом сидела на стиральной машине дочь и обливалась слезами.

— Ой, ты живая? Говори! Все хорошо?

— Живая, говорю, да толку что. Голова болит, телевизор не включается, тетрадь по природе потеряна, а вас с папой никогда дома нет.

— Ой, ну, ладно, ну, не так страшно. А я уж... Четверти конец, на тетрадь по природе махни рукой. У телевизора разбили розетку, контакт плохой. Голову мы сейчас чаем полечим, пошли чай с рулетами да омлетами пить...

— Все равно радости нету. Когда это кончится?

— Да откуда я знаю? Я вон тоже бегаю, бьюсь, как рыба об лед. Каждый учит, да тычет, а я выполняй. А ты, оказывается, молодец — смотри, как хорошо четверть кончила, и с маленьким сидишь. И потом, ты самая красивая, не то, что я...

Сынок, видя грустную ситуацию, незаметно бросил полезную работу и подключился к реву. Ларичева сидела на краю ванной и обнимала ревущую команду, забыв снять пальто.

А потом они, бормоча и всхлипывая, перешли на диван и долго так сидели, то плакали, то смеялись. На окне фольговым узором цвела красота зимней ночи. На миг окно заслонялось тенью, как у Андерсена, потому что в дом заглядывала Снежная Королева.

Но пришла не Снежная, а просто королева по фамилии Забутина и держала она в руках папку с оборудованием. И они еще с час гаддели, пили чай. Увидев в ванной целый таз рассольника, Забутина улыбнулась: «Хороший мальчик». Потом гостя двинулась к себе, а дети спать.

А когда все затихло, загудел старым вентилятором компьютер. Он всегда так медленно разгонялся, рывками — урр, урр, уржж, жжжж... У Ларичевой начиналась личная жизнь.

Ей всегда хотелось иметь богатую личную жизнь. Чтобы один ее мужчина не догадывался о том, что существуют и другие. А чтобы другие знали про того, одного, но никогда не бастовали. И чтобы все они вместе служили основой для ларичевских рассказов, но считали бы это не предательством, а честью.

---

## ЕЕ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Личная жизнь Ларичевой состояла из стрессов. В молодые годы у них в общежитии был Ручкин. Ларичева даже смотреть на него боялась — тонкое, сумрачное существо с фиолетовыми глазами и длинными ресницами. Не верилось, что такой мог быть гадом и тупицей. Однажды она дежурила на телефоне и увидела, как Ручкин, шатаясь, прошел мимо нее по коридору и где-то у прачечной, в тупике, пропал. Пришлось встать и найти... Ручкин стоял, сунувшись узким ликом в стену.

— Проиграл, что ли?

Молчание.

— Так много, что ли?

Молчание.

Ларичева сбегала к себе и протянула ему всю свою стипендию.

— На. Только завяжи с этим делом.

Он взял ее стипендию и пропил, а долг не отдал.

Она поймала его возле телефона и закричала: «Почему?». Он промолчал. Потому что это для него были копейки! Ларичева целый месяц умирала с голоду, а получив следующую стипендию, надолго впала в пристрацию. Она поняла, что ничего не понимает в людях. И когда ее просили перекинуться в картишки, она отворачивалась и резко уходила. «Зарок?» — путались ей вслед. Судьба подбросила ей Ручкина, чтобы уберечь от гораздо более страшных бед. Но Ларичева этого не понимала и страдала. Хотя была надежда, что не зря.

Ручкина трудно было назвать мужчиной. Это был порочный стебель, растение-паразит. Много раз общежитские гулянки давали повод, чтобы Ларичева рядом оказалась. Но как только оказывалась, предательский Ручкин уже оказывался под чужой задранной юбкой. И как только он понимал, что Ларичева все знает, он начинал гадить уже просто через край.

Однажды Ларичева позабыла на кухне кастрюлю с супом, вспомнила об этом ночью и, воровато оглядываясь, посеменила через коридор, ведь утром кастрюля точно была б уже пустая. Она старалась не смотреть на диван возле телефона, так как угадывала там сотрясение. Свет, конечно, был выключен, но зыбкие фонарные отражения с улицы все-таки просачивались. Диван ерзал и стучался о ветхую общежитскую стенку. Зажмурившись, она прошмыгнула мимо, не слушая сдавленные стоны и мычание.

Под светлыми сводами кухни она постояла, глубоко раскаявшись в своей вылазке. Пусть бы лучше люди съели ее суп, чем на такое нарываться. Но не ночевать же на кухне. Пришлось идти обратно. А там уже все было кончено, и даже свет уже горел, настольный. Нога, такая длинная, в дешевой джинсе и в растрепанной кроссовке, загородила ей проход. Ручкин, конечно, ну, кто еще мог быть. Она в ночнушке стояла, переминаясь, уставившись на свою кастрюльку, втянув нижнюю губу от страха. Она стояла перед закрытым шлагбаумом, потом резко подняла

---

глаза. Он сидел, откинувшись, расслабленно сложив руки на груди — какой-то мокрый, усмехался впалыми щеками. Кажется, в расстегнутых штанах. Зато глаза, те фиолетовые очи марсианские, смотрели на нее виновато и неотступно. Они ей говорили — видишь, я козел. Как ты терпишь меня такого? Как ты меня не убьешь?

И она на него смотрела виновато и неотступно. Видишь, я понимаю. Видишь, как мне больно. Но не могу я тебе помочь. И не убить тебя, и не забыть тебя. И дай пройти, наконец, не то весь этот суп...

Он глаза вытер узкой ладонью и ногу убрал.

И всякий раз, когда она вешала белье во дворе или дежурила на телефоне, он замирал неподалеку и смотрел. Он смотрел так, что сердце болело и отключалось. Личная жизнь Ларичевой уже в молодости определялась словами Вознесенского «Настоящее неназываемо, надо жить ощущением, звуком...». Как гласила поговорка — «так они и жили, спали врозь, а дети были».

В колхозы тогда студенты ездили каждый год. И в параллельной группе был легендарный пацан, который тоже долго ходил за одной и той же девчонкой, но это была не Ларичева. Он был вылитый Нурали Латыпов, в прошлом кумир знатоков из «что-где-когда», вот его так и прозвали — Нурали; узкое смугловатое лицо, раскосо-карие глаза, негроидный рот. Только волосы русой курчавой копной назад. И манера говорить тихо и убийственно — все падали от смеха. Этаким арабский принц переодетый. Но девчонка упорно его избегала. А потом стала откровенно унижать. Он ей в столовой место займет, а она — мимо. И садится чуть ли не у приятеля на коленях. Такие, как Ларичева, конечно, позволить себе подобное не могли, но такие ошеломительные красотишки могли что угодно. Нурали — тому хоть вешайся. Он рубит дрова для котла — руку ранит. Перевязывать она должна, но она ноль внимания. Поварихи перевязывают, оставляют его на лавке очухаться. Она садится на лошадь и якобы везет воду на поле, и больше не возвращается. Для всего потока — кино, а для Ларичевой пытка.

Ребят угнали в центральную усадьбу грузить кирпич. Нурали Латыпова с его забинтованной рукой оставили старшим на поле. Машин в тот день не было, все, что собирали, сыпали в гурты. Но после обеда ни с того ни с сего на краю поля заревели два военных КРАЗа, и увязающий в пахоте лейтенантик показал предписание. А что студентам предписание? Грузить-то некому. И Латыпов поставил девочек цепью, а сам полез в кузов. Первую машину загрузили нормально, а вот вторую пришлось сперва тарить в мешки. Ларичева все время дрожала от мысли, что он дергает мешки раненой рукой. Она влезла тоже в кузов и стала мешаться. Конечно, ее ласково послали оттуда... Лейтенантик тревожно поглядывал на часы, но потом отправил в кузов водителя, а сам плюнул, снял шинель и стал подавать мешки.

Когда уехал второй КРАЗ, Латыпов еле стоял на ногах. Его мутило, а по зеленым от бледности скулам стекал пот. Повязка на руке была про-

---

питана кровью и грязью. Он забыл дать команду всем, чтобы шли в корпус, просто пошел, не разбирая дороги, за ним тупо потянулись отряды студентов. Ларичева держалась неподалеку. Вдруг она увидела, что эта красотка, черт ее побери, стоит перед Латыповым и своим платком вытирает его лицо. И что-то зло ему выговаривает своим крохотным, как вишня, ртом. Ларичева поняла, что пасти его больше не надо, он теперь не один. Она поодаль обошла их и увидела, что он плачет, Латыпов. Конечно, звали его не так, но для Ларичевой он остался Латыпов на всю жизнь. Девчонка его ругает, а он и плачет, чурка проклятый. И сама заплакала. И опять поняла, что ничего не понимает. Ведь ей же очень было горько, что это не она. Но если бы она и попыталась, все равно бы радости никакой. Она должна убиваться от досады, но нет, она плакала от неведомой радости. Оттого, что чужая радость лучше своей. Оттого, что красотка оказалась человеком, не гадиной, и оттого, что чем сильнее болела его раненая рука, тем больше и слаще болело в груди глупой Ларичевой, для которой чужая боль никогда не была чужая. И личная жизнь у нее была поэтому чужая. Это был и поглотитель энергии, и ее источник.

История эта длилась не один год, и много там еще было вывертов судьбы. Но когда Ларичевой становилось слишком погано, она пыталась представить себе, что чувствовал Латыпов, когда к нему подошла эта девчонка. Все-таки бывают в жизни моменты, когда смех и слезы неразделимы. И тогда клокочет в груди и хочется записывать, записывать, чтоб плакали другие...

Однажды, пересказывая историю молодости в очередном поезде, Ларичева нечаянно встала на место этой девчонки. Получилась причудливая вещь: жалкая Ларичева приблизилась к незабвенному, а тот с девчонкой катался на лыжах, выяснял отношения, падал в яму на крупного зверя, и вообще они бились друг о друга острыми углами и привязывались навеки, такие неразъемные и несовместимые одновременно... Может, они бы рассердились, узнав о том, как переврала историю Ларичева, о существовании которой они давно забыли. Но Ларичева ничего не могла с собой поделать. Она их любила и не хотела забывать. Она их оставила при себе и дальше так с ними и жила.

В колхозе на картошке Ларичева сильно простудилась. Она простужалась постепенно и многократно, кашляла, пила ликер «Лимонный» — больше в сельпо ничего не было, — а когда приехала в город, то дело было швах. В больнице ее лечили горячим хлористым кальцием внутривенно, это ужас. Еще не очухавшись от температуры, она слышала сквозь сон всякие женские истории, каких в больнице тьма. Речь шла о дивной женщине, которая из-за любви взвалила на себя чужих детей — после развода его дети остались с ней. Она была скромная врачиха, и от нее жизнь не требовала подвигов. И если бы она бросила все и убежала прочь, то ее бы никто не осудил. Но она сделала то, что было сверх ожиданий. И он вернулся! Если раньше она была женой, а та, молоденькая, любовницей, то теперь все стало наоборот. Та молоденькая стала женой, а она, разве-

---

денная женщина в возрасте, стала любовницей своего мужа. И еще неизвестно, кто выиграл. Сам-то он был роскошный. Ларичева таращилась на женщину с восхищением... Они говорили часами напролет, в том числе и ночью. Ларичевой даже показалось, что они похожи. И вот теперь, когда Ларичева стала старой и скучной вешалкой, она вспоминала все это так, как если бы это было с ней. Муж Ларичевой тоже был роскошный, и в его аскетизм никто бы не поверил, во всяком случае, Ларичева не верила. И трагедий из этого не делала. Но как бы держала в уме — да вот, есть такой дополнительный фактор, лишнее сопротивление. Ничего страшного. Даже интересно...

Горестные женские истории привлекали Ларичеву тем, что в них было превышение над требованием жизни. Нельзя, нельзя было выжать из них ничего сверх того, что уже выжато, но они вдруг нечаянно, чудом — выдавали немислимое. Перекрывали норму доброты.

Подруга матери впереди имела карьеру. Она удачно кончила аспирантуру, и пока мать Ларичевой билась с детьми и хозяйством, та подруга сверкала, как бриллиант. И у нее были престижные поездки за границу, лучшие портнихи и вообще перспектива выйти за кого хочешь. Она могла бы идти на докторскую, если бы захотела. И был молодой человек ее же круга, молодой ученый, они встречались с третьего курса. Однажды подруга решила все-таки выяснить, долго протянется их роман или нет. Вместо внятного ответа он повел ее куда-то.

Шли больше часа, наконец, поступались в какой-то подозрительный дом. Никто не ответил. Вошли! Там тоскливая бедность, пьяная молодая женщина. Поговорил с ней молодой человек, дал ей денег, а подруга матери смотрела на ребенка. Она очень хотела ребенка, но это было такое чудовище, не приведи Бог. Голова дыней, изо рта слюна — нехороший ребенок. В колготках у него лежал кирпич — чтоб от тяжести не сбежал с места. В тарелке котлетка с налившими волосами, возле — стакан с пивом... Подруга тайком стала в тот дом ходить и все разузнала. Ее молодой человек — отец дебильного ребенка и платил бывшей милой деньги, откупиться хотел. Но та уже обессилела, запила. При нормальном мальчике тот бы женился, а так все пошло прахом...

Мать рассказывала Ларичевой, потому что всю жизнь переписывалась с этой подругой, очень ее любила. Подруга ребенка усыновила. Мальчик совсем оказался больной, пришлось с ним мыкаться по санаториям и лечебницам. Творческая работа полетела в тартарары, карьера тоже. Потом пришлось из города в деревню ехать по причине астмы у мальчика. Подумать только — красавица, умница, блестящая светская женщина — и пошла навоз вилами выгребать. Но на нее нашло какое-то помрачение добра! Это была кровиночка того, обожаемого человека...

Мальчика она вырастила. Пусть и поздно, но он научился разговаривать как все люди, и класса с третьего пошел учиться в общую школу. После армии вернулся — совхоз помог им дом резной выстроить. Отношения с матерью остались самые нежные. И, в конце концов, она расска-

---

зала ему всю историю с самого начала — нашло какое-то помрачение правды... Только молодость прошла, ее не воротишь. Сиди в этом резном доме, сиди...

Ларичевой до слез хотелось, чтобы у той подруги началась другая жизнь и любовь. Но мать рассказывала, что в письмах никаких намеков не было. И тогда Ларичева взяла и эту личную жизнь создала... Выловила где-то в поезде или больнице. Пусть подруга сторожит сельскую церковь и туда приезжает неудавшийся художник, чтобы набраться здоровья и природы, он оказался никому не нужен и совсем не ожидал на задворках жизни обнаружить такое сокровище...

Ларичева рассказывала все эти истории разным людям, и ее всегда поражало, что люди волнуются на одних и тех же моментах... Ради этих моментов и стала записывать.

В незапамятные времена муж Ларичевой принес домой списанную из конторы печатную машинку. Это стоило ему полжизни. Потому что Ларичева с упорством маньяка стала колотить по клавишам, проводя так часы и дни. В такие моменты ее трудно было отвлечь на видики или на внезапную рюмочку. И даже выпив рюмочку-другую, Ларичева начинала рассуждать о том, что может чувствовать чужой пьяный человек, да еще умирающий.

— Ты представляешь, — с жаром объясняла она, — парочка пошла разводиться. Ну, нервничали. Но оттуда вышли мирно — никаких скандалов. Пошли прощаться. Попили коньяку, поели жареного мяса, потом — что греха таить — может, и «того» — в последний раз. Так вот, он заснул, а она встала и ушла. И вены ему вскрыла. Чтобы он больше ни с кем и никогда. Представляешь?

Интеллигентный муж Ларичевой морщился, он не любил уголовщины.

— Кто тебе рассказал такую чушь?

— Этот порезанный и рассказал! — радостно кричала Ларичева.

— Ну и что ж ты его не расспросила, что он там чувствовал?

— Он не помнит...

— А вены помнит. А может, он напрасно на бедную женщину сворачивает? Сам и порезался с коньяка?

— Да? — Ларичева открывала рот и забывала закрыть. — Это мысль...

Но муж считал эти беседы глубоким маразмом. Он поскорее уходил с кухни, обязательно проверял, спят ли дети, ложился в кресло и включал видик. И крутил эротику, тонкую, сияющую, легкую. Герои шутили и баловались в постели, веселые, свободные существа. Они не нуждались в разговорах, слова были лишними, они понимали друг друга без слов. Близкий человек улыбался и заманивал Ларичеву на диван. И та, уже стоя на четвереньках, бормотала: «Да что такое? Опять рассказ не дописала...».

Ларичева казалась с виду сухой теткой, но перед своим любимым человеком она превращалась в кисель. Она впадала в забытье, легко зажигалась и в бессознательном состоянии была жадной и даже циничной.

---

Она с ним была другой! А потом наступал день, сутулил плечи и покрывал ее жестким панцирем стыда. И она опять становилась обычной, усталой и равнодушной. А Ларичев был небрежен, никогда не ухаживал, не дарил цветов, так что казалось — квиты эти люди, квиты.

Но иной раз она проявляла отвратительное упрямство и даже простая просьба насчет оторванной пуговицы приводила к истерике. В таких случаях лучше было не усугублять. В конце концов, и пуговицы, и не стиранное белье можно переждать, как стихийное бедствие. Лишь бы съедобное что-то в сковородке было, все остальное терпеть можно.

После рождения дочки печатная машинка временно переехала под стол и покрылась пылью: надо было гулять по шесть часов в сутки, бороться с рахитом. Но рахит все равно зафиксировали. А Ларичев, морщась от пулеметных очередей железного механизма, решил притащить домой подержанный компьютер. Показал, как включать, выключать. Первое время Ларичева, конечно, мешала ему работать, то и дело звонила, птицей кричала, что текст полностью пропал... Ларичева писала быстро, споро, много, но, распечатав листы, забывала все это сохранить. Или сохраняла куда зря, не глядя. Очнувшись, она заливалась слезами и набивала снова только что распечатанный текст. Тогда муж посоветовал ей не выключать машину и добавил программу «Unerase», чтобы тексты восстанавливать. Его уже достало искать куски рассказов по всем ячейкам, используя ключевые слова. Тем более что Ларичева тогда еще и не знала, что такое ключевые слова. Бестолковщина.

Но как только текст был восстановлен - просыпался сын. Ларичева совала сына в коляску, а коляску на улицу под окно. И победное шествие в литературу продолжалось!

«И зачем я только ее надоумил?» — снова и снова удивлялся близкий человек.

Ларичев, собственно, ничего особого от жизни не ждал. И литературы никакой не признавал. Просто решил пристроить к делу эмоциональную жену, чтобы слишком-то уж много не гуляла. Чтобы было вечером за рюмочкой о чем поговорить. Но на такой эффект он никак не рассчитывал! Сумрачно-зеленый взор Ларичевой, направленный в стенку или на монитор, был напрочь отсутствующим. Иногда по утрам она забывала надеть цивильную одежду и болталась по квартире с голой грудью в халате нараспашку. В доме стали шастать подозрительные, плохо одетые люди, которые вели длинные разговоры в прихожей напротив туалета, поэтому в туалет было решительно не попасть. К телефону теперь часто звали Ларичеву, и голоса были подчас нетрезвые. Вот вам общество — поэты, литераторы! Ну, все равно уж надо было когда-то заводить семью. Девушек вокруг было множество — все такие сияющие, чувственные — но Ларичева, несмотря на неумение краситься, все же была чем-то лучше их. Она была простодушная до не могу. С ней можно было посмеяться и поспать.

---

## ЛАРИЧЕВА В ОТЧЕТЕ И В МАКИЯЖЕ

Полночи Ларичева просидела у компьютера, потом как бы со стороны до нее дошло, что она засыпает и стучается о клавиатуру головой. Да, спать было твердо. А только разоспалась — встать. Глядь — там несколько страниц одни и те же буквы — ббббббюююююю...ээээюююю... Полный бред.

И так-то после бессонной ночи бодрости нет, да еще психическая атака детей. Дочка не пошла в школу: там громко и жарко, все кричат, дерутся...

— Лучше я дома посижу и задачки порешаю, — изрекла дочь.

— А если не сможешь?

— Тогда тебе на работу позвоню.

Ларичева бегала с колготками и майками в руках, возмущалась. Это все братья Цаплины с толку сбивают. Они ценят людей по подаркам, не позвали дочь в гости по бедности, а потом, когда вырастут и обнаружат, какое чудо эта Ларичева-дочь — все, будет поздно. Она пыталась уговорить дочку, что со школой тоже лучше не усугублять, но все было зря.

— У меня оценки выставлены, сама сказала. — Дочка Ларичевой пожалела плечами и уткнулась в учебник. — Значит, я себе каникулы объявляю.

После объявления каникул Ларичева взяла резкий старт и устремилась под светлые своды нового садика для сыночка. А он давился шоколадкой «Марс» и никак не мог уразуметь, зачем ему новый садик. И как это можно старый садик закрыть, ведь там Раисовна, Итальявна, детки. Пока пальто снимали, шорты надевали — все было ничего. Как карту отдавали — тоже ничего. А как пришла последняя минута, как повела воспитатель за ручку, так и страшно стало. «Иди, иди, котик. — Сама иди, мачеха лиха!»

И пошла далече «мачеха лиха», глотая слезы. Ей надо еще было в химчистку и в овощной. До работы добралась, когда уж вовсе сил не было. Под светлые своды статотдела вошла гора, увешанная фрикадельками в томате, горошком мозговых сортов и несданными в ремонт сапогами. Надо было еще буженины, хотя бы фарша. Но деньги испарились. Их надо было искать...

А Ларичева-мужа такие грубые вопросы не интересовали. Он не смирялся перед постулатом «бытие определяет сознание». Он дал себе установку — найти такую работу, чтоб найти в ней себя, и, кажется, нашел. И ушел туда с головой... Соответственно — пропал допоздна и часто уезжал в командировки. Только деньги как результат полезной деятельности в семье не появлялись. Сначала попался коварный поставщик компьютерной техники, потом сжал клещи учредитель. На фирму нападали, увозили, печатавали. Случалось среди ночи срываться — спасать принтеры и процессоры. Это было святое. Правда, там были соратники по борьбе, в том числе и соратница — намного моложе и хрупче Ларичевой. Но

---

Ларичева не воспринимала соратницу приземленно. Она знала — работа это святое.

С робкой надеждой всматривалась Ларичева в красные окошки «Искры». И чем дальше она всматривалась, тем сильнее унывала. Сколько ни суммируй эту ахиною по строчкам и по столбикам — все равно она не сойдется, а выйдут новые суммы. Стопка простыней и пустографок, которые должны «сойтись на угол». Вот то, к чему всю жизнь шла Поспелова. То, к чему должна стремиться Ларичева... Чтобы сходилась. А потом это свяжут и сожгут в котельной по истечении срока хранения. В чем же смысл? Забугина сказала бы, что смысл в получении заработка, но Ларичеву такая версия не устраивала. Ей хотелось потратить жизнь так, чтобы после нельзя было ничего сжигать. Чтобы след был немеркнувший... Коллеги, что характерно, работали как автоматы. Наманикюренные пальчики экономисток механически перебегали по клавиатурам, как будто отдели от тела. Они соответствовали, а Ларичева нет. Голова работала с натугой, как перегретая «Искра». Сын в новом садике. Плачет, наверно. Дочь не в школе. Что она есть будет? Дома только гречневая каша, а вот осталось ли молоко? Муж опять в командировке. Денег, естественно, нет. Да, надо занять денег. Где? Может, в АСУПе? Забугина всегда занимает в АСУПе и заодно общается с интересными людьми.

Только она это подумала, как в статотдел вошел Губернаторов, сам начальник АСУПа. А ходил он всегда медленно и гордо, костюм носил дорогой, в елочку, башмаки «саламандра» в тон брюкам и темные итальянские очки с зеркальными стеклами. Очки были частью лица и придавали ему гордое и завершенное выражение. Несмотря на твердые квадраты скул и острые пики бровей, без этой детали лицо его казалось бы беспомощным: глаза светло-коричневого, почти желтого оттенка, выдавали его мечтательность и, главное, молодость. А в очках он был, как в крепости.

Губернаторов тихо и учтиво поздоровался — со всеми, персонально за руку — с начальником данного статотдела, а потом отдельно — с Забугиной. Последнее «здравствуй» означало длительный и подробный процесс целования руки. Начинался он от мизинца, потом каждый пальчик отдельно, потом дальше до локотка, потом вверх по плечу, едва заметная пауза в районе индийского агата, украшавшего безукоризненные ключицы Забугиной, а заканчивался где-то за ушком. Ну, что тут поделаешь? Ларичева, забывшись, смотрела туда, куда смотреть было неприлично, но ничего, ничего не могла с собой поделать.

— Ларичева, у вас в каком состоянии месячная сводка? — осведомился Нездешний, начальник статотдела, прямой шеф Ларичевой. Он всегда осведомлялся только после того, как срок подачи был нарушен.

— Филиалы не дали, — грустно сказала Ларичева, — но я потрясу.

— И поостроже. И закажите на два телефона, на мой и на свой. Форсируйте вопрос, уж будьте так любезны...

— Буду, — убито прошептала Ларичева. — Сейчас.

Она хотела бы стать меньше, мечтала бы ужаться раз в сто и влезть в

---

эту «Искру», спрятаться в ней. Они были одинаковы, две облупленные подружки без следа минимального ухода. Брызнувшее в окно солнце подчеркнуло это. Молчаливый шеф Ларичевой все это ясно видел и поэтому вышел, давая Ларичевой опомниться от замечания. Ему было жалко Ларичеву, но что поделать.

— Ваш шеф недолюбливает меня, — сказал Губернаторов. — Его не устраивает форма моих приветствий...

— Он этого не показывает, — заметила Забугина, — и поэтому не падает в наших глазах. Потому что он выше этого... А мы в его — да. Мне ведь тоже попадет сегодня за отчет.

— Не приbedняйся, — мрачно отозвалась Ларичева, держа телефонную трубу возле уха и колотя по клавишам, — когда это тебе от него попадало? Ты вечно на особом положении.

— Послушайте, любезные дамы, а почему ваша бедняжка Ларичева должна выбивать из филиалов то, что они сами должны давать?

— Да потому что их нет, данных этих. Вот они и врут, а мы проверить не можем. Противно. — Брови Ларичевой застыли горестной крышей.

— Представь, она написала в главк, чтобы отменили отчет, раз он провоцирует обман. Мы веками отправляли этот отчет, не задумываясь, а наша мышка — раз, и возмутилась. И начальству письмо пришло, типа, что за безобразие...

— Ларичеву пора переводить на повышение, — сказал Губернаторов. — Мыслит верно, неверно распределяет силы.

В это время с другого конца отдела передали сводку пятого филиала. На один телефон заказывать меньше...

— Ура, бабы! — крикнула Ларичева. — Это клево. Спасибо.

Губернаторов с Забугиной переглянулись.

— Не хотелось бы никого обижать, но слово «бабы» зачеркивает слово «спасибо». Что может сильно испортить карьеру, — заметил, крутя портсигар, Губернаторов.

— Это портит и карьеру, и оклад. — Забугина скосила свои озорные блудливые глазки. — Какой у нас нынче повод для встречи, ты не забыл?

— Я никогда ничего не забываю, — кивнул Губернаторов и ушел во внутренний карман фешенебельного пиджака.

— Просила для себя, но уступаю подруге.

— Подобные речи обидны. — Он подал две радужные ассигнации на две стороны.

— Спрячу за корсаж! — замечтала Забугина. — Там и встретимся.

Ларичева вдруг заплакала. Она не поняла, возвышало это ее или унижало. Чтобы жизнь твоя зависела от чужого кармана? Эх...

— В чем дело, этого недостаточно?

— Достаточно пока. Это она от счастья. Где платок? Сейчас приведем себя в порядок и пойдем обедать.

— Я не пойду, — тускло уронила Ларичева.

— А что, много работы? Будешь звякать по филиалам?

---

— Да, буду звякать.  
— Как ты мне надоела. Так рассуждают только зануды. Дай-ка сюда лицо... Так... сначала миндальное молочко и пудра. Потом височки — сиренево-розовые. Вот тебе помада такая же. Тени тоже сиреневые, но потемней... Не моргай, тушь смажешь... Готово.

— А как же простыни?  
— Сверни в трубочку, возьми с собой, расстелем на стол. А скажи-ка нам, Губернаторов, какова теперь Ларичева с макияжем?

— Да у меня глаза маленькие, рот большой. Это никаким макияжем не скроешь, — хрипло и не к месту сказала Ларичева.

— Интуиция подсказывает мне, — запел арию Губернаторов, — что мадам Забугина права насчет теней и остального. И серые глаза при такой смуглой коже редкость. А рот хоть и великоват, но все ж имеет неожиданный и чувственный рисунок. В итоге макияж лишь подчеркивает ваши богатые природные данные.

И поцеловал Ларичевой — а не Забугиной! — руку. Ларичева была готова упасть на пол. Экономистки статотдела зорко следили за мизансценой, не прерывая щелканья по клавиатурам. Ларичева чуть не потеряла сознание, но ей не позволили, увели, придерживая за локотки с обеих сторон.

Они пошли под светлые своды административной столовой, где на подвеске работал большой телевизор, где в ароматном пару плавали яркие подносики, и вообще была праздничная атмосфера. После обеда с салатиками из крабов и миндальными кексами дамы пошли к Губернаторову в АСУП. Там Губернаторов отдал кому-то ларичевские простыни и сел повествовать:

— Интересно, почему ваш шеф не переведет все ваши мелочные отчеты на автоматiku? Или это хлеб у кого-то отнимает? Малопонятно. И что общего у законченного технаря с вашими простынями? Ничего. Было дело, сделала наша бухгалтерия в его филиале ревизию. Он приехал отчитываться к управляющему и нате — очаровал. Бывает, конечно. Но как бы за этим не последовала смена политики. Ваш шеф, дорогие дамы, стоял еще в команде Батогова, которую разогнали. Но теперь могут согнать, как я понимаю. А вот и наши бедные сводки по филиалам.

Тут к Губернаторову подошел мальчик и положил проверенные ларичевские простыни.

— Ошибки красным. Пропущенные филиалы приплюсуете и можно рапортовать.

— Спасибо, спасибо, — улыбаясь и маясь, бормотала Ларичева.

— А теперь милые дамы покинут меня, ибо меня зовут неотложные дела! — Губернаторов обнял, приласкал мимолетно и выпроводил.

Некоторое время подружили молча. Психика слабая, трудно переносить хорошее.

— Таких любовников должны иметь все порядочные женщины, — вздохнула, наконец, Забугина.

— Поздравляю, — зло буркнула Ларичева, — ты одна из них.

---

– Ой, брось. Все лишь политес. Видимость, значит. Но и без этой малости трудно обойтись. Как вообще работать, если нет на месте Губернатора?

– А скажи... Зачем ты меня при нем красить стала? Стыдно же это.

– Ты не понимаешь? – Забугина даже руками всплеснула. – Я дала ему понять, что ты женщина.

– А сам бы он не понял?

– Как же он поймет, если ты сама еще не понимаешь? Сначала тебя надо раскатать... Скажи, вот когда я косметичку достала и начала тут возиться вокруг... Ты что-нибудь чувствовала? Он смотрел на тебя неотрывно. На них иногда – это – действует.

– Да ну еще! Я такая позорная. Хотя он даже руку поцеловал...

– Вот видишь!

– Но мужчина должен первый...

– Да ничего он не должен, пойми! Он тоже со слабостями и хочет, чтоб ему потакали. – Забугина выгнула шейку и засверкала глазами.

– И не обязательно это Губернаторов, хоть кто. Шеф у тебя сводки проверяет – ты не горбаться за три километра, подойди, обдай волной запахов. А ты синтетику носишь, какая уж тут волна. Прятаться надо скорей. На каблуки надо влезть. Что у тебя на ногах! Тапки. Жуть конопатая.

– Да вот, после родов никак не привыкну.

– Когда эти роды были! Давно и неправда. А ты все ходишь в клетчатом платье, обсыпанном перхотью. Стыдись. Вон в АСУПе продают костюм трикотажный с бархатной аппликацией. Купи.

– Небось, дорого.

– Ну и что? Тебе же много лет! Ты режешь глаз в такой дешевой одежде. Пора переходить на другой вид оболочки – классик, натурель.

– Это чего?

– Это, видишь ли, неброские дорогие вещи и спокойные, натуральные цвета... Ну... У тебя есть дома что-нибудь настоящее, неподдельное? Ларичева мучительно наморщила лоб.

– Настоящее – это значит природное. Ну, значит, это дети.

– Так-так. И ты можешь их себе на шею повесить вместо бус? – Забугина расхохоталась. – Тяжелый случай.

– А, так надо бусы? Сейчас, сейчас... Ларичев дарил мне янтарные бусы на годовщину свадьбы. Где же я их последний раз видела? Кажется, на дочкиной кукле...

– Отлично! А шапку из белой нутрии – в углу у хомяка, так? Все, с меня хватит. Мне очень тяжело проводить среди тебя культурную революцию. Я начинаю устанавливать диктатуру. Первое – звоню в АСУП. Второе – приношу ланком, тонак и все такое. И последнее – сажусь за отчет.

И села Забугина за отчет, и была в своей решимости хороша... Правда, она всегда невыносимо долго собиралась, но когда уж момент настал, это видели все-все.

---

## СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЗАБУГИНОЙ

Когда документ можно было сделать без напряжения, Забугина к нему не притрагивалась. А когда сроки срывались, она начинала развивать бурную деятельность. Поэтому за время отчетов порядком намелькивала у начальства в глазах своим боевым и озабоченным видом.

Экономистки статотдела считали Забугину хитрой пройдохой, мол, любого потопит, чтобы выкрутиться самой. Но самих случаев потопления никто конкретно не помнил. Просто завидно было, что она из стрессов выбиралась без воплей. Вокруг нее вращались по орбите интересные личности — среди них, например, главный администратор театра, большой спец по холодильному оборудованию, молодой тележурналист, актер из столицы, фермер из глубинки, пресс-атташе стадиона, юрист большого автоцентра, фотохудожник — все они через полчаса знакомства целовали, намекали и проявляли в той или иной степени спонсорские замашки. Как она умудрялась иметь нескольких любовников сразу, никто понять не мог, хотя все шашни начинались буквально на виду. Как смотрел на это муж — тоже загадка. А сами любовники между собой не сталкивались. Мало того, они курили вместе в районе статотдела и постепенно образовывали нечто вроде дружеского кружка. Доставали друг другу запчасти для личных машин, обменивались коммерческими связями...

Изредка Забугина приходила к Ларичевой домой не со своим мужем, а с директором турфирмы или знаменитым театральным деятелем, и Ларичева, несмотря на сильную занятость, буйно радовалась.

Потому что деятель, как правило, приносил с собой хороший ликер, а детям шоколад или апельсины. Сам Ларичев сразу выпадал из своей подпольной жизни и украшал общество остроумием. Все покатывались со смеху. Из темного угла извлекали гитару и пошло-поехало, бестолковщина и веселый базар до поздней ночи. В такие минуты Ларичева, сорвавшая аплодисменты, затуманенно смотрела на подругу. Век бы торчать на кухне. А то вот — из ничего появилось что-то.

— Забучка, — говорила восхищенно Ларичева, — ну как ты умеешь?..

А Забугина была такая же точно по недостаткам, то есть без недостатков. Детей у нее не было. Спутник жизни не любил. И вообще мало чего в жизни сбилось. Но Забугина в петлю никогда не лезла и другим не давала. Она была очень высокая, широкоплечая, в веснушках, но слыла красавицей, потому что вечно всех охмуряла. Вне режима охмурения Ларичева ее не видела никогда.

— Забуга, ты бы могла послужить в разведке?

— За сколько?

— За так. Во имя и на благо.

— Фу. А как насчет Штирлица? Штирлиц там будет? Ведь я женщина и ничто мужское мне не чуждо...

## ПОЭМЫ

В тот день всех утнали под светлые своды общества «Знание» на конференцию, а Забугина с Ларичевой отчеты добивали с пылающими щечками. В статотдел заглянул человек в рабочем. Потом еще раз. Потом принес коробки с люминесцентными лампами и поставил в угол тихонько.

— Извиняюсь, девчат. Начальник ваш приказал поменять светильники.

— Так меняй, в чем дело? — Забугина включилась, оценила и выключилась.

— Не помешаю? Он сказал — вы на конференции будете...

— Не помешаешь. Нам некогда сейчас. Вон те мигают, у окна. И в углу.

На вид он был неуклюжий, тунгусский, а делал все легко и неслышно. Стремянкой не брякал, отвертки не ронял. Лампы плавали с пола на потолок и обратно, точно прирастая к смуглым рукам. Заглянул напарник.

— Ты долго? Время-то, смотри.

— погоди, видишь, не идет. Будешь гавкать — разобью по спешке. И ошшо тестер принеси.

— Завтра дотыкаешь. Твоя очередь идти. Робяты ждут.

— Погодь, говорю. А то вообще не пойду.

Напарник поворчал и вышел.

— Ларичева, я на финише. А ты? — Забугина сложила стопкой отчеты и достала косметичку.

— Да вот, дописываю. Ты б не сбегала в канцелярию заверить? Тогда можно сегодня же на почту занести.

— Ладно.

Как только вышла Забугина и зацокала шпильками по коридорному паркету, электрик подошел бесшумно к ларичевскому столу.

— В старой городской газетке с полгода назад — не ваш ли рассказик был? Фамилия знакомая. Извиняюсь, название не помню, но там про женщину, как она дитя в роддоме оставила...

— Ой... Подождите. Конечно, было дело. Слабый рассказ-то. Это уж руководитель наш пристроил по доброте. Вы знаете, в Клубе железнодорожников есть литобединение, туда ходят начинающие писатели. Вы приходите... А рассказ вообще ругали.

— Не знаю, мне понравился. Значит, Ларичева вы и есть. А можно дать вам кой-чего? Ну, чтоб прочитали, сказали мнение...

— А вы... Простите, как вас... Тоже пишете?

— Да так. Дребедень всякую.

Он успел вытащить из спецовки помятую тетрадь и сложить стремянку. Лицо его стало пунцовым от неловкости. Тут же вбежал хлопотливый напарник.

— Ты еще тут? Обля. Сколько ждать можно? Робяты уж сходили.

Ларичева в новый садик с первого же дня опоздала. Когда она, запыхавшись, влетела под светлые своды группы, ребенка там уже не было.

---

Где же? Оказывается, сидел в соседней группе, куда перекачивали всех опоздавших. Это была круглосуточная группа, и там уже созрел ужин. Сынок сидел и угасал над румяным сырником с будильник величиной. Однако в автобусе он прибрал тот же сырник с совсем другим настроением! Ларичева сильно удивилась такому факту и пыталась откомментировать. То ребенок не ест, то вдруг ест!

— Суть не в предмете, суть в подходе к нему, — заключил их в объятия сияющий Ларичев, приехавший из очередной командировки навестить свою семью.

— Сейчас что-нибудь сварю, — забегала по дому Ларичева.

— Поздно, — сказал не в меру веселый глава семьи, — я уже сварил спагетти. Более того — я привез голландское мясо в вакуумной упаковке и Синди для нашей дочки. А для сынка — вот этот джип. Сойдет?

— Ничего не сойдет, — нахмурилась Ларичева, — деньги откуда?

— Да коллега Хасимов выручил. Может подождать.

— Ну, вот, даришь девчонке Синди, разоряешься, а того не знаешь, что она школу бросила. Только и остается, что дома в куклы играть.

— Нет, мам, раз уж такая радость, то я согласна еще в школу походить. Я сегодня десять задач, между прочим, решила.

— Я от вас балдею, — обезоруженная Ларичева развела руками.

— Сначала сними пальто и выпей рюмочку, а балдеть, как ты выражаешься, будем после.

«Гости, танцы и веселье — показуха, позолота. Завтра горькое похмелье — наизнанку душу — рвота... Сын отца спросить захочет, ты ответишь «замолчи». Зарыдай и закричи, ночь тоску-печаль пророчит...»

«Разрыв-трава, ползучая молва, разрыв-травой опоены мы оба, до бешенства, до злобы, до озноба. Смертельный яд — слова, твои слова... Разрыв-трава, кружится голова... Чужим огнем детей мы согреваем, для них дымим и тлеем чуть, едва. Им холодно, и мы об этом знаем. Разрыв-трава, развязка не нова...»

«Кровать рыдала скрипами до жути. О, как трусливо убежала ночь! Одетая лишь в тень рассветной мути, ты плакала, а я не мог помочь...»

«Мы выпили по первой, по второй. И тут он начал: «Можешь ты понять, как мне сейчас не хочется домой?.. Читай стихи. Читай о грязных шлюхах, читай о горе и о пустоте, читай о злых и беспощадных слухах, а на закуску вдарь о чистоте...» А я прочел ему всего одно — о том, как ждет домой сынишка папу, как молча гладит медвежонку лапу, о том, как ночью светится окно...»

«Постель моя вонюче-злое ложе, как будто спали демоны на нем, тряслись, свивались ночью, даже днем. Как это надоело, правый боже, лиши меня моих нечистых чувств, чтоб был я пуст, как выпитая рюмка. Сжимаю зубы, слышу страшный хруст. Багаж побед, истасканная сумка, я с нею вместе сердце потерял, когда так слепо чувствам доверял...»

Тетрадь была большая, толстая, в ней было полно перечерков и вставок в виде отдельных захватанных листов. На некоторых страницах пометки: «это начало, а конец на зеленой обложке с другой стороны».

---

На первом листе крупно стояло: «Поэма блуда». Автор Упхолов».

Ларичева посмотрела на часы, была глубокая ночь, спать не хотелось. Электризация шла сильнейшая, до дрожи, до изнеможения. Вроде бы чернота, рвота, блядство... Но в то же время — правды больше, чем ругани. Бола больше, чем позы. Не врет Упхолов, не вылупается. Так не соврешь. Но в то же время и политика тут, и магазин с очередами, и низость, и дурость, все сразу... Но вот заплаканная мать укладывает спать сынишку, поет папину песенку, а папа в это время одолел не одну бутылку, и обнимал совсем чужую тетеньку, и домой не собирался...

Ларичева почувствовала сильный провал внутри. Как при воздушной яме. Все это было некрасиво, неблагородно. По ее кружковским понятиям, стихи такими быть не должны. Но там же правда все! Что там говорил Радиолов о жизненной и художественной правде?..

— Душенька, ты как насчет супружеского долга? — Не сразу протянул всю руку, только два пальца, ведущие по шейке.

— Сколько можно, муж? У меня творческие дела. — Убирая его руку.

— Сначала семья, потом творчество. Иди сюда, мы по-новому... — Быстро ныряя в вырез.

— Да что с тобой сегодня? — Вынимая его руку.

— Ты какая-то не такая. В чем дело, у тебя роман? — Ускоряя наступление сверху и снизу.

— У меня? Ты одурел. Меня Забугина накрусила. Макияж называется. — Замирая, прислушиваясь.

— Постановляю: ходить с макияжем вечно. — Лихорадочно расстегивая.

— Значит, настоящая я тебе не нужна? Значит, маскироваться? — Путаясь в летающей одежде.

— Н... не знаю, мне трудно долго разговаривать... Да... Маскируйся, чтобы я тебя не узнал... Принял, типа, за другую женщину...

«Ну вот, опять, — подумала Ларичева в застилающем тумане, — опять ничего не успела... Надо хотя бы рецензию сочинить...».

Но рецензию она, конечно, писала утром, под светлыми сводами, на работе. Рецензия была противоречивая. Ларичева всегда искала в других то, чего не видела раньше. Обычно она видела в других рукописях... красоту. Слова красиво ложились друг за другом, сплетаясь в сети. Здесь красоты не было никакой. Но было что-то другое, от чего хотелось плакать. Это получалась правда, но какая — жизненная или художественная? Ларичева не понимала, как можно воспевать проститутку. Считалось, что проститутки не существуют. Кто же это напечатает?

В статотделе по-домашнему звякали стаканы, и шумел чайник.

— Девочки, всю неделю были отчеты, вот увидите, на снег нас скоро погонят.

— Мало ли что. У меня еще отчеты не кончились.

— У нас что, дворники уже не существуют?

— У нас есть мужчины в отделе, они должны в первую очередь.

---

— Наивная. Не мужчины, а на-чаль-ни-ки...

Лицо шефа было бесстрастным. Ларичева подумала — а что он чувствует, когда слышит всю эту болтовню? Он понимает хоть, что камни летят именно в его огород? Или он глухой?

— Забуга, тот электрик, помнишь? Он, оказывается, стихи пишет. И такие грустные стихи, просто душу разрывает!

— Фу, Ларичева, фу. Даже и не думай. Это для нас не вариант.

— А кто, Губернаторов? Куда нам!

— Не только. Получше-то подумай.

— Ну, не знаю. С моей стороны или...

— Да нет. Ты в коридор-то выходишь? Ну? Глянуть не на кого.

— Ну, — не доходило до Ларичевой.

— Так и не выходи, — одним ртом, без звука сказала Забугина.

— А...

— Бэ...

Ларичева опустила голову, боясь, что шеф слышит все это. Потом украдкой взглянула. Он сосредоточенно разглядывал какую-то ведомость. Хлопчатая темная водолазка, серый клетчатый костюмчик, все какое-то тонкое на нем, стираное. Под этой оболочкой угадывалась сила, скрытая и молчаливая. Один раз Ларичева видела, как он шел на работу в этом костюмишке, прямо по морозу. Ей стало не по себе. Руки и лицо у шефа были фиолетовые от стужи. Карбышев какой-то. Но пепельно-седые волосы и притом лицо загорелое среди зимы — в этом что-то актерское было... Странная Забуга, сама перед ним наклоняется в декольте, а тут чуть ли не на подносе другой подает. Она не считает Ларичеву опасной соперницей, это очевидно...

После обеда всем скомандовали идти на снег. Это была такая повинность: разбивать смороженные за зиму пласты и набрасывать мелко на тротуар. Сапоги у Ларичевой промокали и она, взявшись вначале рьяно, потом встала на поребрик и с него никуда. Щиколотки нестерпимо ныли. Попозже подошли начальники отделов и техперсонал. Ларичева обрадовалась и пошла, проваливаясь, в сторону Упхолова. Образ передового электрика был алкарот: глаза заплыли, скулы и подбородок в щетине. Вокруг него плотно висело облако перегара.

— Привет, Упхолов. Как ты? А я прочитала твою тетрадку. Ты там настрочил столько чернухи, ужас, иногда до тошноты. Ты показывал кому-нибудь?

— Здравствуйте, — выдавил Упхолов. — Нет.

— А стихи-то как поразили. Слышишь? Бесподобные. Про малолетнюю проститутку. Кудряшки на висках, глаза, как сливы, портфель порвался с одного конца. Про горошины деревень. Ты что, деревенский? Все деревенские хотят вернуться обратно. Ты тоже?

— Нет.

Ларичева почувствовала, что навязывается. Зачем же он тогда принес эту тетрадку, алкаш поганый? И разговаривать не хочет.

---

— Тебе надо к нам в кружок прийти. Там, конечно, всякие люди есть, может, не все похвалят, но все же. Есть куда новые принести. Обменяться, так сказать. Это в библиотеке нашей. Раз в месяц по четвергам. И есть еще в Клубе железнодорожников, знаешь? Придешь?

— Я был. Тебя там не было.

Ларичева обалдела. Потом вспомнила, что сама раза три не была, с детьми сидела, пока кто-то по командировкам... Вздохнула и пошла прочь. Он даже не оглянулся. Забутина не пропустила инцидент:

— Ты решила приударить? Уже тем, что подошла к нему — просто пятно на себя посадила. Ты не можешь бегать за такими... Типичный маргинал.

— А кто это?

— Откуда я знаю.

— Я только про тетрадь сказать.

— Сам бы пришел, невелика птица.

— Забутина, миленькая, он не в себе.

— Алкаши всегда не в себе. И потом, посмотри, на что он похож. То ли монгол, то ли татарин. А сейчас иди от меня быстрее. К тебе кто-то идет.

И Забутина, резко отделившись, стала бросать снег в другую сторону. Несмотря ни на что, Забутина всегда была начеку. Всегда секла момент!

## ЧТО ОТДАТЬ ОТЧИЗНЕ

К Ларичевой под светлыми сводами студеного неба подошел шеф в костюмишке и шарфике.

— Ларичева, вы где живете? Где-то в центре?

— Ну да, возле «Гипропро...»

— У меня просьба к вам. Не могли бы вы зайти там к одному человеку?

— Когда, сегодня? Но как же садик? Это на другом конце города.

— Я отпущу вас пораньше, и вы успеете в сад. Завтра день его рождения...

— Это ваш друг? Почему тогда не вы сами?

— Не уверен, что обрадую... Вы поймете. Я не хотел обсуждать это в отделе. В канцелярии подготовлен адрес, вы только зайдете за цветами. Согласны?

— А почему не Забутина?

Шеф протаял улыбкой сквозь вечную мерзлоту.

— Вы сумеете не хуже.

— Ладно.

— Я знал, что вы не откажете. Спасибо. — Он взял ее руку зазябшую и, положив на свою ладонь, мягко прижал другой. Руки у него были сухие и абсолютно горячие. Вот так Карбышев...

---

Кнопка дверного звонка была старинная и торчала зеленым столбиком, вокруг были виньетки. После звонка дверь открылась моментально, как будто там уже ждали. Встретил грузный седой человек, похожий на Эльдара Рязанова. Брови были широкие и шевелились, как змеи. Быстро и бесшумно повесив ларичевское потертое пальто, он проводил ее в кабинет. Там стоял старинный кожаный диван, огромный, как площадь, деревянный двухтумбовый стол с зеленым суконным верхом и монументальная лампа матового стекла. Ларичева чуть сознание не потеряла. Перед ней стояла живая легенда отрасли. Она протараторила, залившись краской, приветственные слова адреса, вручила папку, цветы. Запнувшись, добавила:

— Вас все помнят и любят.

— Похоже на то. — Живая легенда Батогов усадил гостью в кресло, поставил перед ней на стол чудный серебряный подносик, серебряные стопки, алое вино в графине, яблоки. И рокочущим голосом:

— Прошу. Похоже, что забыли, как я им насолил. А Вы, значит, работаете у Нездешнего. Хороший мальчик.

Седой шеф — мальчик? Так-так. Вопреки рюмочке Ларичева сидела зажатая до потери пульса. Ей казалось, что она сидит тут благодаря роковому случаю, что все эти рюмки и конфеты не для нее, что она вместо кого-то... Хотя простота и обаяние великого человека гипнотизировали. Он двигался легко, ходил неслышно, шутил, заряжал зажигалку от газового баллончика и вкусно-вкусно закуривал. Показал даже фотографии из своего архива. Вот он студент. На лыжах с детьми. На демонстрации. На совещании во Дворце съездов. С группой директоров за рубежом. Над диссертацией. В лесу. Везде нечеловечески красивый... На кого-то он похож. В молодости. То же благородное породистое лицо, та же выющая грива волос назад... Было чувство, что она видела его молодого...

«Где компания? — терялась в догадках Ларичева, — где, черт возьми, старинные друзья и прошлые любви?»

Вдруг по нервам ударил крик. В дверях стояла прозрачная старая дама в измятых желтых кружевах.

— Кто у нас? — закричала, содрогаясь, дама. — Это из Москвы?

— По делу, родная, — внятно произнес Батогов. — Тебе вредно вставать, волноваться. Пойдем...

— По делу, по делу, — бляела Ларичева, сигнализируя адресной папкой. (А рюмки? А графин?)

— Чушь! — взвизгнула дама. — От меня ничего не скроешь! Я пойму глазами и в анамнез заглядывать не надо. И я еще могу послужить отчизне. Отдать ей все...

— Ты уже отдала, родная. Ты и так себя не щадила, пойдем же. — Он мягко и настойчиво повел даму.

Тут, наконец, Ларичева опомнилась и стала просачиваться в прихожую. Она даже оделась и попыталась тихо открыть замок. На ее руки легли его руки.

---

— Что, испугались? Это моя бедная сестра. Она работала в таком месте, где сам Господь бы спятил. Говорят, можно в лечебнице держать, но лечить уже бессмысленно. Мне жаль ее... Простите, что не предупредил вас. Но я не думал, что встанет, последние дни так была тиха. Если хотите, то можете зайти как-нибудь, не дожидаясь следующего дня рождения...

— Правда?!

Он смотрел на нее, улыбаясь. Поток тепла через щелочки глаз:

— А вы бы хотели?

— Еще как. Но это, конечно, нельзя говорить. — Ларичева перешла на шепот.

— Почему нельзя? — Он, склонив скульптурную голову с крутой седой шевелюрой, тоже снизил голос.

— О Вас такое рассказывают. Вы в нескольких филиалах начальником были. До вас ничего не работало, после вас никто сломать не мог. Вы в третьем филиале линию поставили, так у них оборот услуг вырос в несколько раз. Вы противостояли партийной мафии... А за это надо было жизнью платить! Вас любили женщины всех поколений. Их разбитые сердца до сих пор тлеют на мраморных лестницах управления...

— Стоп! Это уже ваша субъективная точка зрения.

— Пусть! Пусть субъективная... Но вы любили только свою жену. Так? Она была хрупкая, беленькая... Вы приезжали за ней на машине. Она не любила латать носки. Но детей вырастила потрясающих... Она умерла?

— Замолчите!

— Умираю, умираю... — долетел крик отчаяния, — ты бросил меня одну среди гадов фашистских... Мы должны выйти из окружения...

Он оглянулся.

— Так я позволю вам?.. — Ларичева заторопилась.

— А я буду ждать. Прощайте. И держитесь, никогда не старейте. Вы просто прекрасны. Слышите?

И она покинула светлые своды дворянского гнезда, так в народе называли дом привилегированных квартир для начальства.

В садик Ларичева прибыла в лютой темени. Сынок опять восседал в круглосуточной группе с тем же сырником.

— Муж! — воззвала Ларичева, скидывая пальто куда попало. — У тебя нет чувства неловкости? При двух живых родителях ребенок в круглосуточную группу угодил...

— А что? — родитель сидел и пожирал глазами толстую газету «Коммерсантъ». — Чувство неловкости пусть возникает у бездельника. Я круглые сутки работаю. А ты?

— Ты работаешь на работе. А дома?

— Налоги сводят к нулю любую работу, — вздохнул Ларичев. — При таких налогах надо работать сорок восемь часов в сутки, а потом идти и бросать бомбу в налоговую полицию.

---

Сковорода у Ларичевой яростно затрещала и стала плеваться дымом. И в тот же момент в детской раздался рев и грохот. Ларичева выключила сковороду и побежала в детскую. Как оказалось, дети разодрали надвое громадный черный том Брэма с золотыми буквами на переплете.

— Его купили на последние деньги! — воскликнула Ларичева. — Для вас же! А вы!

— Оставь их в покое! — крикнул издали их отец, не расставаясь с «Коммерсантом». — Дети должны расти, как сорная трава. Придет время — сами решат, нужен им Брэм или нет.

— Ну, ты с ума сошел. Теперь что, пусть все бьют, что ли?

Дети прислушались и поняли, что посеяли раздор. Они тут же помирились, а Ларичева оказалась не в своей тарелке. Она всегда смело бросалась разбираться, но получалось, что ее провоцируют. Однажды она увидела ватную пыль по углам, схватила тряпку и полезла под стол.

Тем временем любознательные дети взяли и укололи ее старой спицей.

Она закричала, дети засмеялись. «Да вы зачем?!» - «У тебя одно место круглое, как шар. Хотели проверить — не сдуется?»

— Как-то ты странно участвуешь в воспитательном процессе, — сказала она, переворачивая блин.

— Лучше так, как я, чем так, как ты.

Он наскоро съел тарелку блинов со сметаной и ушел проверять, как идет монтаж издательской системы.

Ларичева стала кормить детей и мыть посуду. Она привыкла, что муж приходит домой только затем, чтобы уйти. Что там, за пределами ее понимания, есть бурная деятельность, связанная с компьютерами. Хотелось бы, конечно, поинтересоваться зарплатой, но в принципе, когда у него что есть, он и так принесет. А начни раскачивать — только рассердишь. Да, Ларичева мечтала о тех временах, когда у нее будет пачка денег в столикке под трельяжем. Чтобы брать и не считать. На костюм. На еду. На садик. Да мало ли... Соратница по борьбе? Ну и что, пусть живет соратница. Был бы дома человеком. А он и так терпим и мягок дальше некуда, грех жаловаться. Все это ерунда. Надо садиться работать, наступать Радиолову новый материал. Пусть не так, как он понимает. Пусть пока хотя бы так, как понимает автор. А то начнешь себя ломать, чтобы понравиться, и - конец, тебя подстригли. Сама не поймешь, где ты, где Радиолов.

Ларичева хотела, чтобы Радиолов ходил к ним на кружок, и чтоб они спорили на равных. Но как-то так получалось, что Радиолов Ларичеву учил, а сам учиться не хотел, видимо, так уж возвысился, что учеба ему ни к чему...

— Ма! Это кто?

Дочка показывала на старую фотографию. Кажется, опять весь альбом разорили.

— Это моя мама, твоя бабушка.

- 
- Такая молодая! Сколько лет?
  - Она тут в десятом классе.
  - Хорошенькая, — оценила дочь. — У нее были наряды?
  - Погоди, я не помню. Нет, были, конечно, платья. Сейчас, сейчас, у меня где-то есть одна штука...

Вывалив на пол из шкафа большую пачку старья, Ларичева нарыла какие-то пожелтевшие бумаги. Среди них — картонная куколка.

— У всех девочек рано или поздно появляются большие куклы в нарядных платьях. У меня тоже была. Я ведь плохо видела, поэтому очки прописали. Мама с папой прятали от меня книги, чтоб я не портила себе и без того слабые глаза. Но когда не дают, всегда надо. Так вот, я искала спрятанное и находила, даже в коробке под кроватью, даже на самом верху шкафа. А куклу для отвлечения от книжек мне привезли из области, а сами мы жили мы тогда в районном центре. Кукла рыжая была. Огненные атласные волосы, простроченные посредине, где пробор, блестящие, но их нельзя было расчесывать расческой — они бы оторвались сразу. Туловище тряпичное, только концы ручек-ножек глиняные. Так что я больше смотрела на куклу, чем играла. Купать нельзя, заплетать нельзя. Платье снималось, зеленоватое, с кружевами, даже штанишки были с кружевами, да, и тапочки снимались, и носочки. Но нет, для меня самые лучшие куклы были нарисованные. Сначала это были всякие принцессы из картона... Три мушкетера, шевалье д'Артманталь — такие куколки из книг, неправдоподобные, с глазками и губками, в огромных бумажных юбках. А потом я просила всех нарисовать мне «жизненную куколку», как в журнале мод. И мама мне рисовала. Они быстро рвались и я хотела новых. Вот тебе и куколка из журнала 60-х годов. Она такая же черненькая, как моя мама. Платья вот — одно черное с белым воротничком, другое золотистое, из обоев, это, похоже — как раньше были тафта или парча. Еще раньше были такие материалы — крепдешин, крепжоржет, газ капроновый, но для этого нужно что-то полупрозрачное. А вот длинное, темно-синее, с манишкой. Что такое манишка? Ну-у, это кофточка без рукавов. Только с воротничком, вот она так на боках держалась тесемочками. Это платье мама сшила сама из немецкого журнала. Светла выкройку на старую простыню. Одно такое в поселке было. А знакомая, говорят, взяла посмотреть, потихоньку распоролла и сделала себе копию. И обратно сшила так, чтоб мама не заметила. Вот потом только заметила, когда подруга его на выход надела. И другим еще дала снять выкройку. Ну — вообще, история! Женская очень. Я еще застала это платье — рукав летучая мышь, вырез большой, юбка шестиклинка, вырез по поясу, а в вырезе манишка. Удлиненная талия. Ах, это было царское платье! Я столько лет мечтала, чтобы у меня было — так и не удалось. Зато такое платье я сделала своей куколке. И куколка, как мама, жизненная, милая такая.

У меня были сложные отношения с мамой. Она была учительница, меня в школе учила. Было стыдно не выучить, все учила насмерть. Но

---

стычки были ужасные — особенно, когда началась общая биология. Один раз даже чуть не выгнала меня из класса, парень болтал и я с ним. А один раз все с уроков сбежали, а мне попало, только мне, как училкиной дочке. Но мама для меня была, вообще, идеалом. Агрономша молодая, поехала она с папой МТС поднимать в пятидесятые годы. Ей говорили — о, вы заслуживаете другого, и так далее. Красивая женщина в глуши! Это же целая история... На куколку, на. Сделай ей новое платье...

После засыпания детей загудел компьютер. Прошлое оживало и лавиной сыпалось на мелькающие в мониторе страницы. Латыпов, арабский принц, полетел с горы прямо в яму на кабана. Ларичева полетела на автобусе спасать его от жестоких физических и сердечных мук. Потому что она ничего не могла сделать — тогда. Могла — только теперь, и то в воображении. Отличник и гордость факультета, ослепленный своей девочкой с вишневым ртом — тогда, становился мудрее и тоньше — теперь. Он уже понимал отчаянную Ларичеву, жалел, что не она его судьба и целовал ее прощальным и неверным поцелуем...

«Он скрипел зубами и метался, весь мокрый от пота. Не успела я подать ему лекарства — анальгины, ампициллины и прочую горечь — как он тут же стал рвать зубами упаковки. Я намочила вафельное полотенце и положила ему на лоб. Он взял и прижал к себе мои ладони вместе с полотенцем сильно-сильно. Бедный Нурали, продолжат тебе голову когда-нибудь. А на часы лучше не смотреть, и на зачет придется идти со вторым потоком...

— Ты у нас самый сильный, — дрожащим голосом говорила я, — и не стони, пройдет все. Ведь ты сильный, умный, ты Ленинский стипендиат, это много значит...

— У Киры был любовник, которого посадили. Так? Или нельзя про это? Молчишь, значит, знаешь. Ну, что тут может быть? Чем антисоветчик лучше простого студента? Тем, что сидит в тюрьме. О, на женщин это действует. Не спорю, она хоть и моложе, но прожила до меня длинную жизнь. Что я такое перед ней? Технар, собиральщик. А в ней все непостижимо, гармония бешеная, она и сама не понимает... А я ничего не понимаю.

— Да все ты знаешь, — всхлипнула я, — ты море стихов знаешь, тебя весь курс боготворит, ты вечный капитан КВНа, преподы тебя ценят и автоматы ставят. Просто у тебя температура и надо врача вызвать, а ты не даешь.

— Еще чего. Врач упрячет в больницу на две недели, а я сессию завалю... Знаешь... — Он попил из чайника, хотел вернуться на койку, но промазал и сел на пол. — Знаешь, может, я ошибся с ней капитально. Может, с тобой бы я бы как у Христа за пазухой, ты жизнь отдашь, а преданные женщины сейчас редкость. Но меня уже повело, за нутро потащило. Мы любим не тех, кого нужно, а тех, без кого просто не можем. Есть один рассказ — влюбленных привязали друг к другу в виде пытки. Чтобы они ходили друг на друга и все такое. Ну, потом отвязали,

те смотреть не смогли друг на друга. Яма все ускорила, понимаешь? Приблизила конец.

Меня била дрожь! Сам великий Нурали сидел у моих ног и не скрывал своего горя.

— Я взял ее ноги и засунул их под свитер, чтобы отогреть. Сказал, что никогда не брошу, даже если свалимся в нурник.

— А она, скажи, что она?

— Она всегда говорила, что «люблю, сохну, обожаю» — ерунда все это. Когда один другому может что-то дать — только это чего-то и стоит! Значит, этот антисоветский художник что-то ей дал. Что же? Запретные книги, картины, которые никому не известны? Многолинейное мышление? Но за этим всегда человек, какое искусство без человека? Только человек в местах не столь отдаленных. А я — вот он, хоть и калибром не тот. Обопришь на меня... Конечно, в такой дубак, да еще в яме, не очень порассуждаешь. Я думал — не выбраться, приготовился встретить лицом к лицу, так сказать... И тут пришел хозяин капкана и нас вытащил. И мы живы остались...

Он как замороженный смотрел сквозь меня. Потом медленно снял с меня позорные мои очки в роговой оправе и поцеловал долгим неверным поцелуем. Я даже задохнулась. Но на свой счет не приняла, потому что теперь все понимала».

Все это Ларичева передумала и утрясла внутри, под светлыми сводами души и, пока неповоротливые пальцы домучивали надоевший текст, душа упрямо высвечивала стол с зеленым суконным верхом, газовый баллончик с качающейся на нем зажигалкой. И непостижимого, великолепного человека, который в свои шестьдесят с лишним годов мог шутя покорить любое женское сердце. А какой же он был раньше? «С этим нельзя шутить, — усмехался он, — полячки оч-чень капризны...»

Значит, его любили полячки. Не будь этого, откуда бы он знал?..

Руки Ларичевой не поспевали за ее скачущими мыслями. Не успевала она записать одну историю, как та уже тащила за собой другую. Гораздо острее и головокружительнее первой. Ларичевой всегда было не до себя. Она хотела написать такую книгу, в которой бы ревели все судьбы людей, которых она знала! Но вынуждена была писать все это по отдельности, это же так долго, мутрно! И еще она боялась, что нужна любовь, хотя это далеко не самое главное. Чтобы написать рассказ, нужен любовный заворот. Но легенда отрасли вряд ли расколется на такое. А писать только про монтажи и схемы Ларичева была не в силах... А! Вот на кого похож молодой Батогов! На студента Латыпова... Постепенно он старел и становился Батоговым. Высокий лоб загибался кверху зальсынами, по нему змеились морщины. А темные раскосые глаза зачем-то шурились и погружались вглубь лица, мешки под ними появлялись. Женщина с вишенкой-ртом трагически умирала, а Ларичева сидела и записывала мемуары Батогова...

«Кто он такой? — изнывала бумагомарка. — Почему он прожил

жизнь не для себя, а для отчизны? И может теперь с гордо поднятой головой сам себе сказать — все сделал, что мог. Это предел, больше никто бы не смог... Он для отчизны, его сестра для отчизны, а я для кого? Кому нужен мой герой, да еще такой сочиненный? А то, вот, живая жизнь Батогова хлещет по глазам, а я сижу, как будто так и надо! Ведь умрет сестра, а потом и он, не дай Бог, и никто ничего не узнает, какой он бесподобный...»

Шел третий час ночи. Муж прокрался, тихо лег, но Ларичева не заметила этого, потому что мужа заслонял Латыпов, а его заслонял Батогов. Такая непристойность. Затуманенную слезами Ларичеву привела в чувство полуночная дочка.

— Мам, ты чего, реवेशь?

— Не знаю, как рассказ дописать.

— А это что, уроки?

— Еще хуже.

Дочка задумалась. Что может быть хуже уроков?

— А ты скажи — тетрадь забыла.

— Ладно, спать иди.

— Мам, тебе дядька писатель задал урок? Не слушай его.

— Да почему?

— Вот, ты напишешь, тебя в чтение вставят. А я потом учи, была охота! Я и так ума рехнусь, сколько писателей в хрестоматии. И ты туда же!

— Не бойся, меня в чтение не вставят.

— А зачем тогда? Деньги, что ли, заплатят?

— Ой, ну, какие деньги! Деньги только на работе, а это — так, для себя, наверно, баловство все это...

Ларичева вдруг вся покраснела и сжалась, так ей стало стыдно. Неужели она претендует на хрестоматию? Получалось, что занимается чем-то предосудительным. Ну, допустим, вставят ее когда-нибудь в хрестоматию. И что же можно написать после биографии, после слов «писать начала в таком-то году»? Она все время описывает какие-то личные истории, а не картину русской жизни, как, допустим, у Пушкина. Хотя тут тоже есть свои закономерности! Ведь большинство ее героев — женщины. И чем это не тема?..

Дочка помолчала, помялась. Она уж было побрела по своим мелким делам, потом вернулась, зябко потягиваясь и зацепляя складочки на широкой ночнушке.

— Мам, мне жених нужен.

— Как? Ты спятила? Сколько тебе лет? — вспыхнула Ларичева, окончательно просыпаясь.

— Мне десять...

— Так рано тебе!

— При чем я-то?! Для Синди нужен жених-то!

— Зачем? Нельзя, что ли, с одной Синди играть?

— Для семьи. Как в жизни. Чтобы детки были.

---

— А где они бывают, женихи синдины?  
— В комках. Там же и детки. И еще, мам, там есть беременные Синди, у них ручки гнутся и животик выдвигается, а там малышик... Но дорогие они.

— Я подумаю, ладно, спи.

— Не купишь женишка, в школу не пойду, — предупредила дочка.

— Да ладно...

Ларичева уронила голову на руки, на клавиатуру, и брови у нее засыпали страдальческой крышей. Чего себе думает наша дочка? Она-то ей тут ностальгию разводит про бумажных куколок, а ей надо сразу настоящую и беременную... Эх...

## БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ УПХОЛОВ ЖИВОЙ

Открыв дверь в статотдел и войдя под его светлые своды, Ларичева узрела, что Нездешний уже здесь. Народу еще пока никого не было, а ее объединяло с шефом секретное задание. Ларичева сразу выпрямилась в собственных глазах. Говорить ей было трудно, а шеф был не из тех, кто забегает вперед и стоит на полусогнутых.

— Я не знаю, что сказать, — сказала Ларичева. — Он бесподобный. Это невыносимо.

Нездешний просветлел и откинулся на спинку стула.

— Слава богу, — произнес он очень тихо.

— Почему? — тоже тихо откликнулась Ларичева.

— Потому что вы молодец.

— Такой титан сидит и нянчит помешанную. Вы знали?

— Да. Ему вечно было не до этого. Вероятно, отдает долги.

— Он сказал, что кто-то хочет прервать его заслуженный отдых.

— Для него отдых — это гибель. Он огнеупорный. И он нужен не только своей сестре.

— Ах-х... Так это сестра, значит...

— Сестра-сестра, - Нездешний улыбнулся, не пропустив это бормотанье.

Она спохватилась:

— Зачем вы меня втягиваете? Я боюсь политики.

Нездешний молчал. Она тоже. Но по коридору уже затопали люди.

— Потому что вы доверчивы... Наш человек. Вы пошли, как ледокол, а за вами пойдут другие суда... И нет изоляции. Понимаете?

— Бросьте!

— Вы сами можете в любой момент бросить. Он вам никто.

— А это какие игры — политические или сердечные?

— И совсем не игры.

— А некоторые думают, что вы готовите переворот, раз вы из его команды.

---

Опустил голову на руки. Потом взглянул на Ларичеву так нежно, что у той слезы выступили.

— Меня в моем филиале всегда возьмут — инженером или электриком. Хотя с сегодняшнего дня.

— Тогда в чем причина?

— В нем.

— Вы меня доведете, что опять туда побегу. Только бы прикрытие придумать, — зачастила Ларичева.

— У вас уже есть прикрытие. Признайтесь. У вас на лбу все написано...

— Ну, я могла бы записать все то, что он расскажет. Блистательная, загадочная жизнь, это меня завораживает... Городская газета могла бы в рубрике «Рядом с нами»...

— Вы отдадите мне? Когда запишете?

— Еще ничего нет... Одни жалкие мечты...

— Мечты никогда не жалкие... — Он заторопился. — У меня есть папка с инвентарным номером. Там ваши рассказы из городской газеты.

— Как? Вы знаете, что я?..

— Знаю. У меня своя маленькая картотека по местной литературе.

— Так вы, может быть, нарочно?.. — Ларичева потеряла дар речи и задохнулась. — Чтобы я загорелась писать?.. Провокация?

Хлопнула тяжелая дверь статотдела. В нее конским топотом пошел конторский люд.

— Вы только посмотрите, как нескладно врет этот пятый филиал, — бодро формулировал Нездешний. — То по три тысячи, то вдруг десять.

— Что же делать? — перепугалась Ларичева. — Отчет-то отправили.

— Ничего, на контроль возьмите. При случае можете и ревизию потребовать.

— Я?! Ревизию? — Ларичева вырубилась окончательно.

— Так ее, так, — подзадорила вошедшая Забугина. — А то у нее нет чувства собственного достоинства. Сейчас же надень на себя лицо и выйди. Там околачиваются какие-то небритые народные массы из щитовой. И когда придешь, чтоб надела костюм, вот, я принесла из АСУПа.

В коридоре стоял дремучий заболоченный Упхолов.

— Извиняюсь, — пробормотал он.

— А что ты извиняешься? Тебе тетрадку? На.

— Да это... На снегу-то. Зря я.

— Так если тебе неинтересно... Я обычно мнение на бумаге пишу. А тут под впечатлением выпалила.

— Поди, совсем паршиво...

— Какое там! Наоборот, здорово. Страшно! Поэма разрыва — из нее логически вытекает поэма блуда. Оторванная от ветки душа понеслась по кочкам, не остановив. Есть, конечно, жлобство. Но это мелочи. Не знаю, кто и когда это издаст, а я бы вот так, как есть, перепечатала, переплела, и пускай читают... Ты своим ал... коллегам читал?

— Было дело.

- 
- Ну и что они?  
– Да все про шлюх требуют. А это мне уже надоело.  
– Что, в смысле шлюх много было?  
– Да, их было много в стихах. Потому что в жизни-то ничего не было.
- Как так?  
– Да так. С обиды все.
- Ларичева молчала. Перед ней стоял простой забулдыга, худший из худших, лучший из лучших.
- Ты ее так любишь до сих пор... Ты однолюб, слушай...  
– Кто ее любит, шалаву. Все давно выгорело. Знай мотается к хахалу в район. Что ни выходной – поехала...  
– А ребенок?  
– Со мной ребенок.  
– И чем ты его кормишь?  
– Рожками.
- Ларичева представила, как небритый Упхолов варит своему узкоглазому ребятенку серые рожки, и у нее вся душа заныла.
- Ты, Упхолов, очень сильный поэт. И будешь еще сильнее, если не сопьешься... Давно вы развелись?  
– С год уже. Мы когда в суд пошли, у нас по квартире все цветы завяли, даже столетник. Скрючило, как морозом.  
– Может, без воды.  
– Вода ни при чем. Злоба это. Такая, что водой не отольешь. И ни дышать, ни жить – ничего нельзя. Все живое дохнет.  
– Ой, Упхолов, ой, терпи, не сдыхай. В такой энергетике поэту невозможно жить, но писать можно. Слышишь?  
– Чего там, не один такой.  
– Ты особенный, ты поэт.  
– Были и покруче меня поэты. Да только где они теперь...  
– Ты кого имеешь в виду?  
– Хотя бы Рубцова. Которого убили. А ей ничего, живет.  
– Брось. Она свое вытерпела. Думаешь, мало? Но откуда мы с тобой знаем, что там было? Мне жалко ее.  
– А его?  
– Без слов! Но не нам с тобой рот открывать... Если бы не пил... Упхолов! Стой.  
– Стою.  
– Тебе что легче – пить или вот с этой тетрадкой?  
– С тетрадкой я пью или нет – но живой. А так бы уж хана. Я тебе ошшо тетрадь принесу, можно?  
– Неси. Что ни больше, то лучше. А я тебе свое дам, ага? Все не зря хоть бумагу портить. Живому дашь, живое слово скажет. И еще я тут тебе листочек принесла. Это из моего песенника, даже не знаю автора. Все равно что про тебя написано, а? Смотри:

---

«Второго мая хлынул снег. И ты не то чтоб сник, Но шуму рощ и плеску рек Ты больше не двойник. Ты сочинитель книг. Окно закрой, очки надень, Журчащий луч, цветущий пень, Подснежников лесной салят... Так люди о любви поют, Когда она уходит в грязь И в холод, не простясь».

Он глянул на ее листок, кивнул. И пошел под свои темные своды, и все оглядывался. А Ларичева думала — что, что такое? Не насовсем же уходит, не в вечность, в подвал, где все сплошной кабель, РП и трансформаторы ломаные... Работать человек пошел, не в гроб ложиться... Почему же так жаль чего-то, почему смотришь вслед и боишься потерять? Ей казалось, что она должна бы за ним присмотреть, чтоб не врал. И убедиться, что он взял в руки пассатижи или тестер, а не смятые деньги, чтоб бежать за бутылкой. Не понимала, что нет у нее такого права — спасать. Не ее собачье дело... А это самое обидное. Ларичева, когда была маленькая, всегда сны видела про геройство. Будто бы она отвязывает знакомого мальчика от дерева и они бегут. Что уже темно в лесу, а они все бегут, пока не стучаются обо что-то. О землянку для охотников и грибников. И там она водой из железного ведра оmyвает кровь со лба и рук этого мальчика, и он благодарно на нее смотрит. Но Ларичеву этим не проймешь. Она вскакивает на коня и уезжает...

## КРУЖОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ

На первом кружке Ларичева испытала бешеный праздник души. Сидели все под светлыми сводами библиотеки, между стеллажей. Тут работала хорошая женщина, библиотекарь, по совместительству кладовщик кабельного склада. Руководитель — добрый седовласый старец, стал читать тот самый рассказ, как женщина бросила в роддоме ребенка. А читал он его бархатно, рокотно, останавливаясь на паузы, повышая голос. Все слушали — ах! Как вино. Стали обсуждать — ужас. Ни одной речевой характеристики, ни одного описания лица, нет мотивировок. И вообще — при-ми-тив.

Рассказ про западню в лесу, про Костю и Киру понравился больше, хотя опять то же — сентиментальщина! Третий лишний! Сколько раз это было! Стало быть, вино-то горькое. Что-о-о-о? Мы не пьем вина. У нас «За чашкой чая» называется.

Обсуждали и попытки Упхола. Тыкали на ненормативные слова. Так и сказали — пропальвай, пропальвай слова такие — сорняки. А хитрый Упхол им говорил: «Всю-то тетрадь могу этак, сорняками... Я электрик... Пишу для рабочего класса. Мне все можно». Все стали кричать. Вот поэт. Он электрик или слесарь. А вот — журналист. Это имеет значение или нет? Есть литература низов и верхов. Кто же захочет писать для низов? Все хотят для верхов.

Но старец объявил, что это чушь и писать надо не для верха и низа —

---

вы только разделите-ка читателя на верх и низ — и что получится? Не стыдно? Писать-то надо для души, и тут не важно, что электрик, что директор. А ты Упхолов, ты не ерничай, а покупай машинку, сам печатай, культуру соблюдай, а ты, которая про яму написала, уж хватит сочинять. Ты жизнь пиши, а не высасывай из пальца. Она ведь интересней всяких сказок. На следующий раз придете, домашнее задание даю, чтоб сочини-ли мне сонет. Нет, я не стану, не хочу быть смешней, чем я есть. Ну, и что, что Гумилев. А чем все кончилось? Расстреляли. В гостях у нас — подпольные поэты, я надеюсь, будут. Ну, в том смысле, что они себя всем противопоставили. Из-за таких вот отщепенцев на всю литературу гонения, а вообще, что они там создали? Никто не видел. Говорят, есть таланты. Разберемся.

Ларичева слушала, слушала, и чем больше говорил старец, тем больше ей самой хотелось стать на это место. Она все записала, все запомнила. И лучше все сумеет. Наоборот, она не стала бы никого называть отщепенцами. Ведь все мы отщепенцы! В том смысле, что никто не знает, что же мы такое создали. И не мы, а нас всем остальным кто-то противопоставил... Но старец — молодец, она бы и не знала... «Извините, я хотела вас спросить — что за автор у этих стихов? Списала их с книжки. А обложки не было...» — «Нет, я не в курсе. Но по стилю женщина. Вот про одно могу сказать — похоже на Бек, вот это — «честная старуха». Так только одна женщина могла написать, дочка моего любимого Александра Бека». Такого поэта Ларичева не знала.

— Упхолов, стой. Могу тебе машинку предложить, б/у. Не хочешь? Может, она ломаная, так ты ее починишь или выбросишь.

— Что за вопрос, хочу, конечно. Ты завтра на работу принеси, а бабки я тебе в получку...

— Да какие бабки, какие дедки, что ты несешь...

## **РОЛЬ ПОСТЕЛЬНОЙ СЦЕНЫ И ДРУГИЕ СОВЕТЫ ГУБЕРНАТОРОВА**

Когда из-под светлых сводов бухгалтерии приходили и просили найти то-то и тот-то в такой-то папке, или за такой-то период посмотреть определенный показатель, то им всегда смотрели. Догоняли и еще раз смотрели. А когда к ним в бухгалтерию ходили, то все получалось, что они заняты опять. Акты ревизии пишут! Зарплату начисляют! Инвентаризацию на складе оборудования сводят! Оборудование Ларичева, конечно, считала на больничном, и по столбцам сбила, но динамику по годам не сделала. А им надо износ и остаточную стоимость. Ларичева заметалась, как пожар голубой, ища по коридорам Нездешнего, только он мог подтвердить, что о динамике речи не шло. Но не наша.

— Нездешнего здесь нет, его кабинет в администрации, — терпеливо пояснил Губернаторов, когда Ларичева в третий раз заглянула под свет-

---

лые своды АСУПа. — Да вы зайдите. Или опять в режиме SOS работаете?

— А у вас такого не бывает?

— Ни боже мой. Если уж я изредка и напрягусь, то это обосновано с финансовой точки зрения. Могу научить и вас.

— Я тупая.

— Заниженная самооценка. Комплексы... Но все это поправимо, милая Ларичева. Что-нибудь читали восточных философов? Нет, конечно... Ну, вот, скажем, такая коротенькая притча...

«Однажды король вышел в сад и с удивлением обнаружил его увядание. Дуб сказал, что умирает, потому что не так высок, как сосна. Сосна сказала, что умирает, потому что у нее нет таких изумрудных гроздьев, как у винограда. Виноград засыхал, потому что не умел цвести, как роза. И только анютины глазки глядели на короля веселыми и свежими лепестками. И после вопроса короля дали они такой ответ: уж если король захотел бы иметь на этом месте дуб, то посадил бы его. А уж если посадил цветы, значит, хотел только их. Поэтому цветы, как бы малы они ни были, радуют его глаз изо всех сил»... Разве вы хотите, милая Ларичева, быть Буддой? Вижу, что не хотите. Да и зачем? Если бы Бог захотел Будду, то создал бы его, одного или нескольких. Но он создал вас. И перед вами такая роскошь — наслаждаться, будучи собой, либо умереть, вынося себе нелепый приговор.

Ларичева чувствовала смутную радость и отчетливую тревогу. Радость оттого, что ее посчитали за человека, и тревогу от необходимости бежать, не узнав продолжения.

— Это вы сами придумали? Это разгадка того, почему вы такой хозяйин жизни?

Губернаторов улыбнулся.

— Как вы торопитесь. То, что я вам рассказал — одна из прелестных сказок Ошо Раджниша. Они основаны на чувствах экцептенс и сэлф-экцептенс — принятии мира и себя как есть. Татхата — иначе согласие. Я увлекаюсь чтением Шри Ауробиндо. Он беседует со своим учеником Павитрой целых сорок четыре года и таким образом дает представление о технике медитации в системе интегральной йоги, также о йогической садхане. Хотя начал я с Шукасапгати, это вид индийских сказок. Многие переведены с пракрита, а эти — с санскрита. Что-то вроде «Тысячи и одной ночи», но рассказчик — попугай...

Ларичева заметно побледнела.

— Но я рассказал вам это не для того, чтобы у вас возник новый комплекс. Стоит вам захотеть — вы все поймете. Здесь — пятьдесят на пятьдесят, что вам это не нужно. Как я понимаю, вы что-то пишете. А творческие люди все воспринимают на уровне образов. Сказать вам, какой образ возник во мне от прочтения ваших рассказов? Молчите? Ваша подруга Забугина давала мне прочесть кое-что. Наверно, вы не лишены определенных способностей. Не мне судить об этом. А в рассказах все не о вас. Какие-то простые женщины, которых переехала судьба. Помилуй-

---

те, да они сами этого хотели, жалкие самки. Кто же им не давал выйти на иной уровень существования? Сами не стали. И зачем вы пишете о чужих жизнях, а своей не замечаете?

— Чем я могу быть интересна?! — Ларичева искренне возмутилась.

— Вот те раз. Милая Ларичева, я давеча доказал вам, что вы неповторимы. И себя познать легче, чем других, а писать о том, чего не знаешь, не понимаешь — тоскливое занятие.

— Тоскливо — так и не читайте.

— Вот и обиделись. А вы бросьте, бросьте выполнять домашнее задание. У вас же есть какие-то манящие сферы! Затаенные причем. А вы все бросаете на алтарь воспоминаний либо делаете неуклюжий подарок подружкам по роддому. Да они вас еще обругают за искажение фактов... Припишете ей кесарево сечение. А у нее не было операции кесарево сечение... Знаете, люди так мелочны, что их просто не стоит описывать. Смотрите выше... Я вижу, что совсем рассердил вас. Вы, кстати, пообедали?

— Да я и не хочу! Подумаешь...

— Захотите.

Они пришли под светлые своды столовой под самое закрытие. Губернаторов поставил подносы и повел переговоры с поваром Ирой.

Спустя томительных десять минут задуренная до не могу Ларичева покорно ела достойный лангет и заливала его пивом.

— Ужас какой, — бормотала она.

— О чем вы? Невкусно? — Губернаторов как будто издевался.

— Как? Пиво среди бела дня! Шеф как увидит... Забугина тоже...

— Ваш шеф уехал в администрацию. А перед Забугиной вы как-нибудь оправдаетесь.

— А перед совестью?

— Выпейте еще стаканчик, и совести как ни бывало. А я хозяин жизни, мне можно все. Да, еще два слова о домашних заданиях. Может, вы боитесь мужа? Он заглядывал в ваши листы?

— Да он терпеть их не может. Тоже говорит, что примитив. Сериал для поклонниц Будулая.

— Отлично. Вы должны написать что-нибудь эротическое.

— Про любовь? Да я и так...

— Не про любовь, а про постель. Выскажитесь без свидетелей, тогда и посмотрим на вас. Дайте себе волю, наконец.

— Ну, и кто это напечатает?

— Да уж, городская бульварная газетенка не напечатает. Так напишите в стол. Вы еще голос не обрели, а уж волнуетесь, что не напечатают.

— Раз не обрела, к чему эти разговоры?

— Чтобы обрели.

— Я не понимаю, зачем вы меня поработаете?

— Отнюдь. Я вас раскрепощаю!

— Ничего себе. Бежала, искала начальника, горела трудовым энтузиазмом, а через полчаса влипла в нелепую дискуссию и напилась нехстати пива.

Холеное, благородное лицо Губернаторова за окнами зеркальных

---

очков было равнодушно. Он под руку вывел Ларичеву из обеденного зала и учтиво поцеловал в шею.

— Простодушное дитя, — сказал он.

И свернул величественно в свой АСУПовой (а-суповой, так шутила Забуга) отсек.

— Тебя не было больше часа, — сказала мстительно Забугина. — Костюм лежит без движения, а ты...

— Я ходила обедать с Губернаторовым.

— Как? А динамика износа оборудования?

— Обойдется. Я — личность, и у меня есть своим личностные задачи.

— Вот как! — Забугина завсплескивала руками. — Будем принимать Губернаторова по три раза в день в целях психотерапии. А я уж испугалась, что ты с этим грязным электриком любезничаешь...

Ларичева промолчала. Она пыталась притворяться. Надо было притворяться, чтоб не били по большому месту слишком часто.

Она пошла за шкаф, померила костюм. Простой покрой. Коричнево-болотный цвет. На плече с левой стороны аппликации листьев. Ух ты, как стильно. А Забугина-то как хлопчет, ну, просто руки опускаются. Да, это лучшая подруга...

— Забучочка, ты вообще...

— А ты за меня держись. Будешь настоящей женщиной.

Ларичева рассеянно улыбалась. Она-то сидела с Губернаторовым, но думала про Упхолова.

## СТИРКА ПОД РИЕНЦИ

Все сроки, намеченные Радиоловым для принесения рукописи, прошли, и в выходные Ларичева, швырнув куру в скоровару, засела за компьютер. Дочка нехотя сходила в магазин за хлебом и отправилась дежурить с братцем на деревянную горку.

— После того, как ты жениха для Синди не купила, я уже сколько раз ходила в магазин и гуляла с ребенком. Учти, я все тебе делала, а ты мне нет, мамочкин.

Она села на качели и подавала мальчику указания, как и куда надо влезть, на какую высоту... А Ларичева не понимала, куда делся файл.

По поисковику обнаружила в противоположном конце. Вспомнила, набрала в грудь побольше воздуха, и... Через полчаса обнаружила, что все пошло латынью! «Не мой день, явно!»

В это время Ларичев подозрительно долго рылся в шкафу.

— Слушай, муж! Давай рубаху поглажу.

— Не надо.

— Так ты уже второй раз отнекиваешься. В чем ходишь-то? Давай.

— Нет и нет, тебе говорю.

Ларичева вынырнула из рукописи и прибежала заглянуть в шкаф.

---

— В чем дело? — закипая, спросила она.

— Да ни в чем. Чтобы их погладить, надо постирать сначала.

Ларичева сгорела...

На улице было ясно и жемчужно. Зима плавно переходила в весну. Воробьи стереофонически оглашали двор своим чириканьем. Можно бы пойти с детьми в парк, не морить их то и дело рядом с помойками. Но кто будет варить, печатать, стирать? Сцепила зубы, завела стиральную машину. Пришла Забутина, принесла косметику.

— Чем же я буду платить? — ужаснулась Ларичева.

— Подарок! — Забуга ликовала. — В честь того, что ты вышла из пещеры. Наши духовидцы вечно призывают выйти из пещер, а сами от туда век не вылезут... Ну, давай, рассказывай...

— Он говорил о человеке вдвое старше себя, но так свободно, быстро, как отличник на экзамене! Неужели специально, чтоб я записала? Но в таком виде все равно нельзя, это же пулеметная очередь, обстрел цифрами, как из револьвера. Что обкатанные шары — громыханье да гул. Конечно, события — это продолжение характера, но все равно! Не одно и то же, что живой человек. С его минусами, с едой, какую он любит, с нерожденной любовью и раздавленной мечтой... Господи, живой человек! А он мне про какой-то памятник! Мол, нечеловечески сильный, упругий, разбивался до хруста, а побеждал. Знаешь, этот штамп многоборья мне еще в школе надоел. Я сама была отличницей, но какой ценой! Медлительная, мечтательная ворона, я по шесть часов уроки делала. Мне не хотелось, но иначе бы я опозорила родителей. Да они же еще считали меня ничтожеством. Я всю молодость страдала оттого, что делала себе наперекор, поэтому сначала слушала его в жуткой тоске. Но потом поняла, что тут дело не в нажиме, не в насилии. Кто может изнасиловать Батогова? Он сам по себе титан... Он просто не хотел! Не хотел, не умел по-другому!

Забуга смотрела на Ларичеву с великой жалостью. Так смотрят на смертельно больных людей, приговаривая, что они скоро выздоровеют.

— Деточка, успокойся. Тебе можно вопрос задать? Ты на свидание с кем ходила? С Батоговым или Нездешним? Ты или дрепнулась на литературной почве или, прости, слишком круто забираешь... Ведь ты сказала, что Нездешний делает тебе знаки... Потом я уехала в командировку, приехала, а ты буквально бредишь. Тебя нельзя ни на один день оставить...

— Да что ты обижаешься, не пойму. Я же сама ничего теперь не понимаю. Для меня и Нездешний долго был стоумовый, а тут он со мной как с равной говорит, в гости к самому Батогову засылает. Знаешь, он сначала хотел проводить меня до дома, но потом... Потом... Смотри, я шустро ставлю сковару под струю, как только она свистанула паром, потом через десять минут туда плюхаю картошку с морковкой, и они муркают на тихом огне. Все, еще через десять минут будет готово... А у тебя сковарка валяется без дела... Как ты можешь, я не понимаю. Сейчас слетаю в ванную, вытащу тряпки, покидаю вторую партию и снова прискачу. Подождешь? Ты в окрестностях детей не видала?

- 
- Видала, видала. Звать будешь? Или, может, по рюмочке?
- Ну, уж! Я должна хотя бы ребенка уложить!
- А я тогда к портнихе не успею.
- Ладно, придется все делать параллельно. Пить, стирать, кормить. Жалко, что нельзя заодно и печатать.
- Так что там было с Нездешним? – досадливо напомнила Забугина, взяв с нарядной бутылкой.
- Ой, Забуга. Внешне все как будто ради Батогова. Нездешний поймал меня на том, что мне захотелось писать книгу. Ну, и много кое-чего порассказал. А потом мы зашли, будто между прочим, к Батогову.
- Который легенда отрасли?
- Который, да. И получилось как бы само собой, что я Уже Пишу Книгу.
- Ты чокнулась.
- Ничего не чокнулась. Я хотела возмутиться, что об этом рано говорить, но Нездешний – он таким мягким голосом пояснил, что кое-какие воспоминания уже легли в основу, а главное – личный контакт с героем повествования. На этом месте сам Батогов мне руку, понимаешь, поцеловал... Не могу.
- Я-то думала, тебя другой человек поцелует. И в другое место...
- Да! Губернаторов позавчера меня поцеловал в шею! Теперь-то я поняла, что такое поздороваться с Губернаторовым. Полдня туман в глазах, нерабочее состояние. Вот почему после Губернаторова ты плохо занимаешься отчетом.
- И ты до сих пор молчала, паразитка Ларичева...
- Чем же тут хвастаться?
- Как чем? Полностью другое лицо, другое поведение. Веселая такая и вообще... Творчеством влияет на любовь, или, может, наоборот? У меня много любви, но творчества нет. Мне любовь с неба падает...
- Да ну! Не от этого...
- Пришли дети, Ларичева погрязла в технологическом процессе раздевания, обеда, укладки. Забугина засучила воланчатые рукава ярко-алой блузы с напуском и скрылась в ванной. А когда Ларичева вышла из детской, Забугина уже сидела на кухне и подкрашивала губки.
- Давай еще по одной, и я упорхну.
- Как, уже?
- Меня ждет портниха, а тебя труды Пимена. Пиши святые летописи. Я там все выжала, осталось прополоскать.
- Забучка, ты что такая клевая? И новую кофту не жалеешь.
- «Женщина скажет... Женщина скажет... Женщина скажет – жалею тебя...». А вот там возле машинки – это у тебя для союза или для летописи?
- Для союза я все никак не закончу! А вот послушай тут кусочек...
- Так что ж ты – одно не закончила, за другое хватаешься?.. С отчетами и то нельзя так.

---

— Забуга, молчи, слушай, вот тут я его личную авторскую речь записала... «Мы пришли в жизнь с зашоренным сознанием, поэтому, когда началась так называемая оттепель шестидесятых, многие не могли сориентироваться. Показалось слишком дико! Наше поколение особенное не потому, что оно наше. А потому, что целый ряд событий прошел мимо — например, война, — зато последствий мы хлебнули сполна. Военное детство, бедность, голод, привычка обходиться без самого необходимого и терпеть, терпеть. Жестокая диктатура воспитания, до предела насыщенная идеологией — все это давило как пресс. Помню учебники литературы с крестами на портретах Блюхера, Тухачевского, Демьяна Бедного... Везде долбили краткий курс ВКП(б) и биографию Сталина. Выучив это, можно было ничего не учить. Философский словарь объяснял, например, что кибернетика — буржуазная лженаука... Представьте же теперь запрограммированных на подвиг фанатиков в обстановке оттепели. Стали рваться в бой. Понимали — надо все менять, но как? Начинали биться. Упирались в стенку. Потому что при неких благих приметах осталось главное — осталась прежней государственная система. В этих условиях сделать было ничего нельзя... Поймите, это же трагедия: заложить положительную программу жизни и одновременно полную невозможность ее реализации. Я тут не имею в виду приспособленцев. Всех людей я делю на три категории: нытики (возмущались, но ничего не делали), приспособленцы (работали для личной пользы), и трудяги (работали, даже если не получали результатов). Себя отношу к последним.

Борцы? Были и такие, что шли против системы в целом. Но это были единицы. Их, как правило, ломали. А для меня это не годилось. Я должен был дело делать. Стоять у амбразуры мне было просто некогда...»

Здесь Ларичева запнулась. Она вынуждена была, потому что натуральным образом плакала. Забугина тут же протянула рюмочку, предварительно вытерев Ларичевой нос своим платком.

— Чего ж ты реवेशь?

— Он бесподобный.

— А ты-то при чем? История и без тебя свершится. Почему ты всегда суешься, куда не надо?

— Нездешний говорит...

— Так пусть Нездешний его любит по гроб жизни и летопись пишет. А твое тихое дело — отчеты составлять. И составляй. Это шанс заплатить за костюм из АСУПа, отдать долги...

— Купить парня для дочкойной Синди...

— Вот-вот. А ты что делаешь? Ну, смотри, ты вкалываешь день и ночь. А кто это оценит? Ты взваливаешь на себя черт те что. Надрываешься. Ревешь. Меня, вот, это больше беспокоит. Ты становишься какой-то истеричной. Нет бы пришла в себя, накрутилась, прибралась, сходила с детками в театр... Ты ходишь с детками в театр?

В ответ раздалось сморкание.

— Не, не хожу. Когда же мне ходить?

---

Забугина тяжело вздохнула и встала.

— Понятно. Материнский долг, стало быть, не выполняешь. Как и женский. Кажется, ты ничего не поняла насчет Губернаторова.

— Да что мне Губернаторов? Он меня задавил своим интеллектом. Ошо Раджниш, медитативная йога, нью-эйджевская музыка... Боюсь я этого всего. Меня трясет даже.

— А ты терпи, авось и поумнеешь. Он зато целует хорошо.

— Да что я, марионетка? Ртом целует, а глазами за темными стеклами смотрит, какое выражение лица. Боюсь.

— Тебя не исправить. Ты всю жизнь будешь мотаться и убиваться из-за тех, кто тебя видеть не хочет, а тех, кто к тебе доброжелателен, не воспринимаешь. Хорошая девочка! — в голосе Забугиной послышалась такая едкая ирония, что паленым запахло. — Итак, надежд привести тебя в благородную норму все меньше. Ну, давайте, юные пименовцы.

— Забуга, а Забуга.

— Что, моя пещерная дочь?

— А вот, если меня Нездешний поцелует... То что будет?

Забугина долго и раскатисто смеялась.

— Что ж ты ржешь?

— А то. Опасно для жизни.

— Почему?

— Потому что ты полезешь за ним в прорубь. Он же у нас ивановец. Ларичева только вздохнула. Проводив Забугину, села и впала в транс.

Ну что делать? Жалко зажившего второю жизнью Латыпова. Жалко несчастных, которые покупаются на горстку любовной милостыни и всю жизнь за это платят. Но еще жальче сверхчеловека, который отдавал все и растратил только половину. Батогов летал по стране, вводил в строй объекты, напичканные техпрогрессом, забывал, в какой день он родился, и зам подходил к нему в пустом корпусе, напоминал, что, вот, дескать, вам исполнилось сорок лет... Партийные сатрапы его швыряли и руки выкручивали, поили водкой и срывали пятилетний план, а он в последний миг выворачивался от смертного топора и начинал сначала. Зачем, Господи, зачем? И это не где-то там, сто веков назад, а вот уже в перестроечном «Огоньке» эта страшная история и напечатана... Как его приучали приползать на брюхе к первому секретарю, а он не хотел. Как со всего союза перевербовывал назло партии себе команду. У него умерла от рака любимица-жена, и он стал проситься оттуда, а ему говорили — не подрывай доверие партии, не дезертируй. Лежа на диване, Батогов брал в уме интегралы, а в степи на сломанной машине так пел арию, что сердце останавливалось. Нездешний сам слышал. В зарубежье он говорил на двух языках — английском и французском, а когда защищал диссер, оппоненты два раза переносили срок, так как хуже владели темой и не могли придумать замечаний. Слишком узкая тема! Так и не дали защититься. Научному миру он не подошел — что за мир это был? Но конкретное дело всегда узко, в него не пролезет слишком «широкий» дилетант. «Люблю

---

поговорить с дилетантом за рюмочкой, люблю скоротать дорогу. Но дело с ним делать нельзя». У кого какие мерки, а вот у Батогова мерка Делом. Что это за Молох такой, Дело, сколько им съедено таких, как Батогов... Но Ларичева и есть тот самый дилетант! С которым рюмку коротать, не Дело делать... Ларичева встала, ушла от компьютера, налила в белье воды и оставила кран. Потом включила пластинку и надела на себя мужнины стереонаушники, чтоб сынок не просыпался. И поднялся с пластинки праздничный вал увертюры «Риенци» и взметнул он Ларичеву в такие высоты, откуда все земное кажется звездной пылью. А на той стороне «Тангейзер», торжество духа над мразью жизни... Сквозь боль потерь — вперед, вперед, сквозь град камней и злобный вой, ну, вот, и выпал твой черед, приговоренный Агасфер, иди с горящей головой, простишься с опавшей листвой, не боясь небесных сфер...

Был ли у него грех нерадостности? Был ли грех непретворения? Он под светлыми сводами из-за своего Дела не стал тем, кем Бог создал. А кем он его создал? А кем он Ларичеву создал? Она никогда не писала документальную прозу. Она также никогда не писала художественную прозу. Она вообще ничего не могла придумать своего, а только восхищалась людьми, на которых наталкивалась случайно. Она боялась даже думать, что бы с ней случилось, если бы она их специально искала с плакатом: «Ищу интересных людей» Тогда ей не надо было б замуж выходить, а только сидеть, не отрываясь от клавиатуры и все. Печатать, печатать, печатать. И сбывалась бы мечта идиота. Да не давайте денег, ничего, а только дайте восхищаться, то есть любить — не для себя, для всех. Чтобы во весь голос крикнуть о своей любви, не стыдясь никаких пересудов. А так ее постоянно мучила совесть, что она плохая жена, плохая мать, редко покупает детям бананы и еще реже ухажеров для Синди. Чаше обычного она покупала кости и варила их в скороваре часов пять. И получалось шикарное густое варево, с такими мягкими ароматными косточками, что хоть все их ешь. Жалко, что дети не понимали этой радости и просили, как обычно, торт со сливочными розами или орешки в шоколаде. А потом Забутина узнала и сказала: «Ты с ума сошла, в костях ведь наголимый стронций, от этого не то что шлаки откладываются, а даже опухоли становятся из доброкачественных злокачественными». И Ларичева с тоской смотрела на сахарные кости, пугаясь возможного рака. Только она сама была чистый Рак по гороскопу. И конечно, в ней говорил нормальный журналист, только она не догадывалась. Ларичева на детей, на мужа, на Забутину ворчала, но выступать-то было бесполезно. Она сама и сливочные розы, и фрукты в шоколаде, и орехи в меду любила до безумия...

---

## КАК ЛАРИЧЕВУ ВЫБРАЛИ НА ВЫБОРАХ. ИРКУТСКИЙ ВАРИАНТ БАТОГОВА

Однажды вечность назад молодая Ларичева дежурила под светлыми сводами Дворца культуры во время выборов, и рядом с ней в комиссии оказался славный паренек. Они то и дело переглядывались. Народ на выборы шел бурно, и поэтому инспекторам по отдельным буквам никак было не разговориться. И даже если народ по какой-то букве шел недостаточно, брали бюллетени и пачками опускали в урну при пустом зале. И отмечали в списках. В комнатке отдыха они попали за один столик. Он подвинул ей шоколадку из буфета и кофе. И она тут же подумала — «мужчина!». Потом еще принес. «Чересчур мужчина!». Она не знала, что в буфете выделено для комиссии бесплатно, и подумала, грешным делом, что — с чего бы? Потом ночью после подсчета голосов банкет устроили для комиссии, все танцевали в полном дыму, всем раздали паек — апельсины и колбасу, и Ларичеву интересный седой человек пригласил и долго не отпускал, жестко прижимая к себе по всей длине тела. Однако паренек, оказался более расторопным, чем могло показаться. И чуть позже Ларичева очнулась в незнакомой комнате, потому что знакомый ей паренек брал очищенные мандаринки и клал ей в рот, а сам в это время целовал ей грудь. Причем очень синхронно: втягивал сосок — в ее рот дольку, втягивал — ей опускал очередную дольку... Она тогда ужасно удивилась и спросила: «Это тоже только для членов комиссии?». А паренек сказал: «Да». И на все остальные вопросы отвечал так же. Ларичева ничего не могла поделать. Ей было слишком щекотно и хорошо. Она стонала так, что паренек вздрагивал: «Тебе больно?». Паренек ее зацеловал, загладил до полного выпадения в осадок, а потом прошептал, что если она чем-либо недовольна, он может отвезти ее на такси домой. Домой в общежитие Ларичева катастрофически не хотела. И паренек стал такое творить, что мама родная. Он быстро вовлек ее в свои игры и, если до этого стонала только она, то теперь застонал еще и он. Так до утра и простонали. Выходя из его общежития, она подумала: «Вот оно, счастье». И упала в обморок. Но, падая, она сильно ударилась спиной и от боли пришла в себя. Держась за забор парка, она мечтала вызвать скорую помощь, но, к своему изумлению, даже добралась до работы и просидела весь день. На нее смотрели как на явление из преисподней, потому что, кроме нее, на работу после выборов никто не вышел. А она, с такими кругами под глазами — вышла.

Через несколько дней она сильно затосковала и двинулась искать общежитие за парком. Пришла в ту комнату — вон и лампа та, и картина с итальянским певцом Тото Кутуньо — черный смокинг, белый шарф — но объяснить, кого ей надо, не смогла. Из окружающих комнат пришли еще парни и стали вспоминать, кто у них тут в выборы ночевал. И все такие добрые, все тепловозы ремонтируют, кошмар... Потом один вспомнил, что тут же был этот, инструктор обкома, как его... А обком Ларичева хорошо знала. Но там его тоже не оказалось.

---

Уже через три месяца она пошла под светлые своды филармонии, как раз приезжал Митяев, но Ларичева билет не достала. Она стояла, борясь с неуместной здесь тошнотой, и вдруг увидела своего чудного паренька. Тот шел с такой девичьей, что держись. Прямо на ногах в лайкре расцветали холодные глазищи и пепельные локоны. Тела не было.

— Можно вас? — заикнулась Ларичева.

— А, привет. Лишний билетик надо? Возьми.

Ларичева взяла билетик и пошла. Она же мечтала об этом, так на, возьми, а тут дали билетик — и радости нет никакой. Она чувствовала себя, как корова на льду. А что она хотела? Чтоб он ее тут начал целовать, что ли? Как после выборов? Митяев так невероятно понравился. «Ради бога, сестра милосердия, не смотри на меня, не смотри. Не смотри, когда утром, остывшего...». В душе поселилась великая сила искусства, и Ларичева решила больше не трогать паренька. Но он сам пошел мимо и подмигнул. Она открыла рот:

— Можно вас.

— Момент. — Он подмигнул спутнице и подошел. — Какие проблемы?

— Знаете... У меня ребенок... скоро будет.

Он тут же, нисколько не смущаясь, достал бумажник, отсчитал деньги и протянул их вместе с телефоном и адресом.

— Можете вполне успеть, еще не видно. Пока? И заходите, буду рад.

Ларичева была ошарашена такой вежливостью но, конечно, никуда не пошла. Она на его рабочий адрес отправила свою фотографию и свой адрес. «У него, наверно, картотека там, пригодится».

Он пришел рано или поздно? Рано, потому что в ее комнате все еще другая девочка жила, не успела переехать. Поздно, потому что делать было поздно. Но девочка пошла к подружке на этаж, а Ларичева... Она-то о чем думала тогда, когда покорно все с себя снимала и кротко ложилась до последнего дня? И если бы он не пришел в роддом ее вывозить, то она бы тихо пополнила армию матерей-одиночек. И жаловаться бы не смела! Но он пришел, и принес приданное дочке и торт персоналу, и все быстро сделал, включая запись актов гражданского состояния. Повезло этой вороне, честное слово... И потом многие удивлялись, что у нее за странная манера описывать одиночек. Ладно бы сама была одиночка, а то ведь замужняя, все при всем...

Да, женские байки она записывала. Чисто мужские дела — еще никогда. «Курица не птица, баба не человек...». Ларичева, когда начала писать, не знала, что писать ей нельзя. Она вела себя естественно...

«А все-таки я буду сильной, Глухой к обидам и двужильной, Не на трибуне тары-бары, А на бумаге мемуары... Да, независимо от моды Я воссоздам вот эти годы — Безжалостно. Сердечно. Сухо... Я БУДУ ЧЕСТНАЯ СТАРУХА»...

«Храни вас Бог, технократ Батогов. И вашу насовсем больную сестру. И ваших детей вдали от вас. И вашу тайную женщину из Иркутска... И вашего ученика Нездешнего, без которого не войти к вам, как без ключа...»

---

...Батовов всегда уезжал из Москвы второпях, потому что стремился выжать из командировки максимум. А тут выскочил из главка, и впереди четыре часа до поезда. В голове полное замыкание, идти куда не хотелось, только вот есть хотелось. Но тяжело искать ресторан и стоять в очереди... И зашел он под темные своды крошечного кафе недалеко от ЦУМа, наполовину стоячего, наполовину сидячего, а там одни бутерброды и какао. Он спросил, нет ли чего горячего. Переглянулись работники общепита и в голос сказали, что да, вообще-то, у них было блюдо чахохбили, но кончилось, скоро закрывать, товарищ. Они переговаривались, а он смотрел в сторону, не слушал дальше, он другого ответа и не ждал. Он думал — ну, и пойду на вокзал, если так. В конце концов, линию для автоматической сортировки грузов закупил, и первая партия уже пошла в филиалы, ну, если кончатся лимиты, можно перекинуть на начало того года. Договора уж не сорвут, начальник главка полностью «за». Потом машинально взял бутылку сухого и бутерброды, сел за столик к одиноко маячившей фигуре и налил ей того же, что и себе.

Он потом никак не мог вспомнить, с чего начался разговор. Может, с того, что она не любит сухое? Потом еще бутылку взял, работники осведомились, сколько порций чахохбили он хочет, он ответил — все. Он протер глаза — женщина русая, с прядью, глаза усталые вприщур, коричневая дубленка — а руки большие, с венами, не дамские такие руки. Он поэтому и постеснялся спросить про работу, а она догадалась, сказала — художник-керамист, мастер по гжели.

Они не пытались друг друга ни кадрить, ни уесть, как это бывает при случайных знакомствах. В момент встречи это были два замотанных до смерти человека, привыкших жить в узде и мало что знающих, кроме нее. А потом стали по-английски говорить и надо же — он, никогда ничем не козырявший, вдруг впал в такой щенячий азарт. Когда, наконец, принесли мясо, они уже выяснили, что он закупил линию, а она сдала на базу новую экспериментальную партию посуды и, стало быть, есть повод. Когда же их вежливо выдворили по причине закрытия, они опомнились и поехали на вокзал. Но странно — его поезд уже ушел, а ее поезд был утром и не с того вокзала. Тогда они сели в зале ожидания и стали разговаривать. И чем больше говорили, тем острее ощущали, что надо быстрее, быстрее все высказать. Не расстегивать пуговицы, не комнату искать, а просто так, сидеть и говорить. Два узких профессионала, один технарь, другой человек искусства — и вот такое жадное общение до пересыханья горла.

Был мокрый снег, пол на вокзале и лестницы под светлыми ночными сводами чужих подземных переходов в слякоти, и высветлялись за окном сонные московские дома. Он сказал, что они вопреки всему счастливые люди. Оба женатые, такое дело.

Он посадил ее на поезд, потом вспомнил, что ни фамилию не спросил, ничего. И она там, в окне, поняла, отчего он заметался. Он увидел, что поезд с его стороны подходит к перрону, и газетой об жестяную таблич-

---

ку щелкнул. А она успела на билете своем город показать и сверху фамилию свою жуткую правительственную написала. Ведь он никогда ни с кем так не знакомился, у него не было опыта сразу все записать, запротоколлировать, потом уж чего-то... У него в тот момент одно было в голове: негодяй.

«Почему?» — закричала Ларичева. — «Неизвестно, — ответил Нежданский, — иногда ощущение вины такое сильное, что не позволяет анализировать. Поскольку боль. У меня тоже сейчас такое ощущение. Я вам первой говорю эту историю, больше, кроме меня, ее никто не знает. Ну, и самого Батогова, конечно».

На улице было темно, фиолетовые сумерки застыли, словно мерзлые чернила. В ванной привычно хлестала вода, бурля в тазике с бельем. В кресле под сводами своих причудливых снов обреченно спала Ларичева с наушниками на голове, и брови застыли горестной крышей. Из детской вышел сынок, прошлепал босиком до кресла, стал дергать Ларичеву за юбку. А из кухни пришла дочка и, пошущукав ему на ухо смешное, дала печенюшку. Они долго что-то делали на кухне, а потом перешли в ванную. Но Ларичева как будто почуяла, что есть угроза выполосканному белью, и встала. И не зря. Войдя, она увидела, что сыночек увлеченно сыплет в многострадальный тазик большую пачку импортного порошка. И отмахивается, и чихает... Хорошо, хоть не всю высыпал...

## ПУСКАЙ ЗУБЫ ВЫПАДУТ

Ларичева звонила бы Батогову каждый день, да не ее воля. Если с сестрой было в пределах нормы, он мог поговорить, мог прикинуть, когда лучше прийти. А если сестра была тяжелая, он только говорил — занят, занят, перезвоню. И потом действительно звонил. А в тот раз не позвонил, неделю молчал после этого... Ларичева заволновалась и стала нервно крутить диск, а Забугина, завидев это, стала крутить пальцем у виска.

— Вы заняты? — спросила Ларичева. — Как мадам Батогова?

— Спасибо.

— А вы-то, вы как?

— Спасибо.

— А в аптеку вам сбежать не надо?

— Дело не в химии.

— А в чем?

Молчание, молчание в трубе, как страшно-то оно. А что ты хотела? Чужие люди.

— Простите. Вы не хотите, чтоб я приходила?

— Пока не стоит. Но вы ничего там не выдумывайте. Я перезвоню.

— Ладно, хорошо. У вас что-то сильно болит. Я все поняла. Иначе бы вы не стали...

---

— Да бросьте накручивать. Печень озверела, обычное стариковское дело.

— А может?.. Хотя ладно, я только одно хотела сказать: пусть бы ваш бок прошел, а мой заболел. Пусть бы я покорчилась, так ничего, стерпела бы. Господи, сделай так, и я пойду в церковь, пусть и неверующая...

— Ну, что вы мелете? Возьмите все слова назад. Когда у старика горит бок и выпадают зубы — это норма. Вы же молодая...

— Не возьму обратно, ни за что! Зубы тоже пусть выпадают, не жалко. Их можно заменить, а вас нет.

— Позвольте, почему?

— Потому что на вас держится весь белый свет!

И оледеневшими руками положила телефонную трубку на место.

Приехали из садика. По всему дому валялись разбросанные с утра колготки.

— Мам! — воззвала дочь, впиваясь в сериал, — есть хочу, умираю.

— Омлет?

— Давай, но побольше. И хлеба. И сметаны налей.

— Да неужели ж ты тут помирала и не могла себе омлет нажарить? Или сметаны с хлебом навернуть? Кошмар.

— Мам, — вопила дочь, — не могу уйти от телевизора! Целуются, ну, теперь все... Они встретились, понимаешь?

Ларичева молча пожарила омлет, отнесла его к телевизору и с ужасом почувствовала, что не может вот сейчас взять и сесть, прийти в себя. Надо поставить гречку варить — ах, молоко-то не купила! — и быстро идти драить лестницу. Обидно.

Сынок, конечно, сел на хвост, поплелся следом:

— Мам, я с тобой.

— Смотри лучше кино.

— Больше не целуются, все, пойду с тобой, мам.

Ларичева бодро выбежала под темные своды обширного холодного подъезда, пошвыряла половики на крыльцо подъезда, выбила их на ветру и стала разгонять мыльные волны по кафелю куском мешковины.

Щербатые ступени исходили паром и приобретали очертания. Поломкой Ларичева услышала трубы первых пятилеток и в третий раз сменила воду. Как вдруг в глазах у нее все померкло! Сброшенные в кучу половики подло поехали в стороны, стена с окошками электросчетчиков резко накренилась. Свет лампочки зачах и рассыпался искрами.

Ларичева задохнулась от боли в боку, и, забывшись, прижала к нему руку с тряпкой. Ледяные струи хлынули по ноге. Схватилась за перила, стала медленно оседать... Но куда, в мутные лужи?

— Мам, ты сто?

— Тихо, сынок, иди домой, я сейчас...

— Я с тобой? А ты сто, а?

— Сейчас... Пойдем... — Зубы Ларичевой выбивали дробь. Она корчилась в жуткой позе, а сынок стоял и хныкал.

---

— Иди, иди, иди... — бормотала Ларичева, зевая ртом от боли. Бросить все ведра и тряпки к такой-то матери. Упасть, глотать анальгетики, одну, две, три таблетки, всю упаковку...

— Мама, — ревел пацан.

— М-м-м, — мычала мама.

Она не знала, как уйти, хотя дверь была в трех метрах. Даже ведро поднять было невозможно, даже разогнуться, так как боль грызла челюстями, кромсала, не отпускала. Попыталась на корточках... Хуже. Перевернула ведро, встала на четвереньки, начала передвигать себя вслед за тряпкой вместе с юбкой... Новая юбка, колготки! Слабо понимая происходящее, веник, тряпку и сыночка впахнула в прихожую. Дверь на замок. Так, следующий момент... Куртку с ребенка снять, не забыть, а то вечер так проходит... Теперь спокойно. Юбку испорченную долой, колготки тоже в тазик. Накинула банный халат, побросала в перекошенный рот анальгины и но-шпы. Упала на диван, застонала в подушку.

— Мам, ты что? — возникла дочь.

— Ничего, бок вдруг заболел... Там кино кончилось, ты возьми кашу, себе и братику, да масла побольше...

— Я тебе ноль три вызову.

— Я сама вызову, если что.

— Телевизор сейчас принесу.

— Ой, все равно ничего не соображаю...

— Отвлекись. Там такую красоту показывают. Жалко, что спать надо ложиться, я бы всю ночь смотрела...

Но Ларичевой ничего не помогало. Боль стала широкой, как море, и била в бок, как прибой в дамбу... В голове уже поплыли картины скорби — ее погружают в скорую, везут госпитализировать. Дети остаются дома одни, без присмотра и голодные, а муж приезжает только вечером, а может, вообще на следующий день. И тем более муж не знает, где находится новый садик. И Ларичева, дурочка, как последнее завещание, стала рисовать подробный план пути к новому садику в глухом микрорайоне.

Потом, действительно, план как-то побледнел и смеркся, а через него проступили свечи — как если бы бумага загорелась на огне... И хор запел. «Слышится чудное пение детского хора...». Это, кажется, Рубцов, которого то знать не хотели, то возводили в степень классика, а он, бедный, не приближался, туманился, уходил все дальше от похвал и рецензий...

Что же делать? Это предстоит всем нам — плохо жить, плохо умереть... Вот оно, грозное предупреждение.

«...Ангелов творче и Господи сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гутнивому древле слух и язык отверз еси, и глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, Ангелов удивление... Иисусе предивный, предвечный...».

Хвалить! За что же хвалить, за мучения? Почему плачут от счастья все эти люди в храме, разве он всем им дал Хорошее? Так нет же, нет!

---

Ведь это они не за что-то, они просто Ему рады, ведь это служба пасхальная, Он воскрес... Стало быть, они перед этим фактом ничего своего и не помнят. Только это... Он дает им силы оторваться от своей мелкости, а это так редко бывает.

«...Воскресение Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному... Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, все вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяше Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши...».

«А что же мне мешает славить великое имя? — думала Ларичева растерянно. — Просимое Он всем дает... И мне же, подлой твари, дал просимое... Увы, другие просят очищения, благодати, а я попросила боли чужой, вот и заболела, вот и детей бросила сиротами, и сама озлобилась...».

Ларичева поняла, что ее Бог не наказал, а, наоборот, помиловал — дал, что она хотела. Никогда не думаешь, что просишь... Ковыляя в развязанном купальном халате, с черными колготками, прихватывая бок рукой, она нашарила на пыльной полке маленький молитвослов и судорожной рукой стала листать... И став на колени перед телевизором, держась за диван, заговорила, перебивая российского патриарха:

«Что Ти принесу или Ти воздам, Господи... Яко лентящая на Твое утложение... Милостив буди мне, грешному... нет, грешной... Возстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных ... Э-э... и отыми от мене весь помысл лукавый видимого сего жития... Очисти Боже, множество грехов моих, благоволи, избави мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, егда приидеши во славе...».

Да, страстную мою душу! Страстную мою душу! Прости, прости меня за нязисть и дерзость, а еще за слабость, за то, что выболтал язык, а терпеть-то не умею. Готова только сверху, дернули за нитку — и весь мир должен дернуться! Ну, хотя бы ради них, чтобы сладко спали, Господи, ты же видишь, какие они славные, так ты спаси их, пожалей, и я не буду кощунствовать, ведь я больше не могу...

«Господи Боже! — спохватилась она, впиваясь опять в молитвенник. — Еже согреших... Согреших во дни сем словом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен... — заплакала измученная она, — мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя пошли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла... Яко... Яко ты еси Хранитель и душам и телесем нашим... За то и славу возсылаем... Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков... Аминь...».

Ведь Он — соблюдающая, действительно, это я ведь все наворотила, и теперь сама же убиваюсь... А думать надо прежде... Тяжелой, непривычной рукой Ларичева повела в воздухе положить крест, но рука-то не шла, точно на ней камень висел... Но упорно повела, помогая другою рукой,

---

точно калека, а она и была калека. Ведь она жила внешними понятиями, она не знала, что такое взять на себя чужую боль, что тяжело это, невозможно. И не задумалась она, что ей сначала свою-то боль надо всю изжить, а та, что заболела вдруг — от Батогова перешла, она его грех разделала. И тогда глаза стало неумолимо смыкать, смыкать от слабости и теплоты...

Проснувшись на том же диване, Ларичева увидела невыключенный телевизор. Иисус воскрес? Воистину воскрес. Ведь и Он, и она, такая мелкая, тоже с ним воскрес. Бок-то больше не болел. Как будто вовсе он и не болел, ни-ко-гда.

Тихо, тихо пошла она по квартире, осторожно наклоняясь, точно проверяя, не подстрелит ли боль, бегло умылась, потом ноги вымыла. Лицо в зеркале было не ее — старое лицо, вчерашнее. А она-то была уже не та, другая. И глаза ее другие были, потому что зеркало души — измененной, но облегченной, ясной.

Она нашла в холодильнике творог и масло, перемешала, засыпала сахарной пудрой и бросила несколько арахисок. Порылась в своих рецептурных тетрадках и нашла шоколадный кекс. Навела, поставила в духовку...

— Дети, вставайте, сегодня Пасха. «Иисус воскрес. — Воистину воскрес». Возрадуйтесь, дети... Слышите, как из духовки пахнет? Вот то-то.

Дети смотрели на Ларичеву, онемев от изумления. А под светлые своды прихожей прямо в одежде зашел деловой Ларичев, которого Всевышний вернул из командировки утренним московским поездом.

— Какие проблемы?

— Мама говорит — пасха. Возрадоваться надо. А как?

— Возрадоваться — это я люблю, — сказал муж, доставая всякие пакетики, хрустя ими и дразня. — Это единственное, что я делаю лихо.

Вечером Ларичева позвонила Батогову и спросила, как самочувствие. Ей казалось, она заранее знает ответ... Батогов должен чувствовать себя хорошо.

— Да мне стыдно, что зря пугал вас. Со мной все в порядке, прямо вечером в пятницу все и прошло.

— А я вечером слегла, надо же. У вас какой бок болел, правый?

— Правый, где печень, да.

— И у меня правый...

О том, что зуб сломился, Ларичева говорить не стала. Он, к тому же, не на орех попал, не на твердое что-то, а вообще на яйцо всмятку. Хороший был зуб — штифтовой, крепкий, лет десять стоял нерушимо... Батогов остался жив. Теперь надо было думать о душе. Что произошло с душой, которая всегда расплачивалась за резкие движения тела? Может, правда пойти в церковь, раз пообещала?

Ларичева не умела врать. Все ее мечты и страхи были написаны у нее на лбу. В церкви с ней творилось что-то странное. Когда она заняла оче-

---

редь, приготовившись стоять два часа, бывшие впереди старушки стали пропускать ее, сердобольно оглядывая бледное, в слезах лицо: «Чего с ей тако?». Она, правда, не знала, что с ней. Священник ее растерянно оставив, налил два раза: «Не довольно ли, дочь моя? Оставь на завтра...». Но разве могла Ларичева оставить? Она в первый раз была на исповеди.

Только одна близко стоящая старушка расслышала: «Господи, остави их, удержи, пусть они не бьют друг друга по голове мясорубкой».

После причастия и целования креста Ларичеву по щеке погладил пронзительный весенний ветер. Под светлыми сводами весеннего неба все казалось простым, легким, роскошным. Сладкими были даже дождинки на горящем лице. Невиданное чувство легкости и пьяной веселости зашало ее. Простили ее, простили!

## НАСТАВНИК РАДИОЛОВ И ЕГО ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД

Когда под светлыми сводами статотдела на рабочем столе Ларичевой среди простыней, пустографок и технико-экономических анализов появилась очередная тетрадка под заголовком «Автор Упхолов», ее первое чувство было — «фу, не вовремя». Потому что она сдавала рукопись Радиолову для семинара и одновременно пыталась слепить первый черновик для Батогова. Хорошо бы, конечно, соединить. Но Радиолов не хотел ничем рисковать, да и Ларичева, летописка несчастная, тоже не была ни в чем уверена. Она, как слабое, эмоционально неустойчивое существо, хотела, чтоб там была не только производственная линия, но и личная. А Батогов говорил только про работу. Все это получалось слишком железобетонно, насильно... Как будто читаешь книгу через слово и видно пустоты... А историю знакомства с беленькой женушкой и тем более с женщиной из Иркутска Нездешний, конечно, фиксировать не разрешал...

Ларичева пришла к Радиолову, под светлые своды союза, чтобы отдать свои переделанные рассказы. Там были «Дети из почтового ящика» — как мать-одиночка родила двойню, и как случайно об этом узнал не отец детей Давид, а узнала-то его мать, и вдруг она приехала... И еще там был рассказ про Нурали под названием «Капкан для амура», самый дорогой для Ларичевой на тот смутный день. Радиолов, склонив голову набок, осведомился, куда же в результате подевался виновник всего Давид? Пропал из поля зрения. Может, конечно, женщины и сами справились с двойней, но, извините, его отношение знать необходимо, была ли это интрижка, или серьезное переживание. Нельзя так брать героя и потом выбрасывать за ненадобностью. В «Капкане» он ругал заголовок. Это не заголовок, он не вытекает из повествования. Для заголовка подойдет только то слово, которое осветит главную грань. Если с героя сняли шапку, и благодаря этой шапке лесник их из ямы спас, так значит, надо назвать «Шапка»...

---

Ларичева поняла, что они говорят на разных языках, для нее этот рассказ мог быть истолкован только как капкан — туда свалилась любовь, там замерзла. Радиолов сказал, что в «Капкане» есть в начале крючочки, а в конце на них защелкиваются петли, и все становится на свои места: «Я на эти крючочки поймался бесспорно». Значило ли это, что «Капкан» более сделан, чем все остальное? Ничего подобного. Радиолов не объяснял такие детали. Он сказал просто — «поймался».

Он еще усадил ее в кресло и дал почитать отрывок из новой повести. Своей повести! Ларичевой еще никто не давал понять, что кому-то нужно ее мнение. Тем более писателю. Известному! Она стала внимательно читать и адски затосковала. Там юного романтического учителя посылали работать в зону. И не то чтобы над ним измывались, а просто непонятно было, отчего это такому ласковому и прощающему больше нигде места нет, кроме как в зоне. Почему, например, он не мог работать в школе? Ведь в школе одни сморщенные тетки! Хотелось вскрикнуть, вмешаться и защитить его, но тогда бы на его место пришел другой — злобный и не прощающий... И было очень хорошо написано! С народными поговорками, прибаутками, которые застревали в горле, хотя они были, конечно же, кладезь. Ларичева завидовала чистому тексту, за которым, конечно же, стояла тяжелая работа над словом. Но внешне все было блеск. И лексика была не то, что у Ларичевой — горбатая, не приглаженная, с жаргоном... Тут лексика была прозрачная, конечно же, исконно русская, нежная, настоящий перезвон ручья и шелестящих листьев...

— А что, черновик нельзя ли почитать? — спросила некстати Ларичева.

— Зачем?

— Ну, чтобы понять, какое чувство вас подтолкнуло... Мне кажется, вы себя уж очень жестко держите, никаких вольностей.

— Ответственность перед читателем, дорогая Ларичева, требует того.

— А перед собой? Вы-то не человек? Я все хочу настоящего вас узнать, не переделанного... А так здорово. Нечего сказать. Я по теме могу только догадываться, что для вас главное — не события, а душа. Но вот тут есть какое-то губление вас самого, вашего «я», что ли... Ну, может, я не понимаю.

— Да нет, я бы не сказал... Вы, несомненно, что-то чувствуете. Хотя портит все известная доля категоричности...

— Да вы простите меня. Вы очень хороший. Я пошла. Я вам в следующий раз нового поэта принесу, он такой трагический, азиатский. Упхолов — не слышали? Он у нас электриком работает.

— Я русское люблю, дорогая Ларичева. Но посмотрю, если вы отберете на свой вкус.

— Понимаю — вы любите таких, как Рубцов.

— Вообще-то, я люблю Шукшина. И его, и Рубцова считаю частью национальной культуры.

— А то, что жуткая жизнь и жуткая смерть — тоже часть националь-

---

ной культуры? Или его личная вина? Так сказать, вина от вина? Вот если бы он сейчас пришел и попросил последние деньги на бутылку отдать? Вы бы дали, конечно?

— Вина, но не его. Вы мемуары в «Слове» прочитайте...

— Ладно, прочитаю и скажу вам. Я стихов немного принесу, штук десять. А кого будут обсуждать на семинаре, не знаете?

— О, нет, нет, тут решаю не я, а комиссия. Но приходят могут все желающие.

— И Упхолов?

— Конечно же.

Радиолов сидел одетый в холодном нетопленном союзе. Над головой у него висел серебристо-лучистый портрет Яшина. В кармане было пусто и домой стремиться незачем. На столе перед ним лежали папки начинающих для семинара. Он для них делал все — сидел, выявлял, редактировал, просил деньги на семинар... А они приходили и вякали на его выстраданную повесть. Но он вида не показывал, что это больно. Он привык терпеть боль. Потому что у него был подход христианский. Он знал, что без боли ничего не бывает. Он пятнадцать лет отсидел в тундре, среди полных дебилов и отбросов общества. То, что за него заступились люди из столицы и вызволили из тундры, оплачено столькими годами отчаяния. И первые публикации пошли вот только-только. А эти молодые хотят быстро, нахрапом влезть в большую литературу. Но так не бывает. Все так, как там. Сначала муки ожидания, страх, слезы, потом молитва смиренная, потом — прощение и радость. Откуда же возьмется радость, если перед этим не было горя? Откуда эта радость у католиков, когда они, мыслимое ли дело, на службе сидят по креслам! И потом — женщина, коллеги плохо воспримут. Искусство двигают мужчины. Статистка в управлении, хотя что-то есть, несомненно. Есть даже природный дар, который ничто без духовности. Через это жерло она пройти обязана.

— Простите, дорогая Ларичева, а вы давно были на исповеди?

— А при чем здесь это? — дрогнула Ларичева.

— При том! Творческие люди зависят от воли неба. Только оттуда происходит вдохновение. Все настоящие русские писатели рано или поздно пришли к вере, она их вела по жизни. Она и только она должна двигать нашим пером. Вы, видимо, сами догадываетесь...

Радиолов внимательно смотрел, как смущалась эта женщина, как кусала губы, краснела. Сейчас ведь женщины стали так бесстыдны, что и краснеть разучились. У этой не все еще потеряно. И он будет ее учителем.

А Ларичева была в ужасе. Во-первых, она лишь только один раз была на исповеди. Причем переплакала и перестрадала слишком сильно. И она боялась спросить — а если без веры, так что, нельзя и писать? Некоторые же не виноваты, что они навсегда пионеры, такое уж воспитание. А во-вторых, ей было жалко знаменитого писателя. С одной стороны — лишения, с другой — вера. Никакого уголка не осталось у него для себя,

---

сплошное служение. И она подумала — его тут и пожалеть некому. Дай хоть я пожелаю. Она пересилила обиду и сказала:

— А я тоже могу читать ваши произведения и помогать вам, хотите?

Пожалуй, именно в тот момент она и сделала основную ошибку. Конечно, он мог ее читать и критиковать. Он же для того тут и сидел, чтобы работать с молодежью. Но закон, увы, не действовал в обратную сторону. Сверху вниз — это тебе не снизу вверх. Критикуемый не мог критиковать критика. Это она пусть на своем кружке по развитию речи балуется. Ишь, чего захотела. Да он только улыбнулся.

В этот драматический момент зашел в союз их самый главный председатель, критик худощавого и зловещего вида. Он сказал, что утвердил, наконец, программу для встречи с читателями, а также смету.

— А что за программа? — оживилась Ларичева. — В ней можно участвовать бардам? Или только речи будут говорить?

— Извините, барышня, вы пока, насколько я знаю, не член союза, а потом, неизвестно, что вы можете спеть. Нас интересует только то, что на стихи наших (он упирал на слово «наших») поэтов. И чтобы все было по высшему классу! Ясно?

— Ясно, — сказала Ларичева, подумав, что «ничего не ясно». — А свое? Или Бек?

— Еще чего выдумаете. Рейны, беки, бродские, терцы и другие евреи нас не волнуют.

Ларичева попрощалась и пошла, слыша за дверью хохот, просто громовой под светлыми этими сводами. Критик сказал: «Хоть в потолок прыгай!». А Радиолов сказал: «Ишь, смиренница!». И очарование, исходившее от Радиолова, как-то стало угасать.

## СПАСИБО, ЧТО ЧИТАЕШЬ ЭТУ МУТЬ

Новая тетрадь Упхолова была совсем не то, что ожидала Ларичева. То есть там были стихи, это понятно. Рифмы кое-где торчали, как доски из забора, но все равно стержневое чувство, на которое рифмы нанизывались, было абсолютно другое. Не слепое отчаяние, а горькое спокойствие. Как будто Упхолов перешел в какое-то новое состояние, из жидкого — в твердое. Из привычной расхристанности — в сосредоточенность.

Между страниц со стихами были вложены отдельные листочки, местами выдранные из блокнота, местами из оберточной бумаги, а кое-где просто шел почерканный изрядно текст.

«Я был готов помчаться за тобой, остановить и звать тебя обратно, ты уходила — да, невероятно, и опускался сумрак голубой. Казалось — шутка... Ты сейчас вернешься и скажешь: «Я устала, покорми...». Насытившись, довольно улыбнешься: «Работать надоело до семи...». Ты уходила, не взглянув на дом, где мы насквозь друг другом пропитались, где

---

души, как тела, соединялись и в будни, и за праздничным столом... Ты уходила... И со мной была — как ночь сама — весенне-голубою. Как в сердце раскаленная игла, летела мысль вдогонку за тобою...».

«Я слов обидных не скажу тебе, в молчанье тоже праведная сила. Я долго ждал, и кровь моя остыла, и вот плетусь уж мертвый по судьбе. Коварство встреч, душа — обрывки фраз. В небытие утраченное канет, и будущее нас опять обманет, притягивая каждого из нас».

«Пристяжные рвутся в стороны, коренные тянут воз. Кружат черные, как вороны, мысли, горькие до слез. В этом поле, мною брошенном, ни пшеница, ни ячмень — стыннут горькие горошины опустелых деревень. Междуполем разрастается зелень горькая полян. Снится мне и представляется цвет не сеянных семян. Здесь и там — кругом отсеянный. И другие тянут воз... Бьюсь, как мерин не пристреленный, провалившийся под своз. Догнивающую матицу подпирают горбыли. Кумачовым солнцем катится благодать с моей земли...».

«Здравствуй, Ларичева, пишет тебе не какой-нибудь знатный человек, а простой. Говоришь, неплохой автор? А у автора опять заскок. Это когда рвешь всю писанину... Запутался — если у меня был заскок, когда я впервые взялся писать, потом бросил, то теперь, значит, уже не заскок, а возврат в нормальное состояние. Это было для меня щитом...».

«Когда мне было очень тяжело, к столу садился, открывал тетрадку, в ней изложить пытался по порядку все то, что мне так больно душу жгло. Недосыпал частенько по ночам... Ну, а писалось с горем пополам...»

«В собственной жизни рухнуло все, ну, вот и потянуло жить чужими жизнями. Ехал в Петрозаводск из армии, ударялся в побег от дедовщины, летел на похороны любимой женщины в самолете, в баню на гадание пробирался, даже, кажется, за шторой стоял, пока дамочка с комодом гостя принимала... Иду рядом со многими, которые сошлись ко мне из прожитой жизни, но ты их не знаешь, потому что я этого еще не написал, а то, что написал, все изорвал, что попало под руку. Но все равно как-то видел их, чувствовал, болел за них, желал им выйти людьми и помогал, чем мог».

«Построил замок призрачный и вот хожу меж стен и радуюсь покою. Ну, как живешь, придуманный народ? Тепло ль тебе, доволен ли ты мною? Морщинистые бабки, старики мне бьют поклоном, батюшком считают... Эх-хе, и здесь те же все грехи, что землю смрадным дымом разъедают. И ты не избежал, родитель наш, сей участи и рисовал портреты. Кому он нужен, сказочный мираж? Понятно, в жизни главное не это... Главней всего, что мы теперь живем в тебе самом, в других, что прочитали. И детям, внукам — память этот дом, как памятник тебе, твоей печали...»

«Ты спросила — «любишь?» — имея в виду жену. А я вспомнил первую любовь... Девочка смотрела мне в затылок на уроках, у меня краснели уши и мерзла спина. Потом получил от нее письмо, и мы с ребятами читали его за печкой, гоготали, как гуси, на весь класс. Она ушла с уроков, неделю не показывалась, потом перестала учиться, а ведь отлични-

---

цей была. Вид — красные глаза, опухшие веки. В конце года вся их семья уехала... Через несколько лет ее встретил — не узнал. Наглая, самоуверенная, размалеванная, с коллекцией мальчиков. Захотел бы стать одним их них — нет ничего проще. А то, что не захотел, обидело ее больше, чем та моя подлость. Господи, как меняются люди.

Со второй встретился случайно, она была подруга моей. Мою перехватили. Сумел перестроиться, сделал вид, что ее-то и хотел. Два года гуляли, все чисто, честно, потом уж каждый день мотался к ней за тридцать км. Во вторник ночью от нее, в среду вечером опять примчался. Она не ждала меня, в сарайке оказалась с парнем, оба пьяные были. Я ушел в загул. Она потом несколько дней с двоюродным брательником по деревням носилась на мотоцикле, все меня искала. В армию писала... Забросала письмами. Я молчал. После армии довелось переспать с ней. И только.

Третьей была жена. Тут ты все знаешь. Она была пацанка совсем, только в техникум поступила. Но обнималась сильно, не по-детски. Мать ей кулаком грозила — не вздумай. А сладко было мать не слушать. Теперь в район укатила — больно и хорошо, и мать там, и хахаль новый. Мне говорят — заведи зазнобу, клин клином вышибают. И ты туда же, говоришь, что знаешь, какую мне женщину надо. Да уж видно, эти радости не про меня. Надо привыкать к одиночеству. И клин клином не вышибить. Представь чурбан с клином, второй начнешь вгонять, так вряд ли и первый достанешь, просто чурбак хряснет пополам. Нет, вылечиться можно только добротой и теплом, а где они? Помнишь, по техническим причинам три дня контора не работала? У нас пьяный бобик из строительной шараги загнал костыль прямо в кабель. Так что ты думаешь, замыкание было такое, что все двенадцать блоков вырубил, весь силовой РУ. Пока запасные блоки нашли, пока мало-мальски годные починили... Вот и меня так тряхануло, что навряд ли очухаюсь. Можно, конечно, отправить в перемотку, но кто будет возиться с таким барахлом? Если бы пробой изоляции на корпус... А то я теперь совсем без изоляции, голые провода, опасно для жизни. Не боишься? Вон, твоя подруга сказала, что мои стихи — это душевный стриптиз, она права, картина неприглядная, да только мне кому врать? Забутина на вид шикарная женщина, а мне кажется, ей, ой, как худо, только фасон один. Может, ей покровителя надо, а какого — она и сама не знает. Вот и пылит без меры, деньги из всех вытрясает. Только женщина ценится не этим. Может, я и ошибаюсь, хорошо, если так. У меня, как видишь, опыт небогатый, и слава богу, хватит этого... Извини, что пишу такие глупости, но при разговоре я бы не сумел вывернуться наизнанку. Часто думаю — зачем теперь жить? У тебя в рассказах выходит — для других. Но попробуй весь век себя не помнить, давить природу... Рано или поздно взрешь. Извини, что хожу с пьяной рожей, алкоголь мне вообще противопоказан, я либо распускаюсь, ненавижу всех, либо становлюсь тряпкой. Ты говоришь, глаза, как у раненой собаки, а сам наглеешь. А я тебе говорю — нерешительней меня чувака трудно сыскать. Мне слишком часто приходится делать себе на-

---

перекор. Тебя пьяной не представляю. Ты сказала, что дразнила мужа, мол, если кто и будет твоим любовником, то Упхолов. Вот вранье. И он прав, что поднял тебя на смех. Дело не во мне, не в том, что он меня не знает. Просто — если женщина сказала это вслух — такому не бывать. Чаете на это идут те, кто клянутся — «да чтоб я, да никогда, ни в жизнь...».

А в общем, спасибо тебе, что читаешь всю эту муть. Может, на кухне, может, ночью, когда все заснут. В настоящее время ты единственный человек, которому могу выговориться. Ты мне тоже пиши».

И Ларичева поняла, что вот сейчас, в эту минуту Упхолов не просто превращается из поэта в прозаика, но из обывателя становится личностью, творцом. Эти письма для него ступенька, самооткровение, самопознание. Прорыв к себе завтрашнему. После этого полуписьма, полудневника в тетради начинался полный сумбур. История любви чокнутой парочки. Они поженились подобной воле, пытались растить сына, но потом все развалилось. Кто-то с кем-то выпил, подрался, «свалялся», кто-то кому-то насолил. Потом загулы, пьянки, тюрьма, болезнь, проституция... Перипетий было больше, чем надо, к тому же они были написаны карандашом. Никаких чувств, только кровь с блевотиной. Скачущая невеста куда безголовая лошадь. И как ни смешно, это было очень похоже на саму Ларичеву, на то, как она перемалывала жизненные впечатления в рассказы... Ларичева и правда читала тетрадку сначала на кухне, а потом в автобусе, по дороге в садик и оттуда, и даже в тряске пыталась разбирать забубенные упхоловы строчки. Ей и досадно было, и оторваться не могла, хохотала, как ненормальная, почти над каждым эпизодом. «Деревенский Шекспир! — Думала она. — Надо же!». Попроси ее сказать мнение, она вряд ли нашла бы слова. Слов просто не было, одни матюги. Вся эта дикость кончалась тем, что парочка все же встретилась, наконец. Он после зоны строго режима, она после биографии вокзальной шлюхи и последовательного лечения в гинекологии и психодиспансере. Якобы он ее забирает из больницы, и у него уже чуть ли не комната есть. И они даже не пьют, боятся, все у них начинается по-человечески, у этих обломков жизни, которым едва за сорок лет. Они даже вспоминают, что у них сын есть, хотя его искать, нужны они ему, отребье такое. И вот когда они выезжают к нему, то разбиваются в катастрофе! И правильно! На фиг они кому нужны.

Упхолов, конечно, непростой, это было понятно и с первой тетради. В истории со смертями была уже своя философия. Мол, жизнь дается только тем, кто ее живет по любви, а наступил на нее — пропадай, скотина, по тюрьмам, больницам, под колесами и так далее. Значит, ты за любовь, Упхолов. За природу этой любви. Ну, ты мужик настоящий... То-то тебя жена бросила... Нашла себе...

Ларичева была сильно на взводе, когда пришла на работу. Она подошла к Нездешнему и попросилась на три дня на семинар. Нездешний показал, какое заявление надо написать. И тут же подписал бумагу и в канцелярию велел отдать.

---

Забугина посмотрела, что у Ларичевой лицо как-то набок и красные пятна на щеках и предложила сходить в АСУП, чтобы отсрочить долг за костюм. А безукоризненный Нездешний, ничего не поняв, сказал, что сам заплатит за этот костюм, и деньги дал Забугиной, целую пачку. Ларичева сказала сквозь зубы «спасибо» и пошла, а все проводили ее глазами, решив, что она «того» и у нее с Нездешним что-то. Но Ларичева пошла в подвал, миновала разводки, распреустройства и трансформаторы, нашла в складе кабеля Упхолова и отдала ему тетрадку. Потом пожалла ему руку и сказала:

— Ты настоящий человек и сильный автор. Будешь ходить на наш кружок без разговоров. Я теперь туда хожу все время, потому что старостой некому больше. Ты знаешь, старец как серьезно заболел. Я могу ничего не писать, но сидеть и предоставлять слово буду. Мы тебя обсуждали мало, а потом поговорим, как следует. Обсудим, что на семинаре будет. Ты слышишь? У меня по жилам кровь бежит, как бешеная, это от твоих тетрадок. Ты не сопьешься. Может, ты даже будешь знаменитым писателем, как Чернов. А я ничего не умею, понял? Но на семинаре будем вместе обязательно. Не бойся ничего и не пей, как дурак, так в люди выйдешь. Ты веришь мне? Говори.

— Верю. Я верю, вот те крест.

И Ларичева после этого вышла.

А остальные электрики посмотрели на нее и подумали, что у нее с Упхолом чего-то есть. Или она «того».

## СЕМИНАР ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

На семинар народу съехалось туча. Туча клубилась то под светлыми сводами гостиницы обкомовской, самой лучшей, то библиотеки, где следовало выступать вечерами после заседаний. Ларичева понимала, что выступать ее никто не пустит, выступать должен Чернов и сотоварищи, но в гостиницу, куда приехали нормальные начинающие, такие же, как и она — туда хотелось сходить. Но как сходить? Сынок постоянно застревал в круглосточной группе, дочка не успевала за ним после музыкальной, близкий человек, если и мог съездить в садик, то не каждый день. А перед семинаром он сказал сухо:

— Я за свободу творчества принципиально. Но не надо, чтобы твоя свобода была тюрьмой для других.

Он дал понять, что семинар — это блажь, за которую надо платить немаленькую цену. Причем не участникам, а их близким.

Ларичева приходила поздно, распотрошенная, опустошенная, с перегоревшими нервами. Она все равно ехала за сыном в сад, несмотря на то, что его бы там покормили и уложили раньше, чем дома. Она понимала краем сознания, что это будет непоправимый шаг, если она не заберет его. Дети ей мешали жить, и ей нельзя было в этом сознаться. Дети стояли

---

на первом месте, семинар на последнем. Сначала ждешь этих детей, с ума сходишь, а как займешь, не знаешь, куда девать... Дочка подошла к ней и сказала утром, что она так и быть, отходит этот год в школу, отходит, как все, а на тот год будет учиться, как Ленин, то есть будет ходить в школу только на экзамены. Ларичева посмотрела на нее и удивилась, что дочка похожа на революционерку. И одежда на ней такая же бедная, рваная, наверно, это потому, что который год в одной и той же форме она ходит. И лицо такое гордое, и круги под глазами. Поэтому надо немедленно занять денег и купить ей новое платье и новые колготки. Или лучше занять денег и дать поручение Забугиной, может, она на перерыве все это и купит. Или купит под светлыми сводами АСУП, не выходя за пределы здания...

Перед тем, как уйти на садовый автобус, потом на семинар до вечера, Ларичева достала из холодильника неприкосновенный запас - банку с голландской ветчиной. Порезала ее на сковородку, бухнула последние три яйца и сказала:

— Миленькая, вот тебе еда, а вот тебе деньги на что хочешь, а вечером тебе будет еще что-то хорошее. Иди учись, только не очень убивайся, пусть тройки, пусть двойки. А то будешь, как Космодемьянская, не надо. Лучше бы ты была толстенькая хохотушка, пустозвонка. А то: что ты такая взрослая?

— Потому что жизнь такая. Потому что ребенка не на кого оставить. Сама же говорила.

Ларичева ее обняла и поскакала, держа на привязи сына. А дочка посмотрела на нее в окно и пожалела худыми плечиками. Мама совсем одурела, обниматься начала. Наверно, она «того». Даже бигуди с головы не сняла. На работе над ней все будут хохотать. Дочке не нравилась мамина мутотень с рассказами. Когда рассказов не было, мама была попроще, и часто лежала с ними на диване. Папа вечно уедет в командировку, а мама никогда не уезжала. Парила кашку оранжевую с тыквой, с маслом сливочным. Говорила, что эта тыква выросла где-то далеко, у бабушки. Мама им давала печенюшки, а сама читала книжку. Читает, читает, потом закашляет, попьет гриба. Особенно запомнилось дочке сказка про поезд голубой, как он ехал и подарки под праздник детям развозил. Дочка думала, что на этом поезде, наверно, и ей что-то будет. А еще была книжка про девушку бедную, несказочную. Там два поезда столкнулись, и она их уж почти остановила, только вот саму ее ударило. Ее несли на руках. Мама очень по этой книжке страдала, даже вся в слезах была, и они ее с братиком утешали. И потом долго возились и обнимались на диване. А потом начала мама к дядьке писателю ходить и совсем перестала на диване лежать... Придется теперь взрослой вырастать. Но только не такой, как мама, а такой, как тетя Забугина...

Бигуди Ларичева сорвала с головы уже под светлыми сводами обкомовского туалета. Она покидала их в сумку, расчесалась кое-как, дунула лаком, который стоял на полочке для общих нужд. Туалет был белоснеж-

---

ный, как будуар принцессы, с овальными зеркалами в рамках и бумажными полотенцами. Возле золотых краников лежало импортное мыльце в виде лимонов и бананов. Сушилки для рук и волос, узкие пластиковые лавочки вдоль стены. Теплое благоухание. Поставить бы машинку тут и печатать, печатать... Посетительницы, проплывавшие мимо Ларичевой, были все на шпильках, с глубокими вырезами, прическами... «Какая-то особая порода женщин. Похожи на нашу Забугину... Да!»

– Алло, статотдел? Забугину. Слушай, я тут на семинар пошла, уже все заходят. Ты не могла бы пронюхать насчет платья для дочки, размер тридцать два, тридцать четыре? И колготки пристойные, не эти тянучки советские. Да вроде у нее скоро день рождения, я совсем забыла. Ага, все с полочки. Да, конечно, и за костюм я отдам, ты с ума сошла. Ну, ему отдам... Ну, умница...

Ларичева сильно волновалась, поэтому плохо видела, глазам было как-то горячо. Перед ней сидели все, кто три года назад сидел на творческой встрече в этом же зале. Знаменитости, чьи портреты висят в библиотеке, кого показывают по телевизору. Кому народ верит. Естественно, Ларичева верит тоже. Под светлыми сводами областного конференц-зала не может происходить ничего сомнительного.

Пока шли торжественные речи, все было нормально. Нормально готовиться, надеяться, психовать, искать в зале знакомые лица, ронять ручку, ловить приветствия. Но потом Ларичева поняла, что если она сейчас не перестанет быть трясогузкой, все пройдет мимо. И нахмурилась зверьком пещерным, и стала все-все записывать. И чем больше она писала, тем сильнее понимала, что ей тут делать нечего. Здесь не было места пониманию. Здесь шла сортировка.

Надежды все рухнули в первый же день. Список обсуждаемых рукописей был составлен заранее, и туда входили люди, которые давным-давно пробилась сами, печатались в периодике, и их все знали. Зачем тогда их обсуждать? Их поняли, рассмотрели еще в союзе, а здесь собрали толпы легковерных олухов, чтобы объявить с трибуны: да, эти люди достойны. Да, будут книги и принятие в союз. А остальные? «На первых трех семинарах надо быть никем». «Барахтайтесь, тоните. Сможете выплыть — тогда и посмотрим». Про одного поэта так и сказали — «Поэзия беззубая». А то, что сам поэт был беззубый, он как раз вставить не успел до семинара, ему не спустили, ударили, какая разница, им все равно, по какому месту бить, раз не от текста оттолкнулись.

Ларичева угорала. Почему-то ей казалось — все будут нежными, как Радиолов, а этим — палец в рот не клади. Кстати, где же сам Радиолов? Он был здесь, но стал меньше ростом, потому что ходил, пригибаясь, на полусогнутых ногах, между столами патриархов, добавляя папок. А зачем? Все равно все папки не обсудить, гори они синим огнем. Она пыталась остановить его, чтобы спросить, читал ли кто-то, кроме него, ее рассказы? Но Радиолов не признался, что они знакомы. Наверно, это так и надо — для воспитательных целей. Чтобы люди поняли границу во времени и

---

пространстве! Чтобы постигли, что право для пророчества надо еще заработать. А то каждому тут приспичит пророчествовать...

Она оглянулась на Упхолова, у которого рожь была абсолютно красная, вытарашенная. Тот тоже догадался, что отпрашивался в счет отпуска — зря. Здесь не хотели знать ничего нового. Здесь законом было старое... Она его еще сманивала! Зачем? Ларичева почувствовала непереносимый стыд перед своим другом. Надо было держаться поблизости, и она сама пересела к нему, хотя оттуда было хуже видно.

На обеде, происходившем в престижной обкомовской столовой, никто в очереди не стоял. К столикам подходили, записывали заказы, отсчитывали сдачу и привозили на тележке подносы. В меню треска, осетрина, грибы, телятина, запеченная в горшочках по-монастырски... Вроде как не в той же самой стране оказались. К столику Ларичевой подошел суперписатель, тот самый, автор романов про рой и сериала про валькирий. Он поманил ее пальцем, и когда встала, интимно шепнул ей на ухо:

— Ларичева, штоль? Пробежал тебя — дельно. Но говорить не буду, мне с бабами светиться не резон. Ты не вписалась... малехо. Только если в другой город... поможет. Пока.

И показав американскую улыбку, сибиряк исчез.

Ларичева ошарашено села и долго, пристально смотрела, как стынет перед ней бледно-желтая уха с зеленью. Стынет и подергивается пленочкой.

Женщина за одним столиком с Ларичевой попросила себе треску и кисель, и, несмотря на то, что везде заказывали пиво и сухое с деликатесами, держалась очень достойно, скромно и тихо. Она скользнула глазами по знаменитому черноусому сибиряку и покачала головой. Но ничего не сказала. Наверно, она тоже его узнала.

— Вы извините, вы не с семинара? — догадалась Ларичева.

— Да, я сижу от вас через два стола. Нартахова моя фамилия.

Женщина съела свою тарелочку, поправила русский узелок, затянутый сверху вязаным шарфиком. Ее лицо, странно молодое, сероглазое и ясное, мягко сияло, словно затянутое туманом солнце. В нем проступала одна и та же мысль, точившая ее всегда.

— Вас не обсуждали, меня тоже. Зря крыльями махали?

— А вы ожидали другого? — женщина покачала аккуратной головой. — Вы, кажется, из новеньких. А я уж больше десяти лет на этих семинарах кручусь, и меня ни разу пока не обсуждали.

— Сколько-сколько? — Ларичеву даже перекосило.

— А из района поэтесса со мной обсуждалась на первом семинаре — всем понравилась, стали ее цитировать на всех трибунах и тогда еще в союз хотели принять — и ни книжки, ничего. Ее приняли в союз, когда тяжело заболела, все равно уж перестала писать-то. А еще одна, ровесница моя, хотела ехать в литинститут — так не дали направление. А ведь ее и печатали, уж и песни стали в народе слагать. Так и жизнь прошла, и старость ненавистная настала... Сына женила, кормить всех надо, на но-

---

гах вены, муж ничтожество. Не до этого ей теперь. И никакой литературной судьбы. А на семинаре хвалили, куда там. Она вообще у нас была символом, ее любили, в тетрадки переписывали.

— Так почему это все? Ничего не понимаю... Вот эта из района — как же она жила? Мечтала пробиться?..

— Она-то мечтала. Повез ее главный наш, Чернов, к Яшину гости. А у того жена, Злата, белье развешивала, и вполголоса сказала — о, зачем вы, такая прелестная, с этим человеком? Писатели никакие мужья, только пьют, да разговоры за бутылкой ведут. Ваша жизнь будет сломана, как сломана моя. Не можете бросить? Стихи пишете? Как жаль, как жаль. И пока Чернов-то с Яшиным сидел — ушла наша со стихами на первую же электричку. Сбежала, короче говоря.

— И как потом?

— Как да как. У нее работа была, семья была, дети, внуки... Не до стихов стало. Потом другая, в девятнадцать лет которая прославилась. Моряк из Мурманска, ездила к нему. Однажды ждала его в гостинице, к ней вошел один, пристал. Она его два часа отшивала, своего ждала. А свой не прибыл с изменением маршрута. Ей вошло в голову, что это свой и посылал, для проверки. Потом через письма такая драма разыгралась. Все расстроилось у них.

— И как она?

— Дочку родила и живет. Болеет, говорят...

— Так что они, не понимают?

— А вы-то понимаете? Вон, смотрите, какова из Челябинска прибыла — член союза, а поди, и в повестку дня не включили. Вон та, вся в вязаных накидках. Неужели сама все вязала? Я ее где-то на фото видела — вязаная шапочка и шарф шифоновый вокруг лица.

— Она разве печаталась?

— А как же, девочка. Какой член союза без публикаций? Да вот, она в гостинице давала кому-то список, я и себе черкнула. Дать?

— Дать, дать, — заторопилась Ларичева. — Значит, вас вообще не трясет, в смысле не волнует? Вы все предвидели? Но зачем тогда приехали? Наверно, издалека тащились?

— Да так, не очень издалека, на поезде всего четыре часа. Друзей хотелось повидать. Я пишу помаленьку в деревне у себя, мне этого достаточно. Вот с вами познакомилась.

— Со мно-ой? Да что я за птица? Челябинских не хотят, а тут я, мелкая пташка...

— А вы печатались хоть где?

— Да немножко тут, пару раз в городской газете... — И Ларичева, порывшись, достала пожелтевшую газету.

— О, так я помню этот рассказ-то.

— Неужели? А вы мне свое дайте.

— У меня только рукописи, меня публиковать не будут.

— Как это, почему?

---

— У меня потому что описание всех наших писателей есть, как у них книжки выходили — я по порядку и описывала. Не бойтесь, они себе за бесплатно навывускали, а с кого-то теперь семь шкур сдерут. Наш любимый, самый популярный и читаемый вон даже дом успел поставить в центре города, такие гонорары у человека, что поделаться, заработал. Который к вам-то подходил. Не знаю, что он вам сказал, но, поди, ничего хорошего... — Женщина все еще говорила, славно окая, но говор ее как-то удалялся.

Ларичева, еще вся распаленная, вдруг замолчала. Тогда зачем все это надо?! Зачем только печатала день и ночь! А главное — Упхолов, она его уговорила, он только-только к новой жизни воспрял, а теперь все бросит... Насовсем бросит.

— ...Не волнуйтесь, девочка, для настоящей работы одобрение не требуется. Только машинка. И одиночество. Или у вас компьютер? Хорошо вам. А эта показуха, она не для нас. А, вон, идет та челябинка, вон, они с подругой. Подруга худенькая, джемперок с розами. А сама она полная, видите? Вы как хотите, я подойду. Мне надо кое-что спросить...

Ларичева увидела эту странную пару, и сердце ее почему-то заныло. Шли, переговариваясь и перешучиваясь, но, может быть, они просто скрывали свое уныние? Тоже, может, зря надеялись? Или это она только так убивалась, а другим хоть бы хны?

С большим трудом вернулась Ларичева под светлые своды обкомовского конференц-зала. Ряды участников и слушателей сильно поредели. Председатель невозмутимо предоставлял слово. Разделка очередного поэта шла своим чередом. Потом поговорили, дать ли время добровольцам.

— Есть кто желающие экспромтом обсудиться?

Поднялся страшный лес рук.

«Ларичеву кто читал? — Нет, не читали. — Нартахову? — Нет что-то. — Упхолова? — Никто не читал».

Как же они не читали? Как это может быть? Ларичева за месяц отнесла, тем более Радиолов говорил, что кто-то уже читает. Значит, он ее обманывал? Зачем? И почему сам Радиолов не признался, что читал?

— Опускаем этих авторов, потому что рукописи поздно поступили. И рукописи слишком сырые! Построже надо к себе быть. Завтра все по повестке, заседание, подведение итогов, концерт...

Ларичева бы хоть заплакала, что ли, а то шла, вся в накале и надрыве, с сухими глазами. Первый семинар — он последний. И ловить там больше нечего! Зашла на работу.

— Ну как там твои писательские дела? Я тут несу трудовую вахту, сбиваю итоги по статистике оборудования. — Забугина сдержанно гордилась собой. — Что-то у тебя видок не блещет. Не обсуждали тебя?

— Нет еще.

— Ну, ладно, не напрягайся. Давай, пока начальника нет, я тебе дочкены цацки покажу. Вот, вот и... Вот...

— А-а... — Ларичева остолбенела. Сначала появились красные кол-

---

готки, потом джемпер с драконом и мини-юбочка чулком, а за ними... За ними узкий пенал со слащавым типом с усиками и в футболке.

— Боже мой, ведь это жених для Синди... Она так и мечтала...

— Ну, вот, — гордо подбоченилась Забутина. — Кредит выдан Губернаторовым на месяц, а жениха он, вообще, подарил. У него приступ великодушия.

Ларичева молчала.

— Ну, что ты застыла? Отомри. Май месяц на дворе.

— Я не это самое... Что значит подарил? Я так не могу.

— Можешь, можешь. Иди, купи торт и устрой ребенку праздник.

— Какое тебе, мать, спасибо. Ты сама не знаешь, как ты... Несмотря на то, что... А иногда не хватает сил, чтобы...

— Складно говоришь. Хорошая девочка. Пили в свой садик, не давай сыну думать, что он круглосуточно не нужен.

И Ларичева поплыла в автобусе, потом обратно, потом ставила чайник, варила лапшу, жарила ветчину и заваривала какао. Торт не торт, а олады со сгущенкой испечь можно. Потом покормила все-таки детей, выдала дочке подарки и залегла на диван. Дети прыгали, бегали, играли в лошадки, дочка — в новом джемпере, с накрашенными губами. А Ларичева лежала под старым пледом общежитских времен и скулила. Она расставалась с иллюзиями, которые невесть откуда взялись. Она думала — коль ее заразила эта бацилла творчества, значит, все пойдет теперь иначе. Она раздвоилась, ее стало две. Теперь она понимала — она не только женщина, но еще и творец, она все-е-х внесет в историю... А оказалось — Радиолов не разговаривает, а больше заступников нет. Она же думала — тут все без блата, талант очевиден. Ну, уж Упхолов — вовсе народник неприкрытый, они же любят такое. Ан нет, и она не нужна, и Упхолов не нужен. Может, они подумали, что он не русский? Так хоть бы и тунгус, хоть бы и коряк, не в этом же дело. В школе учили — дружба народов, интернационализм, а тут такое. «Я люблю русское». Нет, надо, надо снова идти в церковь, искать утешения, защиты, терпения. А то полные кранты настанут, оглянуться не успеешь... Умрет душа, загнется без поддержки...

Остальные два дня она ходила под светлыми сводами конференц-зала без эмоций. Она просто записывала, утром строчила в распухшем блокноте страницу за страницей. Может, пригодится таким же глупеньким, как и она. А может, таких глупеньких больше нет на свете. Но ее же отпустили люди на три дня без содержания, так надо честно все отсидеть...

Она видела — участники скучковались и сдружились, вместе ходили обедать. Они шумно обсуждали что-то, в каждой шайке — свое. Следила глазами за челябинскими, но подойти не осмелилась. Вообще она не должна была себе потакать, а наоборот, должна была запрещать. Ее грызло сильное чувство стыда. Она закаменела. Она выходила из семинара в темноту, выходила тупо и безразлично, потому что на душе была еще большая темнота.

---

Муж-предприниматель принес первую зарплату и бутылку ликера.

— Как далеко зашли твои долги? — весело осведомился он.

— Слишком далеко, — бесцветным голосом прошелестела Ларичева, не имея даже сил возразить, что долги-то общие.

— Насколько слишком?

— А вон, — она показала на дочку в китайском шерстяном костюме с драконом и парочкой Синди в руках.

— А твой костюм с аппликацией?

— Я... Купила его в рассрочку.

— У нас до сих пор существует рассрочка? — удивился муж. — Ну, давай не все сразу. Вот — столько на куколкина приятеля, вот — на костюмчик дочери. Вот — на питание. На карманный расход можно оставить?

— Святое дело, — согласилась Ларичева, понимая, что первая заначка была сделана еще до ликера. Возражать не было смысла, потому что это бы послужило предлогом вообще ничего домой не носить. Вместо куколкина приятеля она решила купить что-то новенькое сыну.

— У тебя давно нет носков, — напомнила она.

— Носки я лучше сам, а пока давай выпьем рюмочку. Или что?

— Или что, — опять сникла Ларичева.

— А что?

— Нечего праздновать. Я провалилась с семинаром. Я — никто, ничто и звать никак.

— Повод вполне достойный, — одобрил близкий человек и нашарил стопки. — У нас дети в каком состоянии?

— В голодном. Вон, картошка варится.

— Так вот, мы будем ликер пить, а когда картошка сварится, ты им отнесешь прямо в комнату и телевизор включишь.

— Ты же не любишь!

— Лишь бы они любили и душу не мотали. Они картошку любят как?..

— Толченую и со сметаной. А нет сметаны.

— А на, полей майонезом.

— Ты? Купил майонез? С чего это? Я думала, ты умеешь покупать только ликер...

— Ты еще не все знаешь. Еще я вот что умею покупать.

И извлек из своей болоньевой замковой сумки гигантский коричнево переливающийся пакет. Печень свиная, забытая в веках еда.

— Нужный продукт?

— А... — Ларичева опять потеряла дар речи.

И ей ничего не оставалось, как выпить рюмочку, шлепнуть на сковороду несколько кусочков печенки, — запах пошел! мама родная! — и отнести детям тарелки к телевизору. Это было безобразие полное. Дети хихикали, смотрели кино про любовь, бросались хлебом. Наконец Ларичева села и могла поесть сама. Но кусок не шел ей в горло.

— А насчет семинара, — изрек глава семьи, наливая рюмку, — я тебе

---

скажу, как бывший обкомовский работник... Это просто повод промотать государственные деньги. Ты на банкете была? Не была, не звали — вот и не пошла. А те, кто туда пошел, понимают, зачем семинар. А ты потому и не понимаешь, что не была... Хорошая печенка, да? Так вот, дорогая. Некто Вильям Фолкнер никогда ни на какие семинары не ездил. Он просто пас овец, работал на ферме, вставал рано, а когда срочные дела заканчивал, шел, выпивал кружку кислого молока, заедал сыром и шел строчить свои бессмертные романы. Он был самодостаточен. Талант всегда самодостаточен, дорогая. Ему не нужны никакие семинары, никакие комментарии сторожевых псов культуры. Никакие интеллектуальные подпорки. Известно ли тебе о том, что в Англии вообще нет союзов писателей? Нет отделов культуры? А средний уровень культуры, тем не менее, высокий, понятно? Ах, опять непонятно. Повторяю для тупых: им не нужны новые писатели. У них есть кормушка, которую они делят на сорок человек членов. Ну, разве им выгодны новые имена? Они примут на семинары новых членов, и им тогда придется кормушку делить на пятьдесят человек... Это невыносимо. А творчество? За это отвечают Черновы, чтоб куда и никого не пропускать.

«О, родина, где я росла, ветвясь, Меня не любит и толкает в грязь...»

## ВСЮ ЖИЗНЬ В ОДНО СЛОВО

«Всю улицу заполнили озоном раскрывшиеся клювики весны», как писал неизвестный поэт Упхолов. Он, кстати, не держал на Ларичеву никакого камня за пазухой ни вообще, ни по поводу семинара в частности. Будучи реалистом, он никогда не верил в скорый успех, и все выходило по его.

- Не дрейфь, Ларичева, хвост пистолетом. Пошли ко мне в гости.
  - Нет, ты меня прости.
  - Нет, не прощу. Ни за что. Рассказ прочитай?
- И вручал Ларичевой тетрадку. Они шли.
- Ой, что ты наделал.
  - А что?
  - Теперь бросай, Ларичева, семью, работу, читай твои каракули.
  - А что, занятно?
  - За уши не оторвешь.
  - Давай без подколов.

Читать было все интереснее, без подколов. Упхол не успокоился на том, что не спился и выжил. Он свою жизнь прокатывал в пяти вариантах: с разводом и без, с детьми, с приемышами, с бутылкой, с пулей, с гордостью или творчеством. Неистощимый Упхол. Он писал так быстро, что Ларичева не успевала читать. Вперемежку с армией, которую Упхолов не мог никак забыть, на страницы хлынули прошедшие века — с их страстями, колдунами и морозами.

---

— Упхол, а зачем у тебя подруги все одинаковые? Все белокожие, яснолицые, ну и сказитель выискался. Так же не бывает, по одному шаблону. У одной на шее родинка, другая с тяжелой походкой, у третьей еще что-нибудь. Упхолов, герои-то все разные. Не могут они одну и ту же любить. И что у тебя опять, как в той драме со смертями! Все мотаются, все доказывают чего-то. Но что внутри-то? Они что, не чувствуют ничего?

— Просто они наизнанку не выворачиваются...

— Они пусть. Но ты-то должен знать. С чего это я все догадываться должна — что, как, почему... Тяжело же так. Ты их представляешь?

— А как же.

— Так мне-то дай понять!

— Ладно. Все?

— Не все. Название где опять?

— Я не знаю, как назвать. Я не могу всю жизнь в одно слово запихать.

— Так не все, хоть давай главное запихаем. То, без чего никак. Вот про эту девушку, которая в проруби утонула.

— Ну.

— Что самое лучшее было?

— Не знаю... Может, когда они там в горохе... Через его волосы солнце было как бы фиолетовое. Волосы-то пепельные, крашенные.

— Так и пиши: «Фиолетовое солнце».

— Не бывает.

— Бывает, не бывает! Я тебе как дам сейчас. Образ это!

Упхол кряхтел и вздыхал.

— Не понравилось, значит.

— Да как не понравилось. Еще как понравилось. Мне уж снится начала твои истории. Про колдуна Проньку особенно. Знаешь, почему я люблю колдуна?

— Почему?

— На тебя похож, морда нерусская.

Они продолжительно хохотали.

— А что ж ты тогда все время на меня орешь?

— Я не ору, а работаю над словом.

— А давай я над твоим словом поработаю — будешь знать.

— Давай.

И она принесла ему все свои черновики. Без батоговских летописей, конечно. Он обещал ей в следующий раз сказать свое мнение, но не пришел на работу. Неужели запой? Ведь обещал же он, что ни за что не будет! Она узнала в кадрах адрес и поехала к нему домой, обрекая маленького сына на извечный сырник.

Упхол в растянутых трикошках, до пояса ни в чем, сам мрачный и заплывший, ей открыл. Руками веки поотклеил и сказал:

— Опа-на. Тут женщина, а я такой пельмень.

— Ты пьешь?

---

— Да. Только минералку.  
— Я волновалась.  
— Врач сказал, что трахеит. Да проходи ты, блин!  
— А. Трахеит! Какое счастье!  
— Не радуйся, а то загнусь. И так, вон, весь в щетине.  
— Вот и ложись. Я что-то ничего с собой не принесла... да ты ложись  
опять!

— Да ни фиги. Ведь ты-то не ложишься.  
— Ну, хватит.

Они сидели, напрягались. Потом уж Ларичева и спросила:

— Сейчас тебе не до рассказов. Мы уж потом...  
— Да почему... Я поищу ...  
— А где же твой сынок?  
— Жена свезла до тещи. Слушай, хватит! Придется рюмку...  
— Не вздумай! Я сейчас уйду!

Упхолов замолчал. И было видно, он расстроился. Потер щетину, погремел в шкафу.

— Зачем тогда в такую даль скакала?  
— Да говорю же, волновалась.  
— На, выпей, глупая.  
— Оййй.

— Дуреха, помогает ведь. Он нервов, от поноса. Теперь, когда ты не боишься, я тебе скажу... Да на, заешь. Бисквит один и есть. А боле нет еды. Не, я не буду, мне лекарство пить крутое.

— Извини. Мне, правда, стало легче.  
— Ну и вот!

Упхолов повертел ее листы.

— Критик из меня хреновый. Короче, никакой. Но я твое читаю... Не жуя. Пусть там копают... Радиолов, да другие. У их наверно, есть причины. Ну, что — не классик? Но много классика читаешь — да и скулы набок. От скуки. А у тебя живые все. И тетенька в халатике родная. Вот там, где все мужик-то сочинял для хора. В театре выступал. Я о такой всегда мечтал. Признался, вот. Я не умею женщин так описывать. А ты умеешь. А как бы ты меня-то научила, а?

— Ты, значит, к прозе больше тянешься. Ведь так?  
— Вот именно, тянусь... Куда не надо.  
— Спасибо тебе, Упхол. Спасибо... Знаешь что?..

В это время точно, как у Батогова, затрезвонили в двери. Упхолов пошел открывать, но мимо него ворвалась в комнату вульгарная женщина с полными ногами и в короткой юбке.

— Ага! Как на больничном, так и с бабой!  
— Линькова, не надо. Это из союза.  
— Зачем она тут?  
— Ну, надо рукопись отдать.  
— Пусть забирает и пилит отсель!

---

— Линькова, утихни. Человек по делу.

— В жопу, я сказала.

Немая от ужаса и тошноты, Ларичева взяла протянутую ей пачку бумаг и пошла. Она даже не посмотрела, что он ей выдал. Какая разница? Липкая грязь стекала по ней, не давала дышать. Упхолов. Бедный, милый, с кем ты живешь, с кем ты, зачем ты... Просто как в песеннике получается... «Сапогами листву вороша, Издалека родная душа Приближалась, а я убежала На гулянку — ни много, ни мало. Возвращалась — на сердце парша, А в глазах маскарадные рожи, Ты единственная хороша — говорю, но родная душа Убегает по первой пороше».

### ЛЕГЕНДА ОТРАСЛИ ГОВОРИТ «БРОСЬТЕ!»

Она два раза позвонила Батогову, один раз он не мог. Второй раз пришла, поговорили, но разговор не клеился. Ларичевой даже показалось, что она Батогову мешает жить. Он поил ее чаем цейлонским, с мятой, конфеты были старинные — «Ласточка». Поднос стоял на столе с зеленым сукном и с лампой, похожей на церковь. Больную не было слышно, а что с ней, Ларичева спросить боялась. Да и зачем? Вот сидит человек, у которого на целый день меньше боли было. Шутливый великий человек, жив, разговаривает. Что ему теперь все эти летописи? Он прошлым жить не может, он мотор, ему надо в гущу. Но как бы Нездешний ни старался, выдернуть его обратно в гущу было уже невозможно.

Ларичева сидела, как в смоле, от полного тепла и ненужности. Она не понимала, что дело-то не в Батогове. Дело только в ней, потому что не он, а она автор. А в ней пошел явный разлом между ее эйфорией, всем этим «тангейзерством» и тем, как это можно изложить. Был перегруз чувств и полное отсутствие сосуда для их размещения. Форма, форма! То ли это должен быть его монолог. То ли их диалог. То ли его пересказ и ее комментарий... То ли все сразу или по очереди.

Глупая Ларичева опять поймалась на порыв и романтику, тогда как перед ней оказался человек действия. Он не собирался копаться в комментариях, ему дороже были факты, а факт был пока неумолимый. Механизм не поворачивался в его сторону.

Ларичева мучилась. Батогов закурил и налил ей в чашку заварки.

— Почему вы только про Курск спрашиваете? Потому что про это написал «Огонек»?

— Там была экстремальная ситуация.

— У меня вся биография состоит из таких ситуаций. Даже сейчас. Просто тогда — тогда я еще не знал, насколько я сильный. Сейчас знаю, насколько я слабый.

— Да вы еще...

— Стоп, стоп. Вернемся к Курску. Мне план давали невыполнимый. Для него нужны были ресурсы, ресурсами не обеспечивали, приходи-

---

лось выбивать. Для него нужны были кадры. Самых умных и преданных я сманивал с прежних мест. Они мне решали ключевые проблемы. Но им надо было жилье, которого не хватало. Я строил из ничего и давал из ничего. Появлялись завистники, сутяги. А народу надо было еще больше. Не десятки, не сотни, а тысячи. А тех, кто кланчил о снижении плана, в министерстве презирали. Правой руки не было, левой тоже. Замоу у меня был брат первого секретаря, полный ноль как работник. И кроме всех пятилетних планов все обязаны были поднимать колхоз. У меня из семи тысяч пятая часть полгода гнулась на сахарной свекле — брешь невосполнимая. Грозилось строительство нового свинокомплекса... Кольцо сужалось. Началось с анонимки, ход ей было дать легко. Пошли комиссии, двадцать комиссий за два месяца. Они, чем больше ищут, тем хуже идет работа. Люди, прошедшие мясорубку первого секретаря, заклинали сходиться к нему, «как к отцу, за помощью». Он любил это. Но я на брюхе не пополз, а напротив, допустил выпад на сессии: мол, у нас КПД восемь процентов, как у паровоза, пора заменять на тепловоз... Перестали выдвигать в депутаты. Невелика болезнь, но сигнал для догадливых четкий. Поток анонимок и комиссий шел нескончаемый. Пытались снять. Пытались пропускать через жернова критики. Заставляли людей кристально честных и готовых за меня голову сложить меня же поливать грязью... А мне было легче. Меня никто не мог заставить пресмыкаться. Просто все время уходило на объяснения, работа встала полностью. А тут жена... Если бы я увез ее оттуда, да в лучшие кремлевские больницы поместил, в отдельные палаты, может быть, она...

Батогов замолчал.

— С вами... — Ларичева облизнула пересохший рот. — С вами ничего сделать невозможно. Разве что взорвать. Не пытался никто? А смотрите, есть что-то похожее! Тогда Вам не давали работать — и теперь не дают. Хотя понятно и коню, что во времена развала только на таких, как вы, и можно выехать... В любой отрасли — и в вашей, и в писательской — делается все, чтобы не было ничего.

— Продолжение следует, — улыбнулся Батогов. — Когда-нибудь придет она...

— Не придет, — уперлась Ларичева. — Никогда.

— Так езжайте в Израиль. — Он засмеялся своим беззвучным лучащимся смехом...

— Куда? — испугалась Ларичева. — Я еще и на еврейку похожа?

— Это я на него похож. А вы тоже войдете в список евреев, только под другим номером. К некоторым номерам уже приходили домой и просила уехать.

— Я там сразу схожну. Деньги зарабатывать не умею.

— Вас напичкали пропагандой. Процент вымирания там намного ниже.

А у некоторых даже книжки выходят.

— Бросьте. Никому это там не нужно.

— Вот сами и бросьте. Здесь это тем более не нужно.

---

Ларичевой стало боязно. Значит, он все отдал отчизне, а чтобы она, Ларичева, отдала — не хочет. У каждого свое. То есть он производственную сферу считал важным делом, а ее, журналистскую — не делом вообще. Это была полная дискриминация — по признаку профи, по признаку пола, по признаку лет. Если бы дал он шанс написать, как она хочет, на волю волн, так, может быть, оно бы написалось. Но он хотел руководить сам. А разговор мог пойти только на равных! Но она слишком ему верила. Она не верила, что он мог быть сатрапом и диктатором. Взяла и взяла на себя, и не удержала.

## ПЛАЧ НА ФОНЕ СЫРОЙ РУКОПИСИ

Ларичева шла по родной улице, под светлым сводами весенней шелестящей листвы и понимала, что весна ее обтекает, как каменюку.

Спрашивается, а где возрождение к жизни? Где прежняя жадность и наслаждение всем, всем, чем ни попадя? Вот под плащом новый трикотажный костюм, и деньги за него можно отдать постепенно, вот дочка сдаст зачет по специальности в музыкалке и сможет ездить за пацаном в дальний садик, и Ларичев-муж уже почти начал кормить семью. И появился бескорыстный друг Нездешний, который молча собирает для истории ее рассказы. Вот теперь есть нормальный соратник по перу Упхолов, который, когда не пьет, просто чудо. Вот до нее снизошел сам Губернаторов и включил ее в свою орбиту, а эта честь оказана не всем. Вот она встречается с легендой отрасли и стала почти другом дома...

Но почему же тогда так тошно? Неужели из-за того, что никто не печатает? Может, если бы напечатали, так тогда бы ничего? Да, никто не печатает, никто не обсуждает на семинаре, да, рукописи сырые и не содержат материала, достойного серьезного разговора. Но от этих сырых рукописей так близко до сырой земли!

Радиолов твердит, мол, имейте терпение, мы по десять лет ждали первой публикации. И все это время не пылили, не кидались ни на кого, работали, прислушивались к старшим... Пока они будут выдерживать ее три семинара в роли «никто, ничто и звать никак», ей будет сорок. А потом пятьдесят. Вот начинающий писатель на пенсии! Курам на смех.

Да, не сбывлась судьба в литературе, да, социальная роль женщины совершенно другая. Хранить очаг, то-се... А Ларичева и в литературе не сбывлась, и очаг не хранила. И чего добились? Дети брошенные. Брючки бы им пошить, отрез шерсти на юбку лежит уже два года. Сейчас, вон, какое все дорогое. Но как тогда Батогов, Латыпов? Как тогда милая женщина, взвалившая на себя чужих детей? Как Упхолов, которого сама же втравила в эту кашу? А что Упхолов... Упхолов будет известным писателем. За него теперь бояться нечего. А учить его ничему не надо, он сам все освоит, он, вон, как пашет, неостановимо. А эти люди — ну, они просто забудутся, исчезнут, их никто не знал и не узнает. Мир от этого не рух-

---

нет. Рухнет только она, Ларичева. Радиолову не нравится, близкому человеку не нравится, близкой подруге тем более. Упхолу нравится, но Упхол один. Зачем это все нужно? Сколько можно нервы рвать без толку? Не лучше ли просто выбросить все на помойку, как будто ничего и не было? Пастернак талант, но даже он хоронил себя не единожды... Хотя они не любят Пастернака. И Платонова не любят! А уж Платонова могли бы. Он из рабочих, как Упхолов. Они-то любят Чернова, Астафьева... Нет, Астафьева любили при партии, а потом разлюбили, дескать, продался. Ну, нехорошо людям от его премий. Вот, каждый год едут поклонники Шаламова, буквально со всего света, но Шаламова тоже здесь не любят, даже через площадь ради него перейти не хотят, невзирая на зарубежных журналистов. Видно, он все это наперед знал и говорил, что «черная сотня»...

Но должно же быть разное! Почему надо требовать от всех «черновости» и «рубцовости»? «Не можешь, как классик, — лучше не пиши». Войнович по радио как заговорит, так все просто. Ничего не надо высказывать! Автор должен слушать только себя. Себя. Не Чернова. Это же так здорово. Делай, что хочешь!

Натали Голдберг говорит — пиши, что хочешь, ты имеешь полное право написать такую чушь, какой еще до тебя не было. Натали Голдберг советует: не пиши сочинение, как ты провел лето, исходя из того, что ждет училка. Хотя она, может быть, ждет самого немудрящего: как играли в волейбол, как шумели деревья, и какая была радость победы. А Голдберг берет и пишет, как она все лето трескала шоколадное печенье, как отец хлестал пиво, а мать дожидалась, пока он напьется, и убегала в кафе к одному типу в красной футболке. Вот это да. Вроде бы за это могут поставить два, но зато ведь это жизнь. А что может быть лучше жизни?

Но можно ли слушать только себя? Вон, попробуй не послушай Батогова! Можно бы тут накатать про его жену беленькую, про женщину из Иркутска, но он говорит только про работу, про работу, будь она уже проклята. Ни один же человек не может жить без любви. И тем более такой, как Батогов. Такой изумительный в свои шестьдесят. Кажется, так бы и упала на колени перед креслом, и стала бы руки целовать...

Ларичева рассеянно съездила в садик, забрала сына и его сырник в нагрузку. Она четко понимала, что весна вокруг совершенно веселая, но посторонняя, как вечно пьяная соседка. А ее, Ларичеву, тем временем затягивает в туннель. И она сейчас ухватилась за край и вроде бы может еще спастись. Но очень сильно затягивает... Ведь как-никак появляется в жизни смысл. Надо бежать, быстро проворачивать домашнюю рутину, чтобы добраться до компьютера. И потом — Господи, твоя воля! Делай, что хочешь! И что в жизни не удалось — все обрешь. И кого нельзя любить в жизни — там любви. И тебя будут любить только те, кого ты всю жизнь боготворишь... И, может быть, не умея разобрать и осознать себя, удастся хотя в этом, отраженном мире, как-то разобраться... И потом можно все это отнести тому же Радиолову.

---

Или нет, лучше Упхолу. Или нагло прочитать на кружке. Пусть орут, что нехудожественно, а оно живет и бунтует, и ему уж никак рот не заткнуть. И от этого как бы не одна жизнь, а несколько. Говорят, у кошки девять жизней. А тут может быть — сколько хочешь. Без числа.

Вот если все отбросить... Что значит слушать себя? Что говорит ларичевское «я» в ответ на чудовищное неодобрение общества? Какое внутри Ларичевой может таиться эхо?

Первое эхо — «хочу». Ларичева хотела одного — чтоб жизнь была как в Древней Греции. Ей всегда нравилась и даже снилась Древняя Греция в разных видах, но тема узнавалась не просто по смуглым телам и тогам, которые полоскались на ветру. Но еще по каким-то форумам среди колонн. Может быть, ей снились древнегреческие кружки по развитию речи? А может, она видела себя среди государственных деятелей? Трудно сказать. Зрительный образ засел в Ларичевой навсегда — Греция, солнце, красота и свобода. Это и было ее «хочу».

А что касается «могу» — это были буквы. Только буквы и буквы, в навал и рядами. Только это умела она и любила, больше ничего. Если быть уж совсем честной, то и это она умела не очень. Но, по крайней мере, буквы привлекали ее до такой степени, что она могла постараться, чтобы ставить их более затейливо. Ларичева доходила до того, что видела в рядах букв всякие рисуночки — например, когда делаешь в стихах выключку «по центру», получаются причудливые вазы... Ну, и еще много чего другого... Древняя Греция и буквы — это ясно, что искусство. Что тут может быть непонятного? Только Ларичевой все еще было невдомек, что искусство — это ее сфера. Ларичева любила всякие анкеты, а по анкетам никогда не выходило, чтобы она относилась к этой сфере...

Другие прикоснулись. Пусть глазами, но все равно, узнали, по руке погладили. Остался же какой-то слабый след. Как в старой книге — след на рояле оттого, что кто-то прихлопнул бабочку, пятнышко цветной пыльцы. И когда горничная стерла пятнышко, с барыней случился припадок. И столько страданий ради этого.

Ну, ты совсем обезумела, Ларичева! На этой стезе страданий было достаточно. Взять поэтессу, которая шла крестный путь с Рубцовым. Ее мемуары в «Слове» ничего не объяснили! Так зачем же она их писала? С точки зрения рока — попытка защиты, самореабилитация перед обществом. Хотя все эти ужасы, кресты на небе — это из области психиатрии. Пусть даже и рок. Но чисто по-женски непонятно, как она с ним жила. Знавшие его по институту нехотя признают, что он был тяжелый в общении. Мягко сказано. А он ее ведь бил — бил! — запирал, позорил, тыкал отбитой бутылкой, не давал в сад за ребенком сбежать. Ларичева живо представляла себе, что значит не пустить бы ее за ребенком в сад... Поубивала бы всех. Ладно, пусть это был конец отношений, алкогольная деградация. Но он и в начале отношений был не ангелом, а все тем же небритым алкашом, от которого мутило. Дербина вспоминает, как он появился в общежитии литинститута. Не понравился. Зачем же она тог-

---

да? Как вообще ложиться в кровать с человеком, который испинал до смерти, бутылкой истыкал? Опять и опять жалела, прижимая к себе его лысую голову?.. Понимает ли она? Раз нет объяснения женского, то трудно представить, как она от побоев заслонялась его стихами. Значит, он сует ей в рожу сапог, а она думает — ничего, ничего, зато он будет скакать по холмам задремавшей отчизны... Про его стихи пишет, про свои ничего. Почему? Раз писала, раз книжка была в Воронеже, значит, оно было, свое? Так где оно? А может, для того побои и терпела, чтоб продвинулее, словечко замолвил? Ведь к нему тогда уже прислушивались. Есть удушающая история с его рецензией на нее. Вот это и есть у них, кажется, единственное объяснение, беспощадное причем.

Значит, есть такая модель писательства — в литературу на спине. Вот рассказала же Нартахова случай, когда не захотела поэтесса лечь на диван, и ей не дали, не дали направление в литинститут. Или еще другая история — ходил патриарх местной литературы в одно женское общежитие, его не поняли, отвергли. И больше шансов у этой из общезжития не было. И этот ужас реальной всяких там крестов на небе... И его не было бы, не будь половой диктатуры в этом темном-претемном деле. А еще говорят о свободе! Все эти деятели культуры не скрывали своего презрения. Что они сделали с женщиной, во что превратили ее, во что...

«О родина, где я росла, ветвясь, меня не видит и толкает в грязь, И отблеск доморощенных жемчужин На откровенном торжище не нужен...»

## НИВА ПЕЧАЛЬНАЯ, СНЕГОМ ПОКРЫТАЯ

Распределенная грядка, отбитая колышками за областной больницей и заросшая чертополохом, легла на совесть Ларичевой тяжелым грузом.

— Муж! — воззвала она в сторону близкого человека, поймав его между командировками. — Ты помнишь, мы хотели картошку сажать?

— Это мы решали зимой, — припомнил глава семьи. — А тогда был мороз. Картошка очень замерзала по дороге с рынка. Теперь же не замерзает.

— Так как же грядка-то? Распределили.

— Пускай распределят обратно.

— Неудобно, — завздыхала Ларичева. — Тебе все равно, тебя никто не видел ни на собрании, ни после. Зато там были наши, и все скажут, что Ларичева лентяха.

— Ты любишь ходить на собрания. Я люблю пиво, ты любишь другое. Результат налицо.

— Не на лицо, а на горб!

— Тебе виднее.

— Ты, значит, бросаешь меня? Не хочешь быть со мной заодно...

---

— Я никогда не был заодно с безумием.

Ларичев был все тем же обкомовским нежным пареньком. Только раньше у него было румяное безусое лицо с сияющими глазами, а теперь его облик был облагорожен курчавой бородкой и дорогим дипломатом. Его, конечно, закаляли попытки коммерческой издательской работы, но главное для него было — независимость всегда и во всем.

— Муж, если бы нас было двое, мы бы питались мандаринами и ликером. Но вот есть еще двое детей, им грядка жизненно необходима. У тебя штамп в паспорте стоит? Дети туда внесены?

— Дорогая моя, когда натягивают вожжи, появляется сильная потребность их оборвать. Штамп стоит, а жизнь идет. Нет ничего застывшего, раз навсегда данного.

И он вышел в ночь с поднятым воротником.

А Ларичева наутро пошла закупать три ведра картошки в сумку на колесах и кой-какие пакетики с семенами. Надо было засеять грядку, отвоеванную у общественности. Не то чтобы она очень любила родную землю. Так, смутный стыд... Который трудно сформулировать. Для этого она проснулась в выходной рано утром, натолкала в один термос горячей картошки, в другой черного сладкого чая. Разбудила детей, напаяла на них по трое штанов, сапоги. И взнуздавши на себя товарняк с припасами продовольствия и семян, пошла на пригородный автобус. Она чувствовала себя очень глупо, но ничего не могла поделать. Все ехали, и она ехала.

В поле после автобуса оказалось благоволение божье. Под светлыми сводами небосклона должны были приходиться, но не приходили высокие мысли. Серая жемчужная дымка, пустота и величие.

До обеда дети вольно мотались по просторам, увязая в пашне, а Ларичева копала, терзала эту пашню, как рабыня. И ей казалась, что она совершает подвиг, потому что она никогда не копала целину. А если бы это была полная целина, небо вообще стало бы с овчинку. Но целина была только два метра на конце, да и того выше головы, а остальное добрые люди трактором распахали. Дрожащими руками Ларичева распаковала мешок с едой, покормила детей, но они глотали вкусность без энтузиазма, давились ею и плакались от усталости. Она-то думала, что от свежего воздуха они воспрянут и заалеют, словно маков цвет. Ан нет, не заалели. Это были городские дети, не приспособленные к большим пространствам и расстояниям. Они привыкли сидеть в норке!

Покончив с кормежкой, она стала рыть ямки для картошки, но это ей удавалось все хуже и хуже. Руки-ноги сделались чугунные, на ладонях вспухли жутчайшие водянки, а ступни совершенно зажевались в резине. В глазах началась какая-то пьяная резь, и просторы родной земли угрожающе качались. Дети скучающе ели баранки, по пашне больше не бежали и, нахохлившись, утрюмо ждали конца. Ларичева не сразу поняла, в чем причина стремительного помрачения жизни, а оказалось — просто стугустились тучи и из них затрусил снежок. Заниматься посевной наперекор снегопаду было еще стыдней, чем бросить невиноватую грядку. Ла-

---

ричеву обуяла вселенская тоска. Она уже хотела проклясть все. Она помнила какие-то народные поверья, вроде того, что «посеешь в грязь, так будешь князь», но здесь грязи не было, земля сухая, как щебень, и холод беспощадный. Значит, не судьба, значит, порыв опять пропал даром...

В это время из мглы безверья, ниоткуда вышел спокойный Нездешний и, шурясь от снежной пороши, произнес:

— Вижу знакомый облик. Я свое уже закончил. Думаю — не помочь ли? До автобуса как раз два часа.

И не давая Ларичевой справиться с нахлынувшим потрясением, выбросил оставшуюся картошку в лунки и стал ее закрывать землей. Потом разровнял оставшуюся полосу и высыпал туда семена свеклы, моркови и укропа. Остекленевшая Ларичева машинально вытирала детям сопли. Она была абсолютно деморализована.

— А теперь можно идти на остановку. Тут у вас еще есть свободное местечко, но зато семян больше нет. Пошли? — И он, взвалив на себя лопату и сумку на колесах, включил приличную скорость. Ларичева, задыхаясь, потащилась следом.

— А как же вы? Где ваши? — бормотала не дело Ларичева, крепко держа за руки сына и дочь.

— Мои сегодня на даче, — дружелюбно отозвался Нездешний. — Там в случае снега есть печка и теплые одеяла. Ночь переспят. А ваш муж, как всегда, в командировке?

— Как всегда.

Автобус подошел моментально. Мимо мелькнуло в окне расписание, в котором значилось, что автобус ходит через каждые двадцать-тридцать минут. Гуманитарный Нездешний! Он бесстрашно превышал все нормы человеколюбия. Это не могло пройти даром. Это рождало резонанс! И какой. Такой дикой, тупой усталости у Ларичевой не было никогда. Она побросала сумки в прихожей, напоила всех чаем вприкуску с крутым яйцом — и вырубилась. Явившийся в полночь глава семьи долго и изумленно взирал на раскиданные сапоги, куртки, гору посуды на кухне, куски хлеба вперемешку с яичной скорлупой, отсутствие горячих блюд и спящих прямо в одежде родственников.

Дети после полевых работ слегка распухли и незначительно закашляли. Несмотря на то, что они не рухнули на больничный, срочные банки, бромгексины, горчица и мед стали для Ларичевой программой минимум на ближайшую неделю. Она пришла и вполголоса пожаловалась в отделе Забугиной. Та усмехнулась и напомнила, что любая инициатива, в том числе и сельскохозяйственная — наказуема. Но сухую горчицу все же раздобыла.

---

## НАС МНОГО ПО СТРАНЕ

А Нездешний молча принес мед в приземистой банке венгерского происхождения.

— Какая бессмыслица с этой грядкой, — тихо сказала Ларичева, — и я не заслуживаю...

— Вы заслуживаете гораздо большего. Вы ради детей. А дети вообще бесценны. Вы их вырастите, и все грехи вам за это простятся.

И пошел неторопливо прочь. Забутина сияла глазами, ушами и коленями.

— Наконец на тебя стали посматривать настоящие мужчины. И в этом, без сомнения, есть и моя заслуга тоже... Мы с тобой красились при Губернаторове только один раз, а при Нездешнем — очень, очень много раз. Вот и подействовало.

Нечаянно вышло, что с работы они теперь выходили вместе с Нездешним. И Ларичева могла позволить себе несколько кварталов бесценных прогулок. Муж с дочерью почти освоили дорогу к новому садику, после чего садик пообещали закрыть. Пришлось проситься в старый, вполне созревший для капремонта... Но все это потом. А пока они шли и разговаривали. О том, что такое скука добра и обаяние зла. О том, как инерционна привычка к дурному. Но стоит начать делать что-нибудь хорошее — сразу полное преображение. Однажды Нездешний, еще тогда молодой, заболел опасно, с температурой под тридцать девять. А пришлось идти в магазин. И там по дороге старикашка попался, еле ходячий. Набрал штук тридцать кочанов в мешок и упал под ними. Нездешний с туманом в глазах отволоч старикашку, затем и мешок его. Пришел домой — нет температуры.

— С тех пор я увлекся идеями Учителя. Это перевернуло мою жизнь. Изучил «Детку», купаюсь в проруби, но основа всего для меня этическая.

— Неужели никогда не болеете?

— Очень редко. Заболел, значит, нагрешил. Надо терпеть, голодать. И Учитель даст силы, ибо он — сама великая Природа.

— Вы уникал...

— Почему. Нас довольно много в городе, сейчас уже больше сотни. Я уж не говорю — по стране.

У каждого, у каждого есть своя твердыня! У одного интегральная йога, у другого система Иванова. А Ларичевой держаться не за что. Чужую твердыню невозможно одолеть сразу. Зря Забутина боялась, что Ларичева прыгнет в прорубь. Трудно. Какой Учитель может быть выше Бога? Это как-то страшно... Хотя сам Нездешний — человек золотой. Или серебряный? Одним словом, нездешний...

Для того чтобы такой человек образовался под светлыми сводами державы, нужны были экстремальные условия. Они были таковы, эти условия.

---

## ТАЙНА НЕЗДЕШНЕГО

...Озорной был в молодости, моторный, от смеха и ухарства так и распирало. На работе даже кличку получил — «черт из табакерки». Так и летал, одна нога здесь, другая там, на одном плече куртка, на другом ухе берет. И задание повернуть, и за бутылкой слетать — везде первый. И всегда вокруг него компания, в которой он, как пружина, как батарейка, вынь — все заглохнет. И женился, влюбившись, легко, и деньги всегда были, и пьян всегда — не пьян, навеселе. Так бы и мчаться сквозь фейерверки бытия, хватать поверху, не лезть в глубину. Но натура оказалась слишком крепкая, все было мало нагрузки, мало, мало — побольше, покруче затягивал и так — пока не затаял на себе петлю. Не в каком-то там переносном, а в самом прямом смысле.

Он пытался повеситься два раза. Один раз спасла жена, второй раз — сосед. Вот вам коммунальные квартиры, на которые столько проклятий. Невозможность остаться одному. Никакой белой горячки у него не было. То есть никакого бреда на почве запоя. Ему что на трезвую голову, что на хмельную — одинаково было ясно: он своей крыши достиг, дальше биться некуда. Но это ведь что? Ноль сопротивления и притом столько времени впереди? А и жить-то незачем. Решил не жить... Не дали. Но как он потом родился заново — это пугающая и пронзительная тайна. На нем два десятка калек и страждущих. Он навещает их, жалеет и одаривает. Он собирает неизданные книги. В его многоэтажных шкафах такой исторический архив, что никакому музею не снилось. У него совершенно непосильная работа — в свободное от работы время роется в монастырских и церковных журналах и пишет списки священников... В среднем это рассчитано лет на десять изысканий...

Его жена... Она всем приходящим людям подает дымящиеся пироги и чай. Она, дочь знаменитого врача и мать троих детей, спустя десятилетия все такая же черноглазо-ласковая, юная девочка. Может, потому, что Всевышний услышал ее плач после петли и пожалел ее. И больше у нее такого горя не было. Ее супруг стал кардинально другим человеком, то есть Нездешним — как раз в том виде, в каком его и знала Ларичева...

Назябшая на весеннем ветру Ларичева сидела, переливая в себя жизнь из фарфорового бокала с чаем. Жена Нездешнего — в глазастом штапельном платье с каемкой по низу, с мокрыми кудряшками кругом чистого лбища — принесла тарелку с творожными плюшками и сметаной. И, точно фея, просочилась сквозь стену обратно.

— Что у вас за дом? — бормотала Ларичева. — Почему никто не кричит, не дерется, не рвет пополам бесценные тома? Почему, как в обители, птицы поют?

— Птицы — это попугайчики, — мягко пояснил Нездешний. — Клетка один на один да на два, это детям природный фактор. Тома стоят на полках вне пределов досягаемости. Дом простой, деревянный, из прошлого века, государством не охраняется. Почему не кричат? Не знаю.

---

Сыты. Здоровы. Уроки готовят. Их ангелы бдят... А почему они должны кричать?

— От нерастроченной энергии. А почему жена уходит? Ей не обидно, что чужие люди сидят и с ней не знакомятся?

— Она знает, что, если нужно, то позову. Она и так устала.

— А где она работает?

— На телефоне доверия. Незримая утешительница.

— О, — поражено замолчала Ларичева. — Расскажите.

— Им звонят люди, которые хотят покончить с собой. Служба круглосуточная, но звонят обычно ночью. Больные неизлечимо, лежащие. Либо в состоянии стресса, когда пропал ребенок, изменил супруг. Или, например, заразился. Ну, там ВИЧ и прочее. Надо за несколько минут уговорить изменить точку зрения.

— Вот это да. А если бросит трубку?

— Там есть система слежения, для установки адреса. Но пользуются этим редко. Лучше, чтобы до этого не доходило.

— А если я тоже захочу там работать, надо диплом психолога или как?

— Не обязательно. Но там своя система отбора... Надо, чтобы человека ничто не держало, чтобы он всецело был настроен на чужую беду. Приходится работать на голой интуиции! Но выбросьте пока из головы. У вас дети.

Ларичева задумалась. Нет, она не сможет всецело настроиться. У нее дети слишком маленькие — чтобы сутками дежурить. Вот если подрастут... Но как быть сейчас, когда она не может заниматься служением добру круглые сутки? Может ли она найти такое дело, которое заменило бы телефон доверия, но которое спасало кого-то?

— Скажите, друг мой. Правила там очень жесткие? Неужели вот никогда никто их не нарушает?

Нездешний подумал немного и сказал:

— Иногда бывает из ряда вон. Если оператор на связи и понимает, что пациент действительно близок к самоубийству, то можно... иногда выехать, чтобы сломать замок и спасти. У жены был случай с одним «спинальным», то есть позвоночным больным. Выехали, спасли. Теперь я иногда захожу, чтобы поведать. Это добрый, очень добрый человек, всю жизнь мучается, молится. Но терпению есть предел.

— Он калека от рождения?

— Нет, он был здоровый. Он бросился с пятого этажа ради девушки, чтобы доказать, что любит. Бросился, сломал позвоночник, а девушка даже не поцеловала его на прощание. Страдалец. Десять лет ему было на этой пятиэтажке.

Ларичева задумалась и даже будто улетела из комнаты Нездешнего. Кто языком болтать, а кто дело делать. Добро как самоцель во имя него самого. Добро как профессия! Как стратегия и тактика всей жизни. До скончания века...

---

## КАК ИХ ТОЛЬКО НЕ РАЗОРВЕТ

Значит, они живут для того, чтобы кому-то помочь. Даже тебе, Ларичева, рыбий глаз. А ты живешь для того, чтобы эту помощь проедаешь... И как тебя только не разорвет?

«И как вас только не разорвет!» — изумленно кричала мать. К ним приходили гости и усаживались за длинный стол. Мать, понятное дело, кормила детей заранее, чтоб дали посидеть спокойно. Той же едой — пельменями там, яйцами с тресковой печенью, пирогом таким из чудопечки, с дырой посредине, а внутри с жареным мясом или с грибами. Но маленькая Ларичева со своей еще более маленькой сестрой, обе наевшись до сонной отрыжки, никак не могли смириться, что вот там сейчас будет праздник, а они все, они могут идти. И они из кухни тоненько тянули: «Мы-не-е-ли, мы-не-е-ли...».

«Как их только не разорвет!» — вскакивала мать. И поскольку это повторялось не раз, гости дружно ржали. Потом кто-то придумал сделать в детской такой же стол. Не помогло. А вот рядом со взрослыми помогло. Налили им компота в рюмки, выделили тарелки — и все. Всем стало хорошо и радостно: взрослым — что дети замолчали, а детям — что они взрослые. Ну, не то же ли самое делают Ларичева с мужем, когда им хочется спокойно выпить рюмочку ликера? Ну, не то же ли самое, когда происходит семинар, банкет, начинающим дают понять, что они еще не взрослые, замолчали, пообщались с великими, и ладно. Наверно, местный поэт-есенист-рубцист Алексин никогда не забудет, как он пил с людьми, лично знавшими Рубцова... А Нартахова говорит, что Рубцова после вечеринки в редакции клали спать только на кожаный диван, и после таких фактов стихи как-то мало интересовали: «Если сам по себе человек дрянь, то стихи вопрос второй».

Ну, это, допустим, для кого как. Некоторые все же предпочитают иметь дело с первоклассными текстами, а автор пусть себе будет хоть преступник. Он по лесам «ходил с хорошим верным другом», а нагулянную дочку растила недалекая жена и глупая теща. Никто не спорит, убивать грех, но за грех отвечать тому, кто совершил. А кто знает, что она, убившая, пережила, тот ее не сможет проклясть. Потому что тот, кто проклинает, сам ничего не понимает, у него нехристианский подход. По настоящему проклясть никого невозможно. Нет такого, кто имел бы право. Имеет право Всевышний, а он, он простит всех нас... Значит, и мы, чтобы приблизиться к любимому образу, должны тоже прощать... То же самое делать...

Ларичева чувствовала — надо подвергать сомнению все, что говорили про Рубцова друзья-писатели, а также все, что говорили прописанные напротив водочного магазина жители. Создавалось впечатление, что ни тем, ни другим настоящий Рубцов не нужен. Просто первые хотели гордиться тем, что вот, один из них великий... А вторым было приятно, что

---

даже великие — такие же ханыги и забуддыги, как и все. Так вот, при этом все думали кто о чем, но никогда не смотрели вверх, на небо. И забыли про Всевышнего. И тут Он их оставил, оставил...

Всякий раз надо смотреть на проблему и поверх нее. А что же будет дальше? Что будет дальше, если все станут косить под Рубцова и на этой почве перестанут отличаться друг от друга? Ведь у них уже пал на этой ниве талантливый поэт, который изучал Рубцова, а себя перечеркнул напрочь — как автора. Так это потеря или приобретение? У него были совершенно ласковые, акварельные стихи. Бог оставил его жить, но внутренне — оставил.

Это знает Нартахова - пишет жизнеописания всех поэтов, которые не печатают никто и никогда. Значит ли это, что писать про других надо осторожно, чтоб и себя не потерять? А то Ларичева в Батогове совсем потерялась. Только в том случае, если б она нашлась, да поднялась, такая молодая и глупая, до него, такого умного и пережившего, тогда и вышел бы диалог. А так он ее оставил, оставил...

Холодная улица шелестела дождем. Под темными сводами ночи щелканье воды было такое разнообразное и многоголосое, а фонари, прикрепленные к стенам дома нижним КБ для подсветки, так трясли алюминиевыми головами, винясь за пустоту ночного двора, что хотелось все, всех пожалеть. Да не плачьте вы, ребята, у вас такие светлые головы...

Сегодня мы работать не можем, сегодня все печально и темно. Печаль моя темна, печаль моя полна тобою... Ну, где там те журналы, что оставила Нартахова? Вот же неймется человеку, все на какие-то мероприятия бегаёт. Рейн какой-то приедет, что за Рейн, с чем его едят? Радиолов говорит, что все эти терцы, войновичи, рейны — это не нашего поля ягоды.

## СЕРЬЕЗНО ИЛИ НЕТ

Домочадцы сидели перед орущим телевизором и хрустели сухими завтраками.

- А что это вы едите? А кашу?
- А она где? И где ты? Тебя нет — что хотим, то и делаем.
- Мам, а пельменей нет?
- Мам, дай попить.
- Сейчас. Муж, ты не хочешь знать, где я была?
- У Забугиной. Или на кружке для развития речи.
- Ну, что ты. А если у друга?
- А если это любовь? Не убивайте козу, у меня с ней серьезно.
- Ну, слушай...

И Ларичева уныло поплелась на кухню варить быструю кашу из гречневой сечки и обжарить пару печеночников. Глава не верил, что у нее появился мужчина. Может, надо было скрывать? Тогда бы он поверил лучше.

---

Она доставала с антресолей беретки и башмаки и по дороге глянула на себя в зеркало. Да, пришла домой красивая, а теперь стала страшная, старая. Углы рта опущены, глаза запали. Вид такой, будто вчера вышла на пенсию, а завтра ехать на Пошехонку. Безобразие. Накраситься, что ли?

Когда она принесла детям еду, те взялись за тарелки и открыли рты.

— Мам, ты куда?

— Мам, ты, как в телевизоре, вся не наша.

Муж хохотал. Перед ним стояла сухая и официальная Ларичева в тенях, ресницах, румянах и помаде. И как стало всем весело...

...На часах было около двух.

— Да что такое? — бормотала она недоуменно. — Что на тебя нашло, муж? Ты сходишь с ума, как на выборах. Ты что, захотел третьего ребенка?

— Боже сохрани. Третий ребенок — это уже рутина.

— А чего?

— А ничего. Во-первых, я тебя хочу. И именно размалеванную. Ты не умеешь краситься, а так в тебе проступает что-то женское.

— И во-вторых, ты давно не был в командировке. Появились внутренние резервы?

— Именно так. Так где же ты была?

— Ну, муж. Ты все равно мне никогда не веришь. Знаешь, была я дома у нашего шефа. Там такие вещи творятся, страшно сказать... Все ходят тихо, улыбаются, книги старинные читают, птицы поют, не умолка. Такие кельи, светелки, не знаю, что... И тут жена несет на подносах пироги, чай, все так паром и исходит. Ты сейчас скажешь — «учись». Так и знала... И часы старинные — бомм! — и они идут купаться на речку... В такую-то стужу...

— «Сказки Венского леса я услышал в кино, — тихо запел муж, — это было недавно, это было давно...» Тебя, дорогая, познакомили с семьей! Это серьезно.

Ларичева пошла в душ, пообещав мужу вернуться через десять минут, и захватила журнал со стихами не совсем уже неизвестного Рейна.

Журнал был оранжевый, квадратный и тяжелый. В нем было что-то, что отменяло страх, бедность, вражду — в этом журнале была дореволюционная пышность и свобода людей от власти хлеба насущного. Вольно было словам, которые плескались и неслись серебряными струями, господа, кто им разрешил? Хотя они и не спрашивали. «Накануне старости и жизни Я хочу вам объяснить одно: Я был счастлив, ибо был в отчизне Самое последнее звено Вервия, что заплетал Державин, То, что Пушкин вывел к небесам. Никому по совести не равен, потому что все придумал сам...». Так и Ларичева тоже все сама придумала! Но где ей до этой вольницы.

Выключив душ, она побрела в комнату. Муж давно и сердито спал. Ларичева схватила гитару и покралась обратно в ванную. «Ты моя обида, ты моя осада, Никого не надо, ни за что не надо...», — шепотом запела она, перебирая струны. А часы показывали двенадцать. Самое время для личной жизни.

---

## ТОРЖЕСТВО ГОРЯ

— Это никуда не годится, — проникновенно сказал Батогов.

В доме было тихо, чисто и холодно. Холодно до обморока, до нытья в суставах. А на дворе слепящее солнце, а на Ларичевой платье шелковое с шарфом... Что-нибудь с сестрой? Ее уже третий раз не видно... Страшно спрашивать. Кисти и ступни щипало, как будто их отсидели.

— Почему? — закричала Ларичева и сама вздрогнула. — Факты такие? Или нет? Вы про институт говорили? Говорили. Что поехали ради квартиры, так? Про то, как дом рухнул с квартирой, было? Было. Про Курск. Про диссертацию. Не говорили?

— Говорил. Но получается лишь перечень, поверхностный рельеф. А где авторский взгляд? Осмысление?..

— А тут получается два: ваш и мой. Надо сделать один?

— А как вы думаете? Выходит — рассказчик говорит и сам себя перебивает. — Батогов пристально смотрел прямо в лицо. — Здесь рассказчик вы.

— Но это оттого, что наши оценки не совпадают! Для меня это обвал горных пород. «Тангейзер» Вагнера. Вы знаете, это врут насчет того, что он композитор арийской расы, писал для сверхчеловека. Это торжество горя такого высокого, что сродни победе. Победное шествие до разрыва сердца. Умирание на высшей точке от несогласия спускаться... Думала про вас под «Риенци» и «Тангейзера». Ну, как я могу тут что-то осмыслить? Не могу. Одно восхищение. А вам подавай голые факты. Эх, вы...

— Не голые факты. Но и не голые эмоции. И то, и другое в разумных пределах.

— Все у вас разумно, все взвешено... Не могу. — Она вскочила и встала перед ним, сжимая руки. — Не могу, слышите?

— Если у вас такой внутренний отклик, значит, слова потом придут.

— Но что же сейчас?

— Сейчас не годится. Это не то.

Ларичева в своем неуместном в такой суровой ситуации шелковом платье годэ, как невеста на сватовстве майора, и Батогов в старом свитере, тоже неуместном в нарождающемся лете, они были, как два обломка разных времен. Они смотрели друг на друга и, может быть, оба сопротивлялись той силе, которая их сводила и разводила.

— Значит, не то... — Она набрала в грудь побольше воздуха и бросилась вниз с горы. — А может, вам просто кажется? Всякий, кто впервые увидел свои слова в печатном виде, не узнает их и пугается.

— Не уверен. Я слишком много раз видел свои слова в печатном виде. У вас выходит совсем не то, что я говорил.

— Значит, это печатать нельзя, — выговорила Ларичева приговор сама себе.

— Нет.

— А новое мы писать пока не готовы? — усугубила она.

---

– Нет.

– Но Господи, Вы могли бы сформулировать то, что вы хотите? Говорите скорей!

Он молчал.

– Если бы я знал...

После этого все тормоза были сорваны, и она заплакала. Хотела выбежать вон, но стукнулась о косяк и уронила свои неудалые рукописи. Кряхтя, он подобрал и подал их.

– Разве это так необходимо?

– А как же? Кто будет биться? Никто. Все умрут, и все забудется. Я не вынесу этого.

– Не можете бросить. Застрали в теме. Ах ты, незадача. - Он помолчал, заслоняя куревом пропасть, которая бесшумно проваливалась, проваливалась... – Может быть, отложить это все на время?

– Но как я смогу приходить? Зачем это теперь, без цели?

– Ах, вам предлог нужен? Внешне – все останется по-старому. Но мы будем просто разговаривать, если это... Это как-то...

– Но как же я могу? Это часть меня! Я не вру, не ошибаюсь. Я не умею писать документальную прозу. Но знаю – вы редкий человек. Хочу, чтобы другие знали.

– Остановитесь. Слышите? Пока.

– Ладно.

Она вышла и пошагала, и под светлыми сводами ее творческого горя ветер раздувал полы плаща и подол шахматно-цветочного годэ. Зря не спала столько ночей. Сколько мук, чтобы прийти к нулю! Какой кошмар. «Ы-ы-ы», – неумело плакала Ларичева и глотала, давясь, свое неумение. Ах, как сильно заболело сердце, и его тупое дерганье подсказывало Ларичевой, что она права. Они подождут, посидят, пораспивают чай, потом он умрет, она умрет, и все будет хорошо. И никому больше в голову не придет убиваться черт те знает отчего. Как смириться с этим? А он говорит – смиришься...

– Девушка, вы что бледная какая?

– Девушка, вы замужем? Или выпивши?

– Молчи, он не пришел. Бросил девку...

Ларичева присела на лавочку в сквере и образовала эпицентр.

– А ну их, детка. Вот, на те таблеточку.

Глянула сквозь туман. Старушня какая-то. И – человек. Ничего не спросила, таблетку подала.

– Неужели всегда с собой?

– С собой, с собой. Возраст критический.

– Возраст? У вас возраст, как у него. А я его люблю. – И поплелась дальше.

– Эк тебя, сердешную.

Эге-гей ее, сердешную! Что за жанр – непонятно. Авторская позиция – отсутствует. Факты его, а оценка ее. Правда, дичь какая-то. Но это

---

конец всему. Если бы Ларичева работала в газете, то наверно, вышла бы статейка неплохая. Но она старые законы жанра поломала, а новые не нашла. И главное то, что предлог рухнул. Такая у Ларичевой форма общения: сказала, что пишет книгу и стала ждать откровений. Что за чудоларчик нашла... Но, не сумев изобразить его позицию, она стала для него никем. Скучно ему с такой писакой, секретаршей, говорить. Она хотела, чтоб он ее за ровню, наверно, принял? А он оставил ее стоять в приемной. Хотя откуда это видно? Он со всеми чуток, уважителен... Скорее всего, он сам потерялся в тексте. Девушка подсказывала ему героические интонации, которых он всегда чуждался. Чуждался, чуждался, да и отринул их. И ее вместе с ними. Он привык все сам решать, а тут она так эмоционально решила, и, само собой, он ей не поверил, не согласился.

## РУКА, ЦЕЛОВАННАЯ РЕЙНОМ

Под светлыми сводами областной библиотеки гудел страшный улей из сумасшедших студентов. Но это никак не было связано с приездом московских поэтов, хотя об этом сообщала ярко-оранжевая афишка. Простой ажиотаж в период сессии. К тому же уличная жара погнала народ за город, посему на поэтов пришло не больше ста человек. Ларичевой было терять нечего. Сердце ее отчаянно и громко билось, заглушая внешние шумы. Она видела лица знаменитостей — прославленных врачей, заслуженных учителей, художников, музыкантов, видела многих своих знакомых, в том числе доброго старца, только вот Радиолова и Чернова она там не обнаружила, странно.

Ведущий, блестящий московский профессор на фоне заставки — скачущие кони на просторах России — сказал, что все кончается в этом веке — ушли Прасолов и Рубцов, но грядут другие. А кто они? Вот совсем недавно к именам Евтушенко и Вознесенского легко было найти пару: это Рубцов и Куняев. А теперь мир перестал быть биполярным, зато стало так много групп. И каждый адепт клянется, что правда на их стороне... Что никогда раньше не было чисто поэтического журнала в России, но теперь он есть, это «Арион», и вот его авторы и редактор. Ежели хотите крикнуть всем им что-то оскорбительное, что сильное выберете для поношения? (Он, когда это говорил, даже замолчал, точно ожидая от толпы ответа, но разве мог кто-то слово уронить, когда вещает такое светило?) Конечно же, это Бродский... На него реагируют безошибочно.

«Да! — мелькнуло в голове у Ларичевой, — это так, в союзе его ненавидят, но «кентавры», наоборот, любят, распечатывают, поют...»

Но тут профессор объявил, что знает поэта, который незаслуженно обойден и закрыт тенью Бродского — это его учитель и друг Евгений Рейн, издавший пятнадцать книг, пишет пятьдесят лет из шестидесяти. Это паразитальная поэтесса Татьяна Бек, кроме стихов она пишет ум-

---

ные статьи и преподает в литературном институте — вот статья, я перенял, и вот она сама, кстати, они давние друзья с Рейном, правильно я говорю?

Ларичева открыла рот и забыла его закрыть. Сильное насыщение атмосферы волшебными словами будило в ней зверя. Она в такой обстановке не могла пригнать голову и притворяться, что это все равно. Какое там! Нартахова, сидевшая рядом, то и дело дергала Ларичеву за рукава, чтобы та закрыла рот, не подпрыгивала на стуле, не качала ряд, а то народ пугается, вообще как-то вошла в рамки. Но Ларичева не понимала, что от нее хотят.

Вначале выступали новые поэты с новым языком - Алехин и Строчков, они своей крутизной ошеломили пугливый провинциальный народ, и, поскольку они читали непонятно совсем, она умоляюще думала — ничего, пойму их, я потом пойму, а сейчас начнется любимое, так я уже не стану отвлекаться... Да, волновалась Ларичева не зря. Случилось что-то невероятное. Низким прокуренно-сладким голосом Татьяна Бек читала стихи из маленького затрепанного песенника Ларичевой! И поскольку это было освоенное, любимое в течение нескольких лет пространство, и Ларичева оказалась в нем не одна, она поняла, что всю жизнь любит эти стихи, выдохнутые душой этой чудной, некрасивой, сильно любившей женщины. Шляпка! Да про эту шляпку Ларичева еще в институте знала. Некоторые строчки она повторяла за выступающей, шевеля губами, и строга Нартахова в узком черном платье, вся в микрофонах и блокнотах, только качала аккуратной головкой в вязаном шарфике. Но как было стерпеть, как? «О, родина, где я росла, ветвьась...» — это про нее, Ларичеву, про ее бедную, неудавшуюся литературную судьбу. «Бросила, бросила, бросила петь...» — тоже про нее. «Где ты, в какой пропадаешь пивной?!» — это про Упхолова. «Ни обиды, ни мести, Лишь пение тайных волокон, Вот и снова мы вместе, На маленькой кухне без окон» — это в какой-то степени их кружок по развитию речи, и в какой-то степени веселый Ларичев, и даже Нездешний. «Вы, кого я любила без памяти...» — Нурали и его любимая со ртом-вишенкой. А когда медленная, грузно-высокая поэтесса прочла обжигающее «Безжалостно, сердечно сухо... Я буду честная старуха!» — зал нерешительно, но зааплодировал. И вместе со всеми аплодировал блестящий профессор, член букеровского жюри — и артистично склонял голову. И потом сама поэтесса говорила о Рейне, что это — суть центральный защитник.

«Он с барственной кротостью и гордым смирением разделял общую участь. Его протест тоталитарной доктрине выражался в лукавоюродивой неподчиняемости тому самому идеологизированному сознанию, которое...».

У Ларичевой стоял в глазах клубящийся туман. Не о себе она страдала, нет, о них, чьи уста произносили такие понятные и, однако, такие единственные слова. Господи! Рейн. Чтение его стихов напоминало ревуший водопад. Падая в этот бурлящий поток, Ларичева не в силах была

---

выбраться, эмоции сотрясали ее, выпуклость и фактурность гремящих строф не давали переключиться на окружающее и только сильнее тащили по течению. И вроде бы никаких поворотных событий там не было, просто — дома, реки, деревья, балконы, всё, куда ни падал взгляд поэтов, попадало в мешанину стиха и впечатывалось навсегда.

«Подойди к подоконнику, Обопрись, закури. Теплота потихонечку Растворится в крови. Все тесней и мучительней, Все сильнее и больней, Глубже и возмутительней, Лучше, больше, умней».

В стихах оживало множество людей, среди которых — и просто друзья, и Ахматова знаменитая — «три могилы — Илюши, Володи и Анны Андреевны...». Это были и просто отдельные поэты. Это были люди с одной и той же «кухни без окон», только их кухня вмещала десятки и сотни. Незримое братство людей одной крови. Так вот что знакомое охватило ее — на них были похожи «кентавры».

Но от Ларичевой просто так нельзя было отделаться. Она задала вопросы поэтам, и был там панегирик для Бек, и был особый вопрос для Рейна: «А правда ли, что вы в одной поэме говорите от лица своих кумиров?». И Рейн ответил — да, правда, в поэме «Голоса» я оживил Гумилева, Мандельштама, Кузьмина, и Довлатова, даже книжка у меня есть «Мне скучно без Довлатова».

Под конец встречи Ларичева предложила спеть под гитару песню. На стихи Бек она петь стеснялась, так как песен для нее было много — какую выбрать? Все любимые. Она знала одну только песню на стихи Рейна, ту, которую сложила сама, и долго извинялась перед публикой за свою самостоятельность, но, наконец, ее спела — «Укроемся в лесах Пицунды».

«Прожектор на твоём лице, И все находится в конце — Укроемся в лесах Пицунды... Затеём плутовской роман, Запрячем в щаве шарабан, И будем вовсе неподсудны...». Есть там леса или нет, но то, что будет побег, это точно... Была в этой незатейливой песенке как бы присущая поэту легкомысленность, а Ларичеву баюкало чувство бесшабашной свободы, ведь именно этого ей всегда и не хватало...

После аплодисментов, когда лицо ее пылало, крутом был грохот стульев и шарканье ног, она подошла к Бек, как во сне, и Бек подарила ей свою книжку! О-о-о...

А Рейн, улыбаясь, посмотрел, склонил голову к плечу, и вдруг жена его капризно сказала: «Поцелуй девушке ручку, Женя, не правда ли, она заслужила...». И божественный, маленький ростом человек, поцеловал ей руку! Боже мой. После чего окончательно обалдевшая и сбитая с толку Ларичева уставилась на руку, целованную Рейном, держа в другой книжку и гитару. И так долго стояла, пока все выходили. Неужели вот эта рука, просто рука с серебряным колечком, удостоенная губ великого поэта, обречена только стирать и готовить? И не допущена даже до компьютера, чтобы, бегая по клавиатуре, запечатлеть пеструю радостную жизнь?

---

Она стояла в своем трикотажном новом костюме с кожаной аппликацией на груди, забыв, что шелковый длинный шарф на шее она откинула за спину и назад его перекинуть забыла. Это был хороший столбняк, правильный.

Оттого и появились в материале Нартаховой исторические ларичевские слова: «Они приезжали ко мне».

## КАК ЛАРИЧЕВА СМЕНИЛА ПЛАСТИНКУ

Все выходные Ларичева стирала. Ее обурежала тоска, но она эту тоску давила, выжимала вместе с потоками воды из простыней и наволочек. Странное, однако, название — наволочки, откуда оно? Постирала детские тряпки, покипятила постельное, замочила половики. Кое-что погладила. Сварила борщ на два дня. Испекла кофейный кекс на две сковороды...

Гулявший с детьми муж посмотрел на эту бурную деятельность и покачал головой:

— Приступ чистоты? Опасный симптом. А в кино ты не хочешь сходить?

— А детей куда?

— А младшенький — накормленный — заснет, а старшенькая — умная — почитает. Пошли? Фильм шедевральный. Нельзя пропускать.

— А что там? Хотя все равно, ты разбираешься, на плохое не поведешь...

— Хотя нет. Ты, дорогая, наверно, устала...

— Нет! Я ползком и все равно пойду...

— Договорились. Про Сокурова слышала что-нибудь?

— Не-а...

Операция «кино» прошла исключительно благополучно. Под светлыми сводами главного кинотеатра уже царил некоторое вольнолюбие, и фильм крутили без купюр.

После фильма Ларичева, больная от нахлынувших впечатлений, сварила картошку, навалила сверху первые попавшиеся томатные консервы. И села записывать охи-ахи в блокнот. Этот блокнот придумал муж, чтобы каждый мог проявить свободу слова. Обсуждать с Ларичевой кино и книги было тяжело — она грохотала, как паровоз по узкоколейке, и всех давила на своем пути. А тут в книжечке можно было деликатно намекнуть о диаметрально иной точке зрения. Без крика.

Это было ошеломляющее явление: две линии мнений из разных измерений. Их несовпадение поражало. Может быть, так Ларичева пыталась складывать вместе непослушные слова или хотела дотянуться до культурных пластов, до того зыбкого уровня, на котором муж согласился бы с ней говорить, как с равной... Но это было невозможно! Ведь она воспринимала картину слишком доверчиво, по-детски, по-дикарски, а он смотрел и изучал продукт интеллекта.

---

Например, на «Юность Петра». Ларичева восторженно писала: «Образ юноши с диким нравом — сегодняшний, его ум и сила тратятся на настоящее. Его долг царский — скорее, человеческий. С жадностью смотришь на историю России — так было. И потом какое волнение видеть бунты, горящие золотом палаты...»

А сам Ларичев писал другое: «Рецензия из одних вопросов. Герасимов старейший, умнейший мастер — зачем поставил Петра в наше время? Такое ставили сорок лет назад. В главной роли Золотухин, якобы похожий на Петра. Артист все время демонстрирует свои дерзости, кривую ухмылку баловня и неотесанного деревенщины. Фильм нашпигован привычными физиономиями артистов. Весь фильм тебе напоминают, что это фильм Герасимова...».

Другой пример: «Лермонтову» Ларичева сочувствовала и пыталась оправдать: «На премьере фильма «Лермонтов» режиссер Бурляев с белым лицом говорил, заикаясь, что картину посмотрело пять тысяч человек, и многие полюбили его. Да, полюбили, несмотря на разгромную прессу. Да, режиссура непонятная, сюжета нет, идет цепь статичных картин. Нет действия. Много стихов? Но Толстой взял вообще один стих, а где всю жизнь в одно слово втиснуть! Обвинения в семейственности тоже несправедливы, какая разница, кто кого снял, лишь бы исполнители ролей создавали образы, а они их успешно создают...».

А Ларичев иронизировал: «Натужные старания и оживляж превратили художественный фильм в учебный. Это как чертеж — в музей не возьмут, художественной ценности нет, а приходится по нему строить новое, отсюда и споры. А самому Лермонтову, возможно, понравилось бы. Но очень уж несовременно. Сама необходимость фильма возникла из похожести Бурляева и Лермонтова...».

«Осенняя соната» оказалась первым фильмом Бергмана, который узрела отсталая Ларичева: «Фильм слишком мучителен. Полон страдания. Я слишком понимаю Эву, ее стремление сблизиться, вычерпать дно души, и в то же время сознаю, что это невозможно. Есть мать, пожилая и растерянная перед судом дочери Эвы — но эта умница, знающая людей, не поняла мать. Диалог двух женщин потрясает... «Осеннюю сонату» нельзя смотреть второй раз!».

Ларичев даже тут был придирчив: «Невозможно дать рецензию мастеру, как невозможно дать оценку поэту по одному стиху. Произведение, несмотря на камерность и статичность, очень кинематографично из-за жизненности материала и нервической болезненности в психике героинь!».

— Муж, а муж.

— Что.

— Мнение про «Спаси и сохрани» когда скажешь? Охота обсудить.

— Только через сутки. Когда отстоится. Причем письменно.

— Ну, муж!..

Ей нужны были подпорки. Она боялась входить в холодную воду ис-

---

куства без чьей-либо помощи... А потом расхрабрилась оттого, что представила — без нее этот фильм с экранов снимут. Да кто бы ее спросил!.. Да еще отравляющие фразы Губернаторова продолжали в ней прорастать. Если б он увидел это, то понял бы, что все не напрасно, и Ларичева уже немного не та. Так в городской заштатной газетке возник этюд «Спаси и сохрани» Сокурова».

## МОТИВ СМЕРТИ: БРОСАЮ ПИСАТЬ

«...Вывеску, изображавшую сплетенную в объятых пару, повесили утром, но сразу сняли. Испугались, что кто-то подумает... Ну и пусть бы подумали: эротомания. Эрос — любовь, мания — безумие. Любовное безумие, не так плохо.

У фильма «Спаси и сохрани» Сокурова есть литературная первооснова, роман Флобера «Мадам Бовари». И тот, кто прочитает роман, не утонет в глубинах сокуровских иносказаний. Образ главной героини: она рождена не для этой жизни, не этой, не своей жизнью жила. С самого начала и до конца будет преследовать нас загадка этой женщины...

Загадка проступает во всем. Откуда в деревенской глуши такая экзотическая особа? Как она живет, не уживаясь? Где бродят ее мысли и о чем они? Почему она не боится живой крови, но ей не под силу зашить подушки? Неведомая сила гнет и корчит ее тонкое тело, отчего длинные пальцы расставлены, а голова отчаянно закинута подбородком вверх, эхо страсти, жажда вырваться, улететь прочь, неясное предчувствие агонии...

Загадочно лицо героини, неуловимо стареющее на глазах, либо молодое, освещенное светом страсти, мечтательное. В потоке выражений невозможно понять — красота ли, уродство? Это естество иноземки, которое брезжит через кожу, как свет через ставни. Сокуров сделал весьма точный выбор актрисы на главную роль. В ее облике проступают причины историй всех измен, всех любовных сцен. В такт историям меняется непостижимое и призрачное лицо! Сначала душная семейная постель, рядом некто скучный и жирненький. Затем сверкающий луг, лошади, зелень и солнце, рядом — некто божественный. Взрыв свободы и начало конца. Устоять против этого невозможно! Закономерно продолжение как скачущее сиденье кареты... Там нет даже объятий, только судорожная ласка любовника, скрытого пышными юбками...

Цветок в лицо. Ад одиночества. Яд беспощадный.

Сначала умоляют ее... Потом умоляет она...

Героиня не статистка. Сперва она лишь принимает в себя, поглощает идущую извне энергию, затем сама становится ее носителем и излучателем. Поток страстей захватывает и уносит, кружит и поработает. Ведь женщина. Без наслаждения для нее все бессмысленно.

Нравственность не внешнего, а внутреннего «я» — основное, поэто-

---

му так необязательны и торговец, и деньги, и вообще все вещественное... Гибель не из-за денег, а потому, что была непонятна, вызывающая. Но при этом для себя глубоко естественна. Быть хорошей для других — значит самой с ума сойти. И так — нельзя, и так — невозможно... Только и остается — молиться. Молиться и нам неистово — спаси и сохрани! — за всех нас, грешных, и за нее, грешницу, за всех, кто ищет и не находит, кто находит, но гибнет...

У Тарковского есть неизменный фон, имеющий и самостоятельное, и попутное, косвенное, значение. Это вода. Капли, струи, потоки, волшебство течения и неподвижная стеклянность. От гибельных пространств мыслящего Океана до сорной аквариумности Соляриса.

У Сокурова в «Спаси и сохрани» тоже есть фон, среда, в которую погружено происходящее — воздух. Он то купает героиню в солнце, то душит перовой вьюгой, сначала из подушек, потом из неба... В сцене агонии воздух — тугой смертельный ветер. Протivoестественна смерть сама по себе, а ветер подчеркивает это — Эмма умирает не дома, кровать стоит в царстве Стикса, в некой пространственной дыре, вне всяких стен и вне пределов понимания — в черном поле, под черным небом, где дует черный ветер... И это настоящий конец, ничто.

Неизменный фон цветовой и звуковой, есть особый тон жары и холода, всегда говор и музыка, шелест и шум, и все сливается в грозный чудесный гул, не разлагаемый на элементы, поэтому его надо вливать целиком, широко открыв рот и глубоко дыша. Не по слову, а по смыслу, по интонации, не разумом, но как-нибудь кожей ощутить и погрузиться в напряженное поле многовольтной души. Ведь это она дала нам возможность сдоргнуться от жалости и взмолиться...».

Написала нечто из чужой области, написала про кино, потому что боялась писать о себе, как учил Губернаторов. Так обычно начинают скользкий разговор «про одну подружку»... Но это было уловкой, чтоб загрузить себя после Батогова и попусту не реветь. И вовсе не об Эмме она хотела сказать, а о себе, только боялась сделать это открыто...

Ждала реакции? Да никакой реакции ни у кого, а кому это надо? И очень хорошо, потому что она теперь застыла в одной позе и притихла. Пусть в не очень удобной позе, но все-таки боль слабее... О, не трогали бы... Но разве от пронизательного взора Нездешнего что-нибудь укроешь?

— Непохоже, что это вы написали, — сказал он, роясь в каких-то разбухших папках. — Прыгнули себе через голову?

Экономистки навострили уши, пытаясь запеленговать любовное подполье. Ларичева раньше избегала что-то при них говорить, потому что после обработки и раздувания у них получались вывернутые наизнанку результаты, которые и становились потом руководством к действию и эталоном оценок... А тут ей стало все равно. Она стала привывать, что скромный Нездешний, на вид полная тряпка половая, на самом деле совсем другой. И не обязательно он терпит издевки экономисток, переби-

---

рающих ему кости в его же присутствии, чаще всего он просто не слышит их, вот в чем дело. Он слышит просто звуковые колебания, не вникая в смысл, которого там нет. Он думает о чем-то своем. А они, изощряясь до сладкой слюнки, хотят пнуть его побольнее. И никто не подозревает, что он такой помощник вселенский, немой рыцарь, спас — и исчез.

— Почему непохоже? Все про любовь, — обронила Ларичева, щелкая по клавишам «Искры» и по нервам согладатаев.

— В вашей статье больше о смерти, чем о любви, — заработал открытым текстом Нездешний. — Но чем это вызвано? Разве Флобер виноват? Вы-то что так вскинулись?

— Я вскинулась потому... — она поискала папку с оборудованием и нашла. — Потому, что жить любовью нельзя. Расплата приходит слишком быстро. Так что я бросаю писать...

## НАСЛАЖДЕНИЕ ИЛИ ПЫТКА. КОНЕЦ ГРАФОМАНИИ

— А что, собственно, случилось? — Поправлен галстук.

— Ничего. Вы как начальник отпускали меня на семинар, мне пришли оттуда отзывы знаменитостей, и я их вам предъявляю как доказательство того, что я там была, но мед-пиво не пила... — легла на стол пачка листов, сцепленных скрепочкой.

— Кажется, я не требовал от вас никакого отчета, — переплетены пальцы перед собой, как щит.

— Да, но это как бы творческая командировка, за меня кто-то работал, пока я... В общем... — из-под упавших волос только дрожащие губы (пожалей меня, пожалей).

— У вас прямо комплекс честности. Просто заболели ею, как болезнью. Успокойтесь. Я почитаю, конечно, если вы не против. У меня ведь картотека для потомков. Горжусь. Вот так, при мне, начиналась слава самой Ларичевой. — Рука, поглаживая, прижала листки, будто охраняя.

— Вам бы все пошутить над провинциальными?... — волосы метнулись, заслонив горящее лицо (хотелось победы, но...).

— Нисколько я и не шучу. Я лично вами восхищаюсь. А то, что великих понимали не сразу, это не новость. То, что вы на это решились, уже победа. Рецензенты — еще не все читатели.

— Я в бухгалтерию, мне надо выбрать там... — И пошла.

Экономистки злобно заусмехались.

— Вот, берусь писать, а сами двух слов не свяжут.

— Ну, как же, надо повыпендриваться. Известные писатели ее читали, как же! Получила?

— Люди веками страдают, прежде чем выйти к читателям. А этой все похрен. Чему она научит? Как дают да ноги раздвигают?

Нездешний на эти укусы уже не реагировал, ответить им — значило

---

бы опуститься слишком низко. Он говорил только тогда, когда не требовалось поступаться принципами. А один из принципов был такой — никогда ни на кого не обижаться.

Забугина тоже сидела спокойно. Пускай зудят бедные женщины под сводами статотдела, у них так мало развлечений в жизни. Но плохие рецензии? Об этом она пока ничего не знала. Да и вообще странная Ларичева стала, работать бросилась. Молчит — вот самое непривычное. А раньше у нее все было на лбу написано. По идее надо бы пойти и устроить большой обед с пирожными, все обговорить по-человечески. Но Ларичева же сама не ведет себя по-человечески. У нее теперь лучшая подружка Нездешний, ну, так на здоровье. А сколько для нее сделано, боже мой, ну, ничего, ничего не умеют люди ценить.

И Забугина неторопливо и весело пошла на обед одна, вернее, с Губернаторовым. И там ее ожидало еще одно неприятное открытие.

Когда они уютно сели в отдалении, с другой стороны телевизора — а все как раз садились напротив телевизора и жевали, как автоматы, — когда они так чудесненько уселись, Губернаторов вынул из папки для планерок затрепанные листы и подал.

— Что это, милый?

— Это, видишь ли, один из опусов твоей подруги. Передай ей, я прочел. Ты читала?

Забугина воззрилась, близоруко щуря накрашенные глазки. Она была сегодня так легко, так дымчато накрашена, просто неотразима. И знала это. «Аллергия»? Нет, такого не читала. Вот еще новости. С каких это пор дурочка Ларичева дает читать друзьям Забутиной свои паршивые рассказы, а самой Забутиной не дает? Ничего себе загибы.

— Нет, я не являюсь первым читателем великой Ларичевой. А о чем это?.. Налей и мне пепси-колки.

— Видишь ли, я просил ее написать постельный рассказ. Ну, чтобы она прекратила выполнять домашнее задание и несколько вышла сама у себя из-под контроля. И посмотреть, как она выглядит как женщина.

— И что вышло? Новая Эммануэль? Или дрянная девчонка?

— Нет, какое там. Это вовсе наоборот, это антиэротика, это как бы чернуха в эротике. Советский вариант садомазохизма.

— Да ну. Ларичева простенькая женщина. Что она понимает в постели? Для нее любовь — это словесное тюр-люр-лю. Сидеть за два км и мять полу пиджака любимого человека. Ей надо, Господи прости, единство душ, а не единство — гм... Сначала должны пройти муки. Потом узнавание кармы до пятого колена. Горячие клятвы. Только потом она начнет раздеваться... Да и то в последний момент начнутся месячные...

— Дорогая, ты почти опус, потом поболтаем... Ну, не немедленно... Как будто тем для разговора больше нет.

— Ну, хорошо. Только скажи одно — ты разочарован?

— Не сказал бы. Есть даже элемент шока. Написано, конечно, грубо, потому что фашиствующий молодчик, муж героини, дан как бык-произ-

---

водитель, а любовник, интеллигентный слюнтяй — вовсе не мужчина. Это очень упрощенная картинка. Никто из них не мог быть таким квадратом. В каждом бывает и то, и другое, понимаешь? Но это от неопытности, это поправимо. Главное — она не может описать секс, потому что не знает, что это такое... Есть любовь, нет — секс существует как отдельная область, которая не зависит от романтических отношений. И там свои законы... Бедная твоя Ларичева, убогая совершенно. Она, кажется, замужем?

— замужем. И говорит, что мужа любит, что поймалась на его чувственности задолго до заключения брака...

— Мне неинтересно. Мне и так все уже ясно.

— Что тебе ясно?

— Что люди жизнь проживают насильно. То, чем можно насладиться, у них орудие пытки.

— А ты? Ты умеешь насладиться?

— О, да. И ты тоже. Иначе зачем мы здесь сидим?

И они сменили тему разговора. Они ели и пили под светлыми сводами административной столовой, где висел под потолком большой телевизор, изысканные приятные создания, глядя на них, муж Ларичевой подумал бы, что смотрит видик. Они умели пошутить друг над другом, умели сказать колкое словцо и незаметно погладить друг другу руки, а под столом коснуться ногой. И все это изящно, легко, как бы говоря — только для тебя я вот так. Это был праздник исключительности.

А рядовая, затурканная своими проблемами Ларичева, простенькая женщинка в клетчатом (опять же) платье с воротничком, сидела и, сторбившись, переписывала бухгалтерские выкладки. У нее рябило в глазах, она их терла и таращила. Нет, она, конечно, не Эмма Бовари, но все равно она тоже рождена не для этого. И ни для того, и ни для другого. А для чего? Ей казалось — для того, чтобы писать. Ведь это было понятно даже и ежу! Истории вагонных и больничных разговоров она не могла не записывать. Они бы забылись. А тут, когда она их строчила, она же сливалась с ними, это было зверское, необыкновенное варево, суп из прошлого, настоящего и будущего. Адский бульончик из чужой фактологии, прокипевший на личных страстях ларичевского «я»...

Прохожие, конечно, могли идти по улице и хохотать, но они как бы невзначай заворачивали к Ларичевой и там у нее, под светлыми сводами ее причудливых рассказов, застревали. И, всласть поговорив с ней, подосланной лазутчицей, оставались бесценными свидетелями времени. Это уже было доказательство, что они жили.

И Батоков, прораб техпрогресса, разгневанный кадровыми искажениями — оставался. С седой шевелюрой и лучиками глаз, бессмертным голосом Лучано Паваротти, с безумной сестрой, жертвой зрелого социализма, незамужней от излишнего ума дочерью, с иркутским романом и надеждой на переворот. И Упхолов, грустный однолюб, деревенский Шекспир, будущий классик, ошеломленный силой забившего из него

---

фонтана рассказов, с его узкоглазым сыночком и серой лапшой в сковороде — он тоже оставался. И Радиолов, управляющий судьбой современной литературы, покорный учительской указке его жены, нежный руководитель нежного ремесла, которое его же самого и задавило — оставался. И Нартахова, двадцать лет без всяких надежд пишущая рассказы в стол, интеллигентное существо, умудрившееся в глуши прочесть Ларичеву и запомнить, Нартахова с ее жадной влюбиться, попавшая в жены к передовому механизатору, который с ней говорил только матом и криком. И Забугина, неунывающий борец за свое место под солнцем среди мужчин. И Нездешний, нешуточно добивавшийся смерти, а добившийся новой формы жизни, исполняющий Христовы заповеди, почти святой для других и деспот для себя, то есть как бы мученик. И сама Ларичева, захваченная попытками их понять и полюбить — тоже оставалась. А поскольку перед ней не стояло никаких воспитательных задач, а только донимала лихорадка летописца — она не пыталась что-то там «подать». Она шпарила по-черному, валила в котел все, что успевала между лестницами, стирками, поликлиниками и скороварками.

И это получалось некрасиво. А почему? А потому, что она сошла с ума от восхищения, сдвинулась, ее поражала именно сама реальность, она любила все так, как есть. А литература должна воспевать! Получалось, что Ларичева воспекает черт те что...

В рецензиях, которые она оставила Нездешнему, ее резко осудили за то, что ее герои тусклые, тупые, чаще всего пьющие люди, то есть представители нашего бездуховного времени. Токарь, который сочиняет песни, учительница, полюбившая затраханного в армии пацана, юная мать-домохозяйка, которую буднично насилует муж, талантливая журналистка, одинокая и обреченная быть второй женой мужа... А сколько их всего, таких! Все это, мол, не герои, не народ. «Да, это есть в жизни, но не будешь же описывать каждого бомжа, собирающего бутылки!» — говорили ей. То есть все ее герои, взятые из жизни наугад, были не герои, а выродки.

Ларичева сидела пылающая и догадывалась, чего от нее хотят. Чтобы она описывала прекрасное. Чтобы она описывала не то, что она хочет, а «то, что нужно народу». А кто это решил — что народу нужно, а что нет? А сама Ларичева, значит, не народ? Выродок нетипичный, который пытается опозорить великую нацию, описывая ублюдков?

«Ах, да она еще, кажется, и хохлушка, тогда все понятно, почему она, такая сучка, Россию не любит... ВСЕ ОНИ пытаются опозорить нас: Войнович, Терц...», — говорили о ней. «Думаешь, у Радиолова меньше горя было, чем у тебя? Да он еще до тундры весь облучился, да у него селезенки наполовину нет, вот сколько выстрадал, да посмотри на других, что они пережили!» — говорили ей.

Значит, описывать хорошее. А остальное куда девать? Выходить к людям с добротой, светом, который не знаешь, как и из кого выжать, а вот это, что останется — это куда девать? А это пускай там внутри бур-

---

лит, залить бетоном, как реактивную язву, и пускай. Может, рванет потом через столетие, ну, и черт с ней, зато наша миссия выполнена, мы хотели сеять разумное, доброе, вечное — и сеяли. А что Ларичева сеяла? Всякую гадость. Вот именно.

Большинство известных писателей добросовестно описывали времена Святослава и Сергия Радонежского. Это было очень удобно, их никто проверить не мог — реальность они описали или с долей воображения. Дескать, были факты истории, и под их пером эти факты начинали трепетать, как живые. И знамена развевались, и слезы на глаза наворачивались, и русые кудри рассыпались, и березки шелестели над убитым героем... И народ читал и воспарял. Здорово.

Ох, уж эти березки. Ох, уж эти нивы, на которых Ларичева гнулась. Когда сама попадаешь на такую ниву и швыряешь картошку под снегом в грязь, то никакой былинной красоты обнаружить не можешь.

Да они что, офонарели? На ниву гонит голод, а с нивы унижение и усталость. Ничего там хорошего нет и быть не может. И не придратесь к ним! Они всегда найдут в прошлом аналогии с настоящим и даже будущим! Они мудро поступают! Тем более, что не знать прошлого великой нашей родины стыдно, а то превратимся в Иванов, не помнящих родства. Но как же настоящее? Пока мы роемся в окаменевшем хламе, наше настоящее кончается и быстро превращается в прошлое. А мы его так и не узнали, мы долбали истоки, до того ли нам было!

Но тогда мы просто двоечники, которые без конца сдают хвосты и не успевают усваивать текущий материал! Они говорят — мы не виноваты, раз мы это любим. В смысле — родную историю. Против этого сказать нечего. Но почему все любят одно и то же? Значит, в нашем развитии произошли какие-то пугающие явления, которые обезличили творцов и сделали их похожими? Все любят историю, все любят деревню... Удивительно, что при этом никто в деревню-то не едет, чтоб ее преобразить.

Ларичевой, например, было стыдно, что она не может описывать деревню, которая ей нравилась. Она ее видела только раз в год, в отпуске, ну и конечно, этого мало. И потом ее тянуло поехать снова, еще как тянуло! Но она твердо знала, что жить там никогда не будет, потому что далеко хлебный магазин, нету человеческих врачей, а дети болеют... И там пришлось бы день и ночь торчать на той самой ниве, от которой так и воротит. Господи, ну сколько можно. Хватит уже говорить о том, о чем надо, может, хоть перед смертью крикнуть о том, о чем хочешь?

Раньше было положено сверху, ну, а теперь положено изнутри. Ах, изнутри. С морально-этической точки зрения. Так у вас, ребята, высокие моральные критерии? И это значит, что у всех такие должны быть?..

Ларичева не подходила под высокие моральные критерии знаменитых писателей и потому стала графоманкой.

Графо — пишу, мания — любовь, сильное пристрастие, страсть писать и описывать, ну и чем это плохо? Разве любовь может иметь негативный смысл? Особенно, если это любовь к письму, любовь к изложе-

---

нию своих мыслей, чувств, эмоций. Если это страсть к ведению дневников, которых целая кила. Привычка писать письма на десяти страницах. Вести путевые заметки. И пусть хоть один писатель, знаменитый или нет, скажет, что такой страсти у него нет! Но ему разрешено, у него корочки, а у Ларичевой корочек нет, ей не разрешено. Пошла вон.

Система ограничила свободу мысли, свободу письма, свободу слова. То есть формально такую свободу объявили. А на деле никто оказался не готов. «Мы тебе доверяем. Вот тебе удостоверение. Все остальные — графоманы. Что они там думают? Что пишут? Что, кроме антисоветчины, могут написать? Запретить! А если пишут — в психушку. Графоман — это шизофреник».

С легкой руки карикатуриста Ефимова в старом «Огоньке» графоман изображался лохматым безумцем с вытаращенными глазами, банкой с чернилами и брызжущей ими ручкой. Толстые словари соцреализма определяли эту страсть как болезненную. В фильмах положительный герой только работает. Он годами не пишет письма матери в деревню. Этот хороший забывчивый человек то и дело встречается в литературе, ну, просто штампом стал. Даже журналист в фильме «Журналист» ничего не пишет, а только смотрит да болтает. Таков советский герой. Многие из окончивших факультет журналистики МГУ ничего не пишут. Потому что профессия человека и его страсть редко совпадают. А ведь язык совершенствуется только в письменности, а все остальное — «ненормативная лексика».

В русской классической литературе героини пишут по два-три письма в день! В мировой литературе есть целые романы в письмах. Без графомании это невозможно. А в советской литературе ни одного романа в письмах, потому что такое невозможно в принципе, запрещено.

Пушкин сообщил в письме к Вяземскому, что написал за день сказку в три тысячи строк. Можно ли столько написать, не будучи графоманом, да еще вслед, в тот же день, сообщить об этом в письме? Ведь он благодаря этой страстности, пассионарности пера и стал гением литературы. Талант — конечно. Но костер таланта тоже должен питаться чем-то, чтобы пылать. Вот такой вот страстью! «Пылать» и «пылкость» — слова от одного корня.

Ларичева была доверчивой. Она понятия не имела о судьбе Петрушевской, Нарбиковой, Толстой, Сагур. О судьбе таланта, который был проштампован как третий сорт — только потому, что женский. Она верила, что добрый дядя Радиолов выдаст ей разрешение, что-то вроде охранной грамоты, и она будет радостно шпарить все, что на ум взбредет. Но добрый Радиолов побелел и сказал, что это надо еще заслужить. Надо же! Столько умных разговоров по телефону, и временами казалось, что все уж, друзья, спорят на равных, друг друга понимают. А тут — хлоп! — еще заслужи.

Ларичеву поставили на место, и она поняла своим мелким умом, что здесь все точно так же, как и везде. Раз люди претерпели горести и труд-

---

ности, значит, и других заставят... И ей стало скучно. Она думала, что можно без чинов... Оказалось, нельзя. Поэтому Ларичева решила — к чертовой матери эту головную боль.

Пока она писала себе дома и складывала в угол — все было хорошо, интересно. Но мало показалось! Вылезла из угла, попыталась спросить мнение — и тут же об этом пожалела. Лучше бы не спрашивала.

«Главный недостаток — неумение выдержать интонацию. Все рассказы начинаются интересно, к середине все слабеет, рвется и почти везде размазанные, вялые концы. Нужно тщательней работать над серединами и окончаниями, не опускать, а приподнимать их...».

«Любовь — это тайна, а у вас сплошь срывание покровов этой тайны, половой акт как таковой. Никогда не понять так называемых эротических, а попросту похабных изображений его в кино и литературе...»

«Воинствующая эмансипатка с агрессивным комплексом обиды... Как же, обидишь вас!».

«Есть только заготовки. С ними надо работать, не надеяться, что вывезет нелегкая. Было б это в книге — пропустил бы, а тут приходится читать и обсуждать каждую страницу... Становится омерзительно, хочется помыться...».

А если людям так омерзительно это читать, то зачем тогда и писать? Зачем работать?

## В КРАСНОЙ РУБАШОЧКЕ: СТЫДНО...

О том, что приезжает великий Евтушенко, Ларичева узнала от Нартаховой, которую опять послали из газеты писать про это репортаж. Ларичева забегала, отыскивая свое нарядное годэ. Все-таки человек овеян легендами. Не может быть, чтобы по истечении лет все легенды с него сдуло. Позвонила туда, сюда. Никто идти не мог. В это время ей позвонил Радиолов: когда нужно было делать посещаемость, да так, чтоб самому не замараться — он знал, к кому обратиться.

Ларичева помнила, как они с мужем ходили на фильм о Евтушенко, про его детство. Но это было когда! Давно и неправда. Сейчас Ларичевой было интересно с литературной стороны. Поэт. Мастер тонкого и капризного дела...

Начало было вдохновенное и обещающее: Евгений Евтушенко под сводами областного конференц-зала рассказывал о давнем визите в «колокольню-березовый город». Все было спокойно, пока не увидел он в музее пустой шкаф, из которого «выслали» простреленную шинель Яшина из-за его «Вологодской свадьбы»... Так ему горько и стыдно тогда стало! Ну, писать о том, о чем говорить нельзя — это была, конечно, неподвольтельная смелость. Так что заступаться за обиженного Яшина он не мог, только «горечь испил». «Это и мы можем», - ехидно подумалось Ларичевой. Одно дело сходить на кладбище к друзьям-поэтам, выпить за помин

---

души. Другое дело — сказать про это в интервью. О, да, он знал Рубцова, Чухина, Коротаяева, Чернова, да. Но Чернов так много сделал, чтобы он, Евтушенко, сюда не приехал. «Но все равно я люблю его!» — фальшиво воскликнул мэтр. А кто близок из сегодняшних? Не назвал никого. Бродский? Но он не русский, скорее наднациональный поэт. А-а-а, не хочет говорить, боится...

«Не пишите! — Ларичева помахала крестообразно Нартаховой, сидящей с диктофоном на первом ряду. — Не пишите, все вычеркнут!». Но Нартахова всегда все записывала. Она не потому писала, что ей строчки давать, а потому, что кроме нее никто этого не сделает. И потом в случае смерти откроют архив, а там все есть... Вся литературная жизнь...

Естественно в случае непонимания прочесть: «Со мною вот что происходит, совсем не та ко мне приходит... Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет...». Чтобы подчеркнуть свою чуждость и грусть момента... Как он все срежиссировал, однако! Муж Ларичев, человек все-таки искусства, сказал бы именно так.

Свои стихи поэт читал блестяще. И, узнавая, все вспоминали — да, это «Разин...». Это «Горький мед сорок первого»... У Ларичевой вдруг появилось чувство стыда за Евтушенко, который в своей красной рубашоночке смотрелся рядом с фракком ведущего довольно опереточно. И чем нестерпимей было это чувство, тем больше доверяла ему Ларичева. Неловко было! Человек, претендующий на роль пророка в своем отечестве, выдавал какие-то агитки.

А зал постепенно разделялся на две части — на поклонников и скептиков. Страсти между ними накалялись. Одни хотели млеть, другим было скучно и они отыгрывались на первых. Шепот, возня недовольных. Восторженный — громко:

— Тише, тише! Вы что, стихов не любите?!

Скептик — тихо:

— Дома книжку почитаете...

Евгений Александрович читал со сцены то, что всеми давно уж прочитано. Ждали чего-то нового, но даже старое заглушалось пафосными речами. В зале было много молодежи, и она шумела и переговаривалась.

Часть выступления была посвящена как бы русскому вопросу. Это оказалось воспоминание о Николае Глазкове, которого Евгений Александрович очень любил, считал своим учителем, говорил о том, что тот не мог печататься и распространял свою стихи в рукописном виде, а «от посадки Глазкова спасла лишь репутация блаженного». Горячий спич, адресованный Межирову: будучи водителем, Межиров случайно сбил человека, и его заравили как убийцу, выжив из страны. «Они бьют по своим!» — внезапно кричал поэт и читал стих военного времени. Говоря о нынешних порядках в стране: «Мне стыдно, что у нас все так коррумпировано» и — «Догорай, моя Россия, догорю с тобой и я!». На этом месте Ларичеву уже тошнило нешуточно. Куда там ему догореть в своей Америке.

---

Нартахова все подробно записывала, она потом показала Ларичевой маленькую хронологическую зарисовку с вечера Евтушенко, начавшегося на час позже из-за интервью для радио: 20 часов 20 минут — Бэлза читал записку: «Обратитесь к запискам». 20 часов 30 минут — констатировали смерть русской поэзии и полный уход в политику. 20 часов 40 минут — ушла почти вся молодежь.

Многие поклонники второпях строчили записки, но к запискам Евтушенко подошел совсем ненадолго. Ведущий Бэлза оказался завален бумажками по грудь, но невозмутимо сортировал их на глазах у всех, причем зачитывал не все, а только отдельные удачные фразы.

Какой у вас самый счастливый день? — День Победы, конечно. — Что цените в людях? — Невозможность предать. — Правда ли, что вы ездили в Елабугу смотреть на гвоздь, на котором повесилась Цветаева? — Правда. Тогда еще и могилы ее не было. И прочел «Елабужский гвоздь». Потом его снова куда-то унесло! В публике нарастал ропот: «Что это с ним? — С кем? — Да вон там — выступает... — Для тех поколений».

Игривая фраза: «Чудесные девочки рассыпаны по залу, я уверен — они найдут своих больших союзников...». Господи, да он, русский язык, что ли, забыл?! Но тут же типичный образчик борьбы с порнографией: «пошлость, хлынувшая с экрана», «японские дети, возбужденные до сумасшествия»... «а что Америка? там уважающий себя средний американец не пойдет смотреть фильм с Чаком Норрисом. У нас, правда, смотрят...».

...Господи, почему так много было отступлений? Прямо бред какой-то. Постепенно яркое шоу, в котором давно все обкатано, забуксовало. Начиная с чудесно-рассеянной фразы: «У кого есть мой сборник? Я не помню слова...» — вечер безнадежно провис. Какое-то многословное объяснение, что никакой он не еврей, просто дед Гангнус был прибалтом, отсюда фамилия. Кого интересовал сутубый национальный вопрос, тот на встречу не пришел вовсе. А те, кто пришли, жаждали литературы. «Я препАдаю руску пАззию в Америке!» — говорил Евтушенко, как будто он новый русский, с легким акцентом и все настаивал, что его поэтическая антология превратилась в «учебник, по которому на западе изучают русскую душу»!

Много говорилось о книге, которую поэт привез с собой. Роман «Не умирай прежде смерти», издан в 1993 году, но до этого поэт получил письмо от Жаклин Кеннеди, занимавшейся издательским делом — через два месяца после ее смерти! В письме она оценивала роман очень высоко, подчеркивала, что герой романа следовательно Пальчиков — самый обаятельный мужчина в литературе последнего десятилетия. Роман с подзаголовком «Русская сказка» имел успех, получил престижную литературную премию в Италии.

Ларичеву мало-помалу отвращала разлившаяся патока происходящего под сводами конференц-зала. Один из поклонников публично поблагодарил поэта за ключевые строки стиха «Любимая, спи», потому что

---

этот стих помогает никогда не ссориться с женой, стоит ей прочесть эти строки, и она уже смягчилась... Он улыбался, изумительно читал знаменитый стих и под аплодисменты переходил к раздаче автографов прямо на сцене. Очередь за автографами была огромная. Точнее, это была не очередь, а неподвижная толпа тел, которые находились в сжатом, но все же броуновском движении. Все лезли, как тараканы из щелей. А человек с лицом старого клоуна был болтливый и добрый, как мужичок у пивного ларька. Он всех дам спрашивал — сколько лет, где работаете? — и подписывал свои старые и новые книги. Зачем он это спрашивал? Потому что это прием быть ближе к народу. Подписывая книгу дочке Фокиной, переспросил: «Так писать кому — тебе или матери? Фокину прекрасно знаю. — Нет, мне!» — заупрямилась дочка...

Простояв около часа, пробилась сквозь толпу и Ларичева. Когда она, наконец, протолкалась, то протянула ему его же новую книгу. Узнав, что Ларичева литератор, он поморщился. «Скажите, какова судьба союза, который вы когда-то создали с Вознесенским?» — выпалила Ларичева. — «Брось, какие союзы, я забыл о них думать... Меня семнадцать демократов в свое время предали, и ладно, пусть...». На книге осталась роспись краснорубашечного Евтушенко: «Дор... Лар...». Что значило: вечер потрачен не зря.

Да, праздника духа не получилось. Ларичева все думала, почему так? На Рейне и Бек было всего сто человек и полный праздник духа, а тут одна обязаловка, как на выборах, но в зале почему-то людей в пять раз больше... Они ругались, уходили, но их было больше в пять раз! И там вечер был бесплатный, а тут такие деньги отвалили.

Потом Ларичева не раз вспоминала его мнение насчет союза: надо же как, он даже забыл думать! Нет, так, как он — нельзя. Если делать, то так чтобы потом не отказываться. Всезнайка Ларичев добавил ехидно: «Говорил же тебе, что дело в имени. Заработал имя человек, а потом все неважно. Пори всякую чушь, не смущайся. Думаю, в долларах он получит за эту встречу столько, сколько я за два года работы. А как быть с тобой, не знаю. Твое дело дышать на автографы...»

### **ЛАРИЧЕВА ХОЧЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, А ЕЕ УБИВАЕТ ЕЕ ЖЕ ГЕРОИНЯ**

Северный город заливало робкое летнее тепло, и некоторые смельчаки уже дежурили в области речного пляжа. Дочка, несмотря на определенные противоречия с общешкольной молотилкой, все же закончила учебный год, и закончила неплохо. Сыннок канючил, что хочет в деревню, Ларичева вела бурные переговоры, но ни одной либеральной старушки не находилось. Тем более Ларичева, как недавно вышедшая из декрета, еще не заработала летний отпуск. Опять не было новой летней одежды, не в чем было выйти на люди, старые юбки и продранные по

---

швам блузки стремительно блекли рядом с многоцветьем чужих плащевок и марлевок. Ларичева села строчить юбку с жилеткой из старого синего плаща, но опять, опять приходилось с неземных высот «Бурды моден» сползать на убогие самошитки.

Глава семьи, что было невероятно, сам купил себе партию носков и новую рубаху.

— А мне? — заикнулась было Ларичева.

— Детям надо мало, мне побольше, а на тебя я еще не заработал. Если ты не считаешь свой костюм, конечно.

— Глянь, я не успела купить костюм, как началась жара. — И вздохнула. — Погуляй с детьми на качелях, я построчу юбку?

Глава очень трогательно и быстро согласился. Она, как стахановка,шила, варила суп и вымыла два окна. Потом после обеда закинула удочку насчет того, чтоб съездить за город окучить картошку. Она слышала — все коллеги в отделе уже окучивают...

— Ты смеешься, — заметил муж, — прикалываешься. Хорошо пошутить после обеда в субботу.

— Значит, придется окучивать самой? Это же много.

— А зачем ты ее сажала? Рассчитывала пробудить во мне древний дух хлебопашца?

— Да нет. Все сажают, вот и я...

— У тебя высоко развито стадное чувство, а у меня нет. Потрясаю штатпом в паспорте, можно принудить человека к чему угодно. Даже к тому, чтобы он перестал быть самим собой.

— Все, все. Я не собираюсь ничем потрясать.

И Ларичева поспешно уложила ребенка, помыла посуду и, как обычно, села за компьютер. Потом осознала этот факт и задумалась. Она бы сейчас так радостно нырнула в свой мирок и, правда, даже плакать бы не стала — ни от мужа, ни от чего.

«Но я же графоманка, ребята. У меня пагубная страсть, а все пагубное надо того... Бороть».

И стала бороться! Мордочка у нее помрачнела, брови встали горестной крышей, но она, шмыгая носом, полезла снимать веником паутину. У окна за трубой, потом над шкафом. Потом на шкафу какие-то папки нашла, села их листать, вздымая пыль. Муж искоса наблюдал за ней из-за журнала «Коммерсантъ».

— Пуговицу можешь пришить?

— Могу. — И, представьте, пришила.

— А карман на джинсах? А в куртке?

И карманы то же самое. Да-а, видно, прихватило ее... Так они весь вечер и промолчали. Потом Ларичева положила на кресло все джинсы, рубахи, веник и спросила чистый от паутины угол:

— Что же мне делать, Господи?

— Вернись в семью, — посоветовал весело муж.

— Почему?

---

— Потому что богема не для тебя. У тебя нет практики долгого и бурного питья. Ты выцедила ложку ликера и сидишь довольная. А настоящие писатели эту практику имеют. Они пьют сутками и литрами, например, на каких-нибудь чтениях. Это не всем дано.

«Он говорит, как Алексин у нас на кружке!».

— Если ты не писатель, то откуда ты это знаешь?

— Я бывший комсомольский работник. Я знаю то, что знают писатели и многие другие. У меня такая специфика.

Как всегда, когда подходил чайный перерыв или обеденный, экономистки отдела подводили глазки и подтягивали колготки. Причем делали это при начальнике, как бы не считая его мужчиной. Откуда это пошло? Ведь он не запрещал им приносить новые джемпера и разбрасывать их поверх статистических ведомостей. И не запрещал даже мерять тут же, не выключая счетной техники. И никогда никого не одергивал, если много шумели или долго красились — старался выходить и, вообще, вел себя деликатно. Но экономистки как бы нарочно его испытывали. Говорили о нем при нем в третьем лице и, вообще, как будто у них страсть такая была — пытать его медленно, но верно.

Ларичева сидела с отсутствующим видом. Она через пень-колоду ли стала квартальные разбивки, пыталась что-то сбивать на угол, но дело подвигалось туго. Сильно опоздав, пришла на работу вернувшаяся из командировки Забугина. Она благоухала французскими духами и безмятежной летней улыбкой. Положив на стол Нездешнего отчет, она, скорее всего, не планировала вгрызаться в работу до обеда. Позвякала по своим личным вопросам, сообщила, как дела в пятом филиале, и стала собираться на обед. Нездешний изредка поглядывал на нее и сдерживал улыбку. Встретившись с ней глазами, он молча показал бровями на Ларичеву. Но Забугина умела понимать без слов. Она взяла Ларичеву за руку, мимоходом выключила ее «Искру», и они отчалили без лишнего шума.

— А мы куда? — сфокусировалась Ларичева.

— Под светлые своды нашей любимой столовой.

— Я кошелек не взяла.

— Какая трагедия. Отдашь после столовой. Ты извини, я не успела тебе рассказик отдать. Нездешний послал меня за билетом, и потом я совершенно замоталась... Ты давно не видела нашего друга Губернаторова?

— Давно. А какой рассказик-то?

— Ну, а какой ты ему давала.

Голос у Забугиной был подчеркнута безмятежный. Ларичева почувствовала, что пахнет паленым.

— А-а... А чего ж он сам-то? То все ходил, ходил в статотдел, а то вдруг и не передать... Не понравилось, видно.

Ларичева начала бояться.

— Да нет, наоборот. — Забугина ласково и лениво кивала людям, попадавшимся навстречу. — Ты знаешь, его ничем не удивить, а тут он

---

чуть ли не в шоке был. Это, говорит, мироощущение рабыни... Неужели у тебя такой бедный сексуальный опыт, чтобы так вот изображать любовь? Поговорила бы со мной...

— А при чем тут я? Это все женщины мира, которым раздвигают ноги насильно. Это же антилюбовь, пойми... Причем возведенная в правило. — Ларичева сжалась в комок, готовая отбиваться.

— Но это же не правило, не закон! Нашла одного маньяка и возводишь его в степень! Ты, Ларичева, с кого хоть списывала?

— С одного военного, ты его не знаешь. Родственник. Он мог преспокойно отделать женщину «насухую». То есть ему было наплевать, что она чувствует. Он думал о себе и только о себе. Он, может и маньяк, а его все оправдывают. А ее, кстати, осуждают. Да он и не маньяк, просто муж. И считает — ему все можно. А ей ничего нельзя. У мужа целая коллекция буфетчиц, а у нее, может, неповторимое чувство. И что ей делать? А ты что так заводишься? — Ларичева уже поняла, что дело не в этом.

— Да вот думаю, почему ты мне-то не дала прочитать сначала? Не потому ли, что в некоторых моментах на мою историю похоже?

— О! Я и несла тебе. Но тебя просто на месте не было, а тут как раз Губернаторов... Так получилось. Да какая разница? Тем более что на тебя, говоришь, похоже. И на меня похоже. И на всех нас, бедных. Но она же на тебя лично не похожа, почему ты так волнуешься?

— Да уж прочитывается.

— Ну, кто это знает! Другая внешность, другая судьба.

— Достаточно моего мужа и Губернаторова.

— Забуга, ты серьезно? Ну, ты с ума сошла. Разве я должна соблюдать твои претензии? Это не хроника, черт возьми, не фотография... Ты же прообраз! А она — образ, собирательный причем.

— Знаешь, мне не до уроков литературы. Не собираюсь заполнять словарь юного литературоведа. Я выпалила тебе эту историю под настроение. У каждой женщины есть свои светлые и темные моменты. Да, история насильственного полового акта имела место. Мне самой не хочется ее вспоминать. Потому что я была влюблена. А человек взял и резко перешел на фрикцию. Без слов, без предисловий. А я не могла отбиться, у человека было высокое положение. Но почему тебе хочется искать везде грязь? Да еще запикивать ее в рассказы? Неужели так интересно сидеть под кроватью?

— Какая грязь, Забуга? Ты разве не чувствуешь, что я люблю эту женщину? Плачу вместе с ней... Мне страшно хочется, чтобы кто-то ее пожалел, наконец, оценил по-человечески... То есть увидел, наконец, ее как человека, а не только как часть кровати. Я делаю ее жертвой, да, но прекрасной жертвой... Чтобы сильные наши половины, наконец, поняли, что они тоже бывают таким же крокодилами — в форме, с автоматом наперевес...

— Брось, Ларичева, никаких высоких идей, кроме смакования постельной сценки, там нет. Значит, я не могу с тобой разговаривать просто

---

так? Значит, всегда есть опасность, что мои женские тайны будут размazаны по твоим страницам?

— Ну, Забугина. Перестань! Ну, ты же не говорила мне, что это страшная тайна...

— А что это такое, по-твоему? Да ты ешь, ешь... У тебя бифштекс остывает... Я же и говорю, и ем. — Забугина ловко расправлялась с салатиками и рулетами, запивая пепси-колой. Потом легко промокнула ротик салфеткой. — Послушай меня раз в жизни... Я ведь не собираюсь учить тебя, как добиться художественной правды. Я в литературе ничего не понимаю. Но я тебе рассказывала шепотом, проливая слезы. Наверно, от этого история стала трогательной, художественной. И у тебя, конечно, соблазн! Но ты не подумала о том, что душевность, она может существовать только в таком единственном виде, для тебя и для меня? Стоит ее обнародовать, напечатать — она превращается в чернуху и грязь. В тишине это свято, а выставленное на обозрение — позорно. У каждого человека есть право на частную жизнь, это неприкосновенная вещь. А по-твоему, все может быть обобществлено и превращено во всенародную собственность, так, что ли? Значит ли все это, что ты подхватываешь то, что идет на выброс, и стряпаешь из этого свои сомнительные рассказы? Не кажется ли тебе, что это напоминает бомжей, которые роются в помойке?

Ларичева молчала. Возражения сдохли в ней после этой славной тирады. Главное — все было правильно, так правильно, что никуда не деться. Она, действительно, взяла в основу сюжета забугинскую историю, соединила с родственником-военным и получила грустную историю любви и непонимания...

Забугина наслаждалась произведенным эффектом. Она достала из обширной куртки свернутый в трубочку рассказ Ларичевой и бросила на стол.

— Сколько у тебя экземпляров этой гадости?

— Сейчас? Один. Это же только-только написано... Я всегда пишу сначала один, а потом правлю и...

— Так вот, я запрещаю это править и печатать. Ясно?

Ларичева не молчала. Она пыталась, конечно, сказать, что это первый такой большой рассказ, все же тридцать страниц, и тут ей впервые удалось заставить их заговорить разным языком, и отрицательные люди вышли живее положительных, и даже получилось похоже на пьесу: сплошь диалоги и действие происходит в одной квартире, это же драматургически выдержано... Можно поставить пьесу... Но Забугина права. Это предательство. А когда сам человек дрянь, вопросы творчества вторичны...

— Порви, — прошептала Ларичева Забугиной.

И та взяла толстый рассказ, аккуратно разделала на порции и порвала на мелкие части.

— Честное слово, больше нет экземпляров.

---

Забугина действовала по старинке. Она то ли забыла, то ли сделала вид непонимающий... Ведь текст напечатан на принтере, значит, он есть, он, конечно, сохранился в памяти компьютера. А может, она и не забыла. Просто дала понять, что данный опус данного автора подвергается проклятию и осмеянию. Такая публичная казнь!

...Ой, как больно, мама родная. Больше ведь никогда такое не написать. Не получится... Но вот Забугина идет и что-то говорит про Губернатора, а какой там Губернаторов, в углу техничка сгребает со столика останки рассказа и ругается на безобразное поведение посетителей. Она его мякает, мякает обрывки бумаги, наваливает сверху хлебные огрызки и лапшу в томате, но это же конец всему, простите меня все, прости меня, Забугина, мне жить неохота... Что? Нет, не слышала... Я ничего не слышала... Постойте, подождите, дайте дух перевести. Ведь Ларичева даже плакать не могла. Как же это начиналось-то?

Сначала был очередной рассказ в больнице. Там женщина, чудесная и ласковая, всем, буквально всем она помогала и советами, и словами, и делами. И всех она так называла — «ну, что ты, золотая». Ее за это все и прозвали «наша золотая». Когда лежала Ларичева там с сыночком, вот так вот повезло ей на соседку. Как оказалось, родила б она второго, если б не истерика ее супруга, который при очередной ссоре позвонил ее родителям и добивался, чтоб ее забрали. Такая месть была для Ларичевой просто непонятной. И непонятно, как родители все это пережили, у одного из них инсульт, а золотая вовсе и ребенка-то лишилась.

Потом Забугина под рюмку рассказала о романе. Наверно, это случай был один из ста, когда роман окончился ужасным разочарованием. Обычно же Забуга, наласкавшись досыта, сидела, будто сонная тетеря, пока не появлялся новый Он. И Ларичева странно так в башке соединила ту золотую из родама, Забугу, и себя, ведь героиня внешне на нее была похожа. А может, просто Ларичевой так хотелось, она считала жизнь свою удачной, но в подсознании сидело что-нибудь другое. На подсознание ногой не топнешь.

Болезней детских — вот чего у Ларичевой было много. Реанимация с отеком Квинке потрясла и перевернула ей всю жизнь. Маленькая дочка в четыре года после дикой простуды очень ослабела, а тут пошло осложнение на горло и глаза. Горло попросило, глаза никак. Прописали гидрокортизон, но не было в аптеке, дали эритромицин. После эритромицина зачесалось тело. После оmlета загорелись пятна — одно плечо, как обожженное. Ларичева с криком к участковому — направили в больницу: лекарственная аллергия. На другое утро она не могла узнать ребенка. Все лицо вздулось маской, переносица толстая, потом и кожа слезала клочьями. Чтобы остановить интоксикацию, стали колоть лазикс, дочку стало продолжительно тошнить. Ларичева сидела в этом боксе, обкладывала дочку мокрыми салфетками... Такое не придумаешь, не запишешь. Такое не забывается. Когда проступило прежнее дочкино лицо и ее лукавые глазки, Ларичева чуть с ума не сошла от радости.

---

Но за всем этим пробивалась еще какая-то подспудная мысль, которую Ларичева пока осознать не могла. То, что можно мужу и нельзя жене. Двойная мораль общества, которая позволяла одному все, другому ничего.

## АЛЛЕРГИЯ, УНИЧТОЖЕННАЯ НА БУМАГЕ, НО ОСТАВШАЯСЯ ВНУТРИ

Тревожный свет заполнил ночь. И темнота, разбавленная небом, и теплая заварка лампы. Ребенок все не спал, гудел, как трансформатор, а Гера все качала и качала. Стояла босиком, не чувствуя холодный пол, глаза не различали стрелки, время. Тут дверь открылась тихо, не скрипя, как крышка от шкатулки. Конечно, благоверный на пороге. Опять под утро и опять в парадной форме.

— Мадонна с мадоненком... Ну, одноклассниково... Отставить ужин. Если только чаю...

— Опять с мальчишника? И сильно перебрал.

Он медленно наставил автомат.

— Не смей перечить. Женщину воспитывают плетью.

— Разбудишь мне ребенка.

— Укачаешь.

Шарахнул выстрел, а потом другой. Ребенок сразу же захныкал.

— Ну, ты с ума сошел, ведь тут не полигон. Давай убей, потом удавишься от горя. Осколков-то... Да господи... Да почему же ты в крестах немецких, Боря?!

...Как подло жизнь вырастает в сон. Девчонкой Гера видела кино с любимой Роми Шнайдер в главной роли. Ее сжигали огнеметом, а муж потом все мстил, «снимая» фрицев из старинного ружья. У Геры страх наоборот, муж вроде фрица, с автоматом и в немецкой форме. А жар у сына вовсе не во сне...

И забываясь судорожным сном, сползая на пол, вскакивая с криком, он мало походил на человека. Укачивался жалобным «а-а», звал мать, но весь в горячке, хлопал по лицу. «Ну, что ты, маленький?» А маленький ее не узнавал, да и она его. Свет лампочки-гриба выхватывал из тьмы лишь маску — широкое тупое переносье, буграми кожа, волосы прилипли... А был такой до хвори сладкий и красивый, реклама, не ребенок... За непереносимость сульфаниламидов, а может, эритромицинов — лекарственная аллергия, дракон семиголовый. В слезах она бросалась снова к сыну...

Трое суток шла температурная осада, незаметно переходя из ночи в день. Гера боялась оставлять ребенка в стационаре и сама колола его по часовой графике. Приехали участковая, лечащий аллерголог, оценили обстановку. С трудом лавируя среди слов «кризис», «лазикс» и «синдром Симпсона-Джонса», Гера пыталась понять, насколько все плохо.

— Сегодня последний литический и супрастин... Шприцы в порядке?

---

— А? Что? Да, сделаю.  
— Так вот, страшное позади. Сегодня мы постараемся сестру при-  
слать, чтобы вы послали.  
— Да зачем, я сама...  
— Вы у нас, мамочка, молодцом держитесь, но передохнуть надо.  
Очаги уже локализовались. Поите обильно и не волнуйтесь...

Участковая погладила Геру по плечу и вышла. Гера стояла, как в стол-  
бняке, и не соображала, что делать. Напряжение многих часов не отпу-  
скало ее. Так, сначала надо вынести сброшенные Тимкой битые чашки.  
Мокрые полотенца. Не нужны теперь. Прокипятить шприцы... А где ко-  
робка с ампулами?

Она на диван опустилась, как в омут. Отдохнуть бы... Но тут же ахну-  
ла, вскочила — показалось, что позвал ребенок. Подбежала и вгляделась  
— спит. Часы давно стояли. А за окном тихонько разливалось неумест-  
ное в горе солнце. Гера напилась воды из крана, отыскала плед.

Укутываясь, Гера вспомнила, как беременная ходила на пляж и чтоб  
не перегреться, закапывалась в песок. Она старательно рыла углубление  
для себя и будущего Тимы, она была как будто бы большая черепаха,  
которая выводит потомство в песке. Она так хотела ребенка, который  
все не получался. А она знала, что получится. И может, состоянье тихого  
упорства и покорности одновременно ей помогло...

Она боялась и надеялась, лишь Боря Багрецов ничего не боялся и все  
воспринимал как должное. По случаю крещения первенца он закатил  
громкую пьянку, назвал десяток своих вояк. Ночь целую не смолкал тог-  
да в квартире хохот и грохот. Новоявленная мать смиренно качала первен-  
ца на руках и думала: «Как же так, велено ведь на руки не брать, а он  
только на руках и спит... И что это Боря расхотелся? Уж будто всем  
хочет свое счастье доказать! Все и так понимают...»

Под утро пьяный и великолепный Боря Багрецов сам вымыл всю по-  
суду и заявился в спальню требовать свое. Он заставил положить ребен-  
ка в кровать. Распутал поясок халата.

— Я тебе пеньюар купил или нет? Сколько раз говорить?

Поставил лампу-грибок на пол и стал смотреть, как женщина ежится  
и покрывается пупырышками. Потом накинулся с хрипом, как с горы  
свалился. Бесполезно было отстранять, умолять, мол, погоди, не сразу...  
Это у него твердо называлось любовь и никаких там. А эта женщина  
боялась насильного, боялась сивухи, отворачивалась. Но стоило ей заме-  
реть, отрешиться — делай, что хочешь! — он еще больше стальнел и  
грубел. Таких, как он, покорством не разжалобишь.

— Теперь вот так.

— Ну, хватит, Боря, хва... А...

Но нет, ему не «хва», он ее кидал и узлом завязывал.

— Боря, стой, он же плачет.

— Еще чего.

Ребенок заливался, мать рвалась к нему и всхлипывала, а Боря рабо-  
тал, как насос, даже с ритма не сбился.

---

Когда она, наконец, наклонилась над кроватью, набросив халатик на одно плечо, дите уже совсем развернулось и дрыгало озябшими ножками. Пришлось на скорую руку в темноте пеленать. Лампа, сшибленная в спешке ногой, закатилась под кровать. Но Боря лишь пророкотал:

— Неженка ты у меня.

И тут же заснул. Он свое захотел — он свое взял.

А Гера опять проснулась и вынырнула из слез, из той жизни — в эту. Она стонала от унижения, которое началось, началось, несмотря на штамп в паспорте. Она выгибалась как лук, забыв, что это уже как бы прошлое. Ведь вытаивало, уходило восхищение, толкнувшее ее к этому человеку. Как это пережить? Чем тушить сжигающую горечь?

— Мама, — отдельно сказал голосок, — мама, дай сок.

Это Тима! В себя пришел и запросил попить. Ну, мы теперь живем, ребятки! Сил будем набираться, выздоравливать, пора и в магазин сходить, а то еда вся кончилась. Папа служит в гарнизоне, там все пески да пески, целые горы песка, ни пройти, ни проехать. Мы должны все сами, сами...

Поздно вечером Гера прибиралась и мыла полы впервые за эту страшную неделю. Тимины рубашки развесила над плитой на кухне, и осталось только вынести на мусорку ведро. За гаражами на асфальтовом пятачке слишком высокий человек вешал белье, веревки ему были на уровне плеч. Днем она, наверно, не обратила бы на него внимания, но в сумерках он показался ей не просто грустным и одиноким, но и знакомым. Где-то виденным! Но память до конца не срабатывала. И вдруг он сам обернулся к ней, точно расслышал ее любопытство.

— Простите, «скорую» видел у подъезда, это не к вам? ..

— Да, это я вызывала, сын у меня с аллергией. Тяжело было, но кризис прошел, кажется. А почему вы решили, что ко мне?

— Да вы такая бледненькая, пережившая. Намучились, наверно. Я вас понимаю, у меня самого мама после инсульта. Куда деваться.

— Вы из нашего дома? — Гера была уверена, что да.

— Нет, из углового. А этаж один, и у нас с вами балконы напротив.

— А что это вы делаете с пододеяльником? Дайте.

— Что-то не так? Право, мне неловко с моим тряпьем...

— Да нет, нормально, только давайте я это сама повешу, а вы пока подержите это синее, оно может полинять на белый пододеяльник и весь ваш труд насмарку.

— Спасибо огромное, я редко стираю без мамы. Сегодня, знаете, сестру ждал с уколами, вот и замешкался до вечера. А она так и не пришла во второй раз.

— У вас проблема с уколами? Так давайте я сделаю, я сына сама колола...

— Вы для меня спасение! Провидение! Судьба! Простите, впрочем, я слишком...

— Не извиняйтесь. — Гера внимательно посмотрела на собеседника.

— Дело житейское. Я пойду, у меня ребенок один, хоть и спит...

- 
- Так я буду ждать вас завтра? Шестнадцатая квартира, не забудете?
  - Разве можно? До завтра...

Последние слова они проговорили шепотом. Потому что светлая северная ночь была поразительно тихой. Им ничто не помешало встретиться, перебраться первыми незначительными фразами. Никто не гремел, не шумел, не подглядывал. Пододеяльники важно надувались прохладным ветром и покачивались, как парусники судьбы. И темные тяжелые волосы женщины вздрагивали крылышками при каждом шаге.

О легкость шагов, когда смотрят тебе вслед...

О радость пасмурного утра, когда все тело ломит и глаза щиплет от недосыпа, но через окно видно полоску тюля на раскрытой балконной двери. Там, конечно, уже встали.

- Мама, дай сыр-р. Котлетку. Яблочко.

Победные позывные ожившего Тимы неслись по квартире, и Гера, улыбаясь, летала по кухне с тарелочками и сковородочками. Долой токсины. Долой печаль и горе. Живем, живем!

С балкона поклонился давешний сосед.

- Иду, иду, я только Тиму покормлю.

Она торопилась, а сама себе думала — ой, какой старый. Сколько же ему лет? Хотя какая разница...

Тиму пришлось взять с собой, и он тут же шмыгнул в глубину квартиры на разведку. Пока Гера кипятила иглы, он успел исследовать балкон и одежный шкаф в прихожей. Сосед как ошпаренный убежал в магазин, предоставив Гере самой знакомиться с больной матерью.

Слишком уж доверчивый... А недоверие — свойство низких натур, написано в календаре.

- Ты - бабушка? — бесцеремонно спросил Тима больную.
- Бабушка, — проскрипела старушка, — а ты кто таков будешь?
- А я серый волк, — не растерялся Тима. — Уколов боишься?
- Нет, не боюсь. Я от них вылечусь и встану.
- А вот мама тебе сделает «лазикс» — ты тошнить будешь, — nastавительно произнес Тима и удалился.

– Уже знает, что такое «лазикс»! — поразилась старушка. — Бедное дитя. Северин говорил мне, что вы помогли ему с бельем.

- Ну, ерунда.

– О нет, это чутко с вашей стороны. Вы так добры, что согласились прийти. Не придумую, как вас благодарить... И колете не больно. Вы разве учились?

- Да нет, сама. Ребенка жалко мучить по очередям.

- А матушка ваша?

– Ой, они далеко с папой. А муж в Средней Азии, в гарнизоне. — Гера зачем-то вылезла с этим мужем, кто ее только за язык тянул. Но старушка сочувственно закивала.

– Да-да, вам нелегко приходится. Но это временно, вы крепитесь, дорогая, мальчик подрастет, все уладится... — Она поправила ветхую

---

ночную рубашку из фланели, вздохнула. — А вот и кормилец наш пришел. Что, Сева, достал ли сливок? Тогда сделай мне чай по-английски. И гостью попоишь.

Чай со сливками был густой, ароматный, неимоверно вкусный даже без сахара. А тут еще был колотый рафинад и щипчики малюсенькие, мельхиоровые. Бутерброды, варенье...

— Но, Сева, ваш чай остыл уже.

— Вы сами пейте, я успею. Кстати, как вас зовут?

— Георгина, а по-домашнему Гера.

— Женщина-цветок. — Он покачал головой. — Тревожное имя. В нем одновременно и яркость, и увядание.

Привыкшая стоять на кухне во время завтрака мужа, Гера сильно смущалась и краснела. Здесь все делалось и говорилось ради нее. Она, забытая, тут царила.

— Ой, вы ничего не едите.

— Да не тревожьтесь вы об этом. Вот когда сидишь и в одиночку чай пьешь — о, да, все съешь и выпьешь, куда деваться. А ведь настоящий чай, как в старину — это не еда, но, прежде всего, беседа. Радость встречи друг с другом. И утренний чай, когда времени не так много, дневные заботы впереди, и тем более чай вечерний. Это праздник. Почти всегда — гости. И какие диковинные истории приберегались для этого, какие споры закипали... «Сила нечистая — наказание, ниспосланное свыше, или — простое продолжение порока, его материализация? Кто победит в дискуссии западников и славянофилов? В чем задачи искусства — зеркально отражать реальность, либо вставать над ней, стремясь к вечно недостижимой истине? Переводить ли сельские уголья на иноземные рельсы или искать своих путей?..» Но горячность в дискуссиях никогда не перелестывала через край. А какие чудные романы пелись в старых гостиных! Боже мой. «Она у вас просить стыдится — подайте ж милостыню ей, подайте ж милостыню ей...».

«Печаль и свет из лабиринтов памяти...» Наслаждались каждым звуком как яблочным ароматом. «А как вы варите варенье из китайки? Такой густой сироп и в то же время такая крепость плода... — Да, варенье много сварили, но что касается меда с новой пасеки...» — Да вы просто Левин какой-то! — засмеялась Гера. — И от вашего чая голова кружится.

— Левин? — усмехнулся Сева. — Без Кити Щербацкой.

Она внутренне запнулась обо что-то. Это он делает знак ей? Она сразу испугалась, заторопилась. Верней, засобиралась уходить, маскируя полнейшее нежелание уходить. Она выбралась из кухни и увидела, что большая мирно спит после чая по-английски, а Тима вытащил все пластинки и книги и построил из них домик.

— Тима, что ты наделал? Немедленно...

— Нет, Тима, ты молодец. — Сева заслонил безобразную гору на полу. — Хорошо поиграл. А я все уберу потом.

— Нам пора.

- 
- Да-да, понимаю.  
«Что он понимает? Что я не хочу быть за Кити?» — подумала Гера.  
— Нам еще надо гулять, варить обед, в магазин, в поликлинику...  
— Конечно. Только вот это возьмите.  
— Что это? Зачем? У нас есть деньги, мы ходим...  
— Возьмите — это молоко, ромштексы, хлеб ржаной. Я же только что из магазина, мне нетрудно, а вам меньше заботы...  
— Но мне неудобно.  
— Все удобно. Вот еще болгарский компот — маме выдали как ветерану, но она не переносит слив.  
— Спасибо. Как бы я без вас...  
— А как бы я? Как бы мама? Они там, в поликлиниках, совсем не волнуются, жива ли пациентка, что с ней без укола случилось.

Гера укладывала пакетики в чужую сетку и нарочно долго возилась, чтобы отдалить уход. И тайно смотрела на него, запоминала, чтобы унести с собой. Слишком длинные русые волосы, как у поздних битлов. Большие глаза с тяжелыми веками, глубоко посаженные под сумрачным лбом, в резких складках худое лицо. Весь какой-то долговязый, продолжительный, практически неподвижный, хотя все время что-то делал. Рубаха на нем была большая и линиялая, потерявшая цвет и смысл, похожая скорей на старый парус. Рукава завернуты. Один рукав развернулся, и стало видно постыдную бахрому. Может, бедность. А может, равнодушие к материальному. Кто знает.

Через несколько дней Сева зашел и предложил погулять с Тимой. Оказалось, к его маме приехала из Норильска сестра, тетя Броня. Стало быть, присмотр маме обеспечен, да и поговорить им есть о чем.

— Когда я выходной в одном месте, могу и должен приносить пользу в другом.

— А он пойдет с вами? — озаботилась Гера. — Он все с мамой да с мамой.

— Договоримся. Тима, ты куда больше хочешь — в зоопарк или просто в парк, на карусели.

— Я к бегемоту.

И пока они ходили в зоопарк, потом к тете Соне-тете Броне на обед, Гера тихий героизм проявляла — белила кухню. Она боялась, что такого хорошего случая больше не выпадет. А вечером Сева пришел и помог ей все мыть. Он высоко доставал, полки вешал без табуреток, при минимуме усилий был так легок в движеньях. Гера на это удивилась: как будто от рук все само летает. Он ответил, что привык все делать сам. Но и Гера все делала сама, и Боря все делал сам. Хитрость в том, как упоительно то же самое делать вместе. Она мыла залитую побелкой газовую плиту, он скоблил решетку.

— Сева, это не надо. Вы самое тяжелое сделали, остальное уж ладно. Ну, мне неудобно, я и так...

---

— То я извинялся, то вы теперь начали. Сколько можно? Вам не приходит в голову, что мне вовсе не хочется отсюда уходить? До утра бы стал эти решетки скоблить.

— Но ваша помощь уже зашла за границы простой вежливости. Вы же...

— Мне кажется, помощь вам нужна не только с решетками.

Он наклонился со своей башенной высоты к ее губам. Невозможно, немислимо... Боря всегда втягивал по плечи, до полного отключения кислорода. А тут — тихо-тихо, робко-робко, ворожа, обволакивая. Тело стало тяжелым и теплым.

— Я... Я в побелке, — выдохнула Гера.

— На вас грубые следы бытия. Но сами вы совершенство.

— Почему?

— Разве надо доказывать? Потому что у вас в лице нет ни одного колючего угла, ни одной ломаной линии. Где слезинки выступают — тоже овал. Глаза, рот — все круглое, губы пухлые, как у негроидов, смуглая кожа мулатки... Так и видишь, как пробирается это грациозное существо через буйную зелень сельвы...

— Ничего себе мулатка. Ходит по вечерам на мусорку с помойным ведром. А вы скучно вешаете пододеяльники.

— Но с тех пор я полюбил нашу мусорку. Хожу туда по делу и без дела. Я в бешенстве, что мусорное ведро заполняется слишком медленно.

— А мне нравится белить. Полки вешать. Решетки чистить...

— И ничего теперь не мешает, верно?

Гера засмеялась.

— Совесть мешает.

— Совесть всегда мешает получать удовольствие. А вы преодолевайте преграды. Давайте, например, ночевать на этой кухне. Здесь так чисто, это очищает...

— Ночевать мы не будем.

Трах. Повисла пауза.

— Как хотите, дорогие девятиклассники. Хотя мне казалось, что вы уже перешли в десятый.

— Я вас обидела, простите как-нибудь. Но с вами говорить так приятно. Не хочется останавливаться. Знаете, пойдете, сядем в комнате. Тима спит за дверью, он не проснется. В баре есть какая-нибудь красивая бутылка. И поговорим.

В баре действительно оказался финский клюквенный ликер. Сева не любил ликер, но не стал признаваться. Он видел, что человек изголодался по людям. И хотя у него на уме было совсем другое, он улыбался. Пусть стихии отбушуют. Видно же, что она сильно заинтересована, но что-то ее держит. Что?

А Гера и сама не знала. Она попала на конвейер и неумолимо двигалась. Иногда ей казалось, что ее двигают против воли, но чтобы как-то воспротивиться — ни сил, ни времени не было. А тут конвейер выключи-

---

ли. Можно соскочить и увидеть, что же происходит-то. Прожила на свете двадцать пять лет, а без толку. Одно горе беспросветное.

— Тогда мы еще всей семьей тут жили. Это потом мама захотела разменять квартиру, и они уехали на родину. А я была обычная домашняя девочка, никуда не ходила. Институт здесь же кончала, но по танцулькам было бегать лень, не люблю такое тра-ля-ля. Зато Лиана Столова везде, везде мелькала, это подруга моя. Она и билеты в Дом моряка принесла. Еле уговорила пойти! А там — столько народу! Багрецов в парадном обмундировании, цвет индиго с золотом, на погонах молнии... Конечно, он и сам был красивый. Жгучий брюнет, украинец, крутая бровь, баловень всеобщий. Все вокруг таяли, вот и я...

Массовик-затейник придумывал всякие глупые игры, например, подбрасывал незаметно золотые часы, потом якобы находил. Багрецов стоял с завязанными глазами, потом по сигналу пошел ко мне и вытаскивал часы из моей сумки. Все засмеялись, я чуть не провалилась. Пошли танцевать...

— Польку или краковяк? — участливо спросил Сева.

— Какой краковяк? Вы издеваетесь? — опешила Гера. — Никто теперь не помнит... Буги-вуги помнят, а это... Нет, мы танцевали танго, вальс... Багрецов партнер хороший... Ой, вы просто с толку меня сбили.

— Да я пошутил. Продолжайте. Танцевали танго, он вас обнимал...

— Ну да... Спросил, как зовут. А как услышал, так сразу — «Георгина Багрецова, звучит!»

— Георгина Краевская. Тоже неплохо звучит.

— Вы опять. Сева, вы разве не понимаете, что мы это не должны обсуждать?

— Почему? Поговорить и то сладко. Больше не буду. Дальше.

— Дальше Лина Столова стала нагнетать, мол, не упускай свой шанс. Маме разболтала. Родителям он сразу понравился, одобрили. Как такого не одобришь? Любил нагрнать, засыпать подарками, блистать, быть в центре. Он и сейчас такой, знаете, победитель. Гремит, как КРАЗ, и прочь с дороги.

— Значит, все хорошо? Сильный самец, победитель, все верно.

— Нет, не все, подождите. У меня было нехорошее предчувствие, но я не могла это ничем подтвердить. Все твердили — не капризничай, чего еще искать. А я и не искала, знаете, мне хорошо было и так. Это родители с ума сходили, что я одна останусь. И Лина тоже. Мне надоело это тра-ля-ля про последний шанс, я решилась.

— Разочаровались?

— Сначала — нет. Боря умеет ошеломлять. Как поженились, велел с работы уходить: на пивзаводе технологом была. Заявил, что не позволит мне в таком значном месте находиться. А чем оно значное? Линия по разливу пива и безалкогольных напитков импортная, халаты на всех белые. Может, он думал, что там все сусло из автоклавов цедают? Смешно. В общем, ушла с работы. И по дому строгости проявлял — готовь ему вкус-

---

но, пеньюар переодевай. Пеньюар немецкого дедерона скользкий, холодный, я сразу его возненавидела. Я холстинку люблю, батист — простое, к телу льнущее. Свитер себе связала из лоскутов, юбку сшила из пестрого драп-хохотунчика. А он кричит — выкинь одежду старушечью, не позорься. Должна соответствовать. Но я, наверно, не гожусь в идеальные жены. Особенно если учесть сегодняшнюю побелку... А вы как думаете?

Но Сева быстро ответить не мог, потому что он целовал, целовал ее руки, колени, забрызганный побелкой халатик, он не хотел парадно воссесть в кресле напротив либо рядом, он сидел на полу возле ее ног, похожий скорей на побежденного, чем на победителя. Но он и не хотел ничего другого.

— Бесценная женщина, вы сама не понимаете, какая вы... Георгины появились на месте последнего угасшего костра. В царстве мрака и холода, когда по земле угрожающе полз ледник, полыхание цветов было знаком, что этот холод не вечен. Что жизнь и радость воскреснут когда-нибудь. Это такой символ... А вы все время думаете о внешнем, о том, как это со стороны. Но главное — это вы сами. Как вы ощущаете, лучше или хуже от этого вам.

— О себе думать грех, надо думать о тех, кто рядом. Чтобы им жизнь облегчить.

— А если ваш супруг думает не о вас, а о своем реноме?

— Нет, обо мне, он на свой лад меня любит. Как та девушка у Лавренева, которая застрелила своего белого офицера. Как матрос, что ударил женщину утюгом.

— Оригинальное толкование любви, ничего не скажешь.

— А это не я придумала... Ну, вот вы. Вам понравилась женщина, у вас сразу мысли — целовать, ночевать... Вы же не о женщине думаете, а о том, как ее... победить. А она думает совсем не об этом. И если не будете разбираться, ничего для себя не добьетесь.

— Надо же, Гера, вы такая юная, когда вы успели так ожесточиться? Добиться, интересы... Ведь это не война, не торговля... Вы рассказали свою историю, теперь послушайте мою. Вас не оскорбит, что я при вас говорю о другой женщине? Все-таки я немолод, полжизни уже прожил...

Я обнаружил ее в филармонии. Полупустой зал, вечер скрипичных опусов. Она нахохленная, в белом свитере. Прозрачные виски и вены на запястьях. Ненадежное, хрупкое существо. Комок из нервов, прикоснуться было страшно. Ходили по концертам и по мерзлым паркам, и разговоры наши были страшнее холода. Я мог после вечера в ее общежитии уйти совершенно раздавленный. Мне трудно было угадывать ее капризы. За грубости и ошибки она наказывала меня, прогоняла... И я учился понимать по мелочам — по возгласу, по жесту... Однажды мы сидели у нее, она опять хворала и лежала вся в жару. Она вообще болела слишком часто, добивая себя коньяком. В тот раз я обложил ее горчичниками, грелками, сел рядом. Она наслаждалась, видя, как вожусь с ней, прикос-

---

нуться к ней не смея. Гладил руки, волосы, целовал — смешно сказать — ее одеяло. Тогда она, постанывая от горчичников, вся мокрая и горячая, вдруг указала мне лечь, глазами указала. Я забито стал раздеваться, я слушался ее, а тут еще и то, о чем мечтал. Через минуту она сама упала мне на грудь прямо в этих горчичниках, мы обезумели, все перемазались... Великодушно извините... Когда такое повторялось, я не сомневался, что нужен. Она умела дать понять. Известие о ребенке потрясло, я тут же сделал ей предложение. И получил отказ! Умолял ее, как только мог, но бесполезно. Мне не хотелось дальше жить, вы знаете... Даже матушка не догадывалась, насколько я был близок к тому, чтобы ее покинуть.

Все оказалось просто: не любила. Лишь только так, чтобы забыть другого. Ну, как горчичник. Маленький ожог, потом выбросить. И самое горькое здесь то, что она все же вышла за того, кого пыталась забыть. У нее остался от меня ребенок, но любила она не меня. А его. Который издевался, бил, но «имел на это право»... Я не опасен, уверяю вас. Ну да, я тут у ваших ног, но ровно столько, чтобы не наскучить. Скажите, о чем вы грустите? О пестрых юбках? Но, золотая моя, вы еще такое дитя. Конечно, вы устали уступать, забудьтесь. Но если он вернется, все пойдет по-старому. Все только так, как захотите вы.

Гера неслышно убирала капельки со щек.

— Нет, я не хочу так. Так нельзя... Жестоко. Но у вас, как у меня. С чем столкнулись — то и стало застить всю жизнь. А может — не все такие, как она, как... Должно когда-то перестать наказание... Я раньше думала — высшая жизнь, в которой смысл и жалость — она только в книгах и кино. А с вами говорю и получается, что эта высшая жизнь прямо тут, настоящая и есть. И вроде даже не вы ее принесли или сделали, а идет она из меня, из глубины моей. Ничего не понимаю! Всегда была глупой, никчемной, мне все указывали, я слушалась. Но вот сейчас как будто и меня спрашивают, как будто и от меня что-то зависит. Я тоже могу казнить и миловать! Так приятно, радостно это. И почему я ничего сама про себя не знаю, а вы чужой и говорите мне про меня же? Про георгины вы раньше знали или специально стали искать, когда имя услышали?

— Нет, раньше я не знал. Я тогда после первого вашего укула достал из завалов книгу под названием «Легенды о цветах». Там стал искать георгины, а потом еще много чего нашел. Прелестное издание. Вам ничего, что я так бесцеремонно разлежусь на ваших коленях?

— Это — бесцеремонно? Впервые вижу, как высок человек, опустившийся на колени. Не спускайтесь же оттуда...

И вот так они просидели всю ночь. Она в кресле, он рядом на полу — о, оборванные, неприглядные влюбленные, чистые люди в грязной одежде, руки не могли расцепить. И ночь жалела их, не кончалась, она струилась и лепетала. Являлось простое, хотя и самое зыбкое на свете чудо: когда начинаешь вдруг ценить не себя, а чужого. Не свою, а его усталую и беззащитную жизнь. Когда это случается, какие обстоятельства сопут-

---

ствуют — никакой разницы! Люди встречаются на белой корабельной палубе, на закуренной тамбурной площадке, в театре или на помойке, как в этой истории, но разъединенные половины сближаются и вспыхивает дуговая сварка. И они уже одно, где бы ни находились. Одно, даже если не слились в любовном объятии. Одно, даже если расстанутся.

Раньше Гера торопилась на кухню прибежать, галопом сварить суп и еще быстрее убежать. Ей было некогда разводить пожиже, ее утро уходило на магазин и гулянье с Тимой, а после обеда, когда он спал, хотелось и пошить, и почитать. Но на сей раз Гера на кухне застряла. Суп она варила на две кастрюли сразу, чтобы облегчить жизнь тете Соне и тете Тоне. А потом — ей хотелось поварить варенье из китайки, попалась дешевая в овощном. Может, уж не такое царское варенье с усадьбы, про которое ей вещал Сева Краевский, но все же. За Тиму тоже можно было не волноваться, Сева взял шефство и строго следил, чтобы Тима и общался, и не дрался, и рыл норы в песке, и не был мокрый.

Гера как раз мыла яблочки и раскладывала на газеты сушить, когда пришла Лина Столова, кудрявая душенька нового времени. На ней всегда было все новое, модное, и вечно на ней лопалось. Вечно она приходила с ворохом новых шмоток и новых сплетен! Веселая и загорелая, она обняла худую, в облезлой цыганской юбке Геру. И сразу начала энергично хрустеть упаковкой.

— Ну и Зверев, ну и отколол коленце... Представь: идет сегодня по проспекту, рядом вертихвостка. Он ее за плечи держит... Кстати, что ты ко мне не пришла в выходной, как обещала? Мне бы не пришлось всю эту гору к тебе тащить по такой жаре.

— Как бы я пришла, если Тиме «скорую» вызывала? Аллергия опять.

— А сейчас?

— Сейчас уже все. Так что там Зверев с вертихвосткой? — Гера удачно вспомнила, что Зверев у Лины последняя любовь.

— Вот слушай: он ее за плечи, она его за талию, вообще прижались. Бесстыдство. Но я хоть бы что, ты мою выдержку знаешь. Поздоровалась и дальше. Пусть, подлец, перед женами отчитывается. А через десять минут зашла в кафетерий попить, он ко мне пилит — познакомься, говорит, Лина, это моя дочь. Я чуть с катушек не полетела.

— Почему? Подошел, признал... — Гера отставила супы и начала наводить сироп.

— Как почему? Неужели ему в момент зачатия пятнадцать было?

— А ей сколько? — заинтересовалась Гера.

— Наверно, столько же! Ему же недавно тридцать отмечали! Нет, это провокация. Хочет на мой возраст намекнуть. Старуху с меня делает.

— А если правда дочь?

— Тогда мне придется в ящик сыграть... Рубахи мужские тебе не надо...

— Нет, покажи.

— Зачем? Борька всегда сам выбирает, а его нет.

---

— Вон та сколько?

— Цена ручкой написана на пакете. Детский трикотаж — конфетка. Не берешь? А вот это для тебя, крепостная. Шелк с люрексом. Лиф слишком открытый, правда, голые плечи — это для детей миллионеров, но зато и накидушка есть, смотри. А юбочка плиссе каймовая! Предупреждаю — при стирке не расхочется, у меня черная такая. И зеленое тебе идет.

— Лина, ты откуда знаешь, что зеленое платье — это моя мечта?

— Так я тебя не первый год знаю. И в тряпках кой-чего волоку. Меня просто возмущает, что жена офицера лучшие годы проживает в затрепанном джинсовом платье. А эта зеленая хламида делает с тебя даму... Да меряй скорей, влезай на мои шпильки, ничего, у нас один размер. На лиф не обращай внимания, блузон запахни... Волосы можно на одну сторону, подначесать и приподнять... Ну, как?

— Лина, это не я. Ой, не могу, не я, а дочь миллионера.

И тут Гера заметила стоящего у косяка двери Севу. Он смотрел на женскую возню благоговейно, в глазах переливалось что-то вроде слез.

— Что случилось? Тима?..

— Тима построил дорогу и отправил меня за самосвалом.

— А-а... А как я вам — в зеленом платье?

— Как смуглая наяда в солнечной листве. Как божество, явившееся смертному, после чего сердце его разорвалось.

Наяда сморгнула каплю и покачала головой. Лина смотрела, смотрела, ничего не понимала, потом вспылила.

— Герка, что происходит? Кто этот сумасшедший? Что он несет? Да вы, оба, наверно, рехнулись.

— А почему вы допрашиваете меня, сударыня, по какому праву? Вы что, Всевышний?

— По праву близкой подруги и наперсницы!

— Ах, так. Тогда я вам отвечу: трагедия началась с пододеяльника...

— Лина... — Гера вышла из обморока. — Лина, это Сева. Он гуляет с Тимой, потому что я делала уколы его маме. Сева, это Лина, не обижайтесь на нее, она мне помогает жить. Лина, у меня к тебе просьба — никогда и никому...

— Да что я, не человек, что ли? Так бы и сказали. Ф-фу, ну и напугали. Стоим столбами, в то время как ребенок там один.

— Да! И его кормить пора. И кстати, варенье надо выключить, оно, наверно, выкипело совсем... — Гера заторопилась.

— Стой! Куда в парче на кухню? Герка, с этикетками...

Послушная Гера, у которой транзисторы замкнуло на массу, взяла и тут же зеленый пышный наряд сбросила. Она не учла тот фактор, что в квартире находится чужой мужчина, вернее, чужой для нее в глазах Лины Столовой. В ее-то глазах он был уже не чужой. Но Лина Столова расценила этот рывок по-своему и ринулась прочь из комнаты.

А для смертного человека Севы Краевского это было уже слишком.

---

Больше он оставаться у косяка не мог, у него тоже замкнуло на массу. Он шагнул, поймал руками этот ветер, эти ребрышки, глотающее нежное горло, нырнул в него и стал его пить взахлеб. Теряя сознание от счастья и от боли, он услышал прохладные пальцы на своем затылке и как они скользнули по спине. Загремели симфонии, отпевая их грешные души.

Гром и молния. Сильнейший разряд прошил их бедные тела одновременно.

А Боря Багрецов, как и положено путевому мужу, прибыл домой неожиданно. Зорко оглядел квартиру. Ковер вроде вычищен, в холодильнике борщ и ромштексы. В баре сухое вино, ликер. Кухня свежей побелкой сияет. Остался доволен: «моя школа». Раскрыл чемодан, кое-что выложил и пошел в ванную, не заботясь о хозяйке. Где, что — придет и сама все скажет.

Гера с Тимой пришли домой поздно.

— Аа! — Тима схватил себя за щеки. — Кто-то к нам приехал.

— Это папа-герой с войны приехал, — сказала застывшими губами Гера, — беги к нему скорее.

Боря сидел и улыбался, ни слова не говорил.

— Боря... — голос у Геры осип, — прости, мы засиделись у соседей. Это рядом, в доме напротив.

В глазах у нее все качалось. От такого — даже если ждешь — все равно жутко.

— Да ладно. — Багрецов покровительственно сгреб ошалелое семейство в стальные ручки. — Что-то раньше никакие гоштинны ты не любила. Приличные люди хоть?

— Там тетя Соня, тетя Броня и дядя Сева, они раньше были поляцкие. Мама тете Соне колола уклы вместо врачихи, — затрещал Тима.

— Ну, это не одобряю. Сын дело родное, а перед чужими не позволю. Жена офицера не должна...

— Да старушка, ветеран войны, умирала. Что ты, Боря...

— Коханые, приехал спешно, без подарков. Только казахстанский мед, пакованный на экспорт. Все завтра. А сегодня краткий ужин и здоровый сон.

— Ты в отпуск?

— Не совсем. Возможен перевод по службе.

Но вот и ужин, и сухое, и мед подарочный на пробу — все позади. Конечно, Тима расхотелся, он не хотел ложиться спать, завелся от вида живого отца. Гера бормотала ему сказочку и кажется, впервые не хотела, чтобы он вообще заснул. Но вот и маленький затиш.

Роскошный Багрецов склонился над женой.

— Ты как всегда без пеньюара.

— Но ты ведь неожиданно.

— Наверстывай весь пропуск на ходу.

— Сегодня бы не надо... И ты устал, и я.

— Устал? Да я соскучился как черт.

- 
- А вдруг у меня женские капризы?
  - У тебя, милашка, могут быть только обязанности.
  - Да Боря, я ведь не рабыня.

Он выпрямился.

– Бунт на корабле. Попытка свергнуть капитана. Слушь, ты развилась без меня. Но мое мне отдай.

- Как ты можешь? Я была влюблена в тебя...
- И будешь.
- Не буду. И руки убери.
- Женщину воспитывают плетью.

Он взял лежащий рядом пеньюар, ловко захлестнул вокруг диванной ножки и связал ей руки.

- Но это подло.
- Подло то, чем ты тут занималась без меня.
- Закричу ведь.
- Не закричишь, ребенка жалко. Придется проучить...
- Это тебе учиться надо, ты, солдафон такой, только и можешь, что... А...

– Поговори еще. Университетов захотела? А я тебе без книжек... Без книжек, вот так. Теперь вот так.

И он ее мотал и мотал, пока не выбился из сил. Потом встал и в плавках ушел на балкон курить. И думал: «Хороший шанс судьба дает, а эта фря мне может все испортить. Туда без жен и не пускают... Сейчас взвоньется — к маме, к папе. А я не глупый, я не дам».

Пришел и отвязал:

- Можешь сходить, если приспичило.
- Она встала и упала. Он глянул на нее с презрением.
- Брось дурить, Герка. Погорячились, бывает...
- Насильник.
- А ты не доводи. Строптивя.
- Наоборот, я размазня. Но тут придется от тебя уйти.
- Только попробуй. И набью.
- И убить можешь, только все, потерял ты меня.
- Посмотрим.

Оделся Багрецов и вышел. У Геры же — ни сил, ни слез. Никогда еще так больно не было. Горящая, растоптанная, в разодранной комбинашке, с опухшими губами, прислонилась к балконному косяку. Кому жаловаться? Какими словами? Кому падать в ноги? Для всего человечества она была подсудимой, а Багрецов — правым. Не придет больше жизнь ее, не защитит, не забаюкает. Ведь и его предала она, отдавшись этому...

Пришел повеселевший Багрецов, красивый, в капельках дождя.

– Звонил твоим, предупредил, что могут тебя, шлюху, забирать. Да стерегут пускай получше, может, и прощу.

- Ты — маме? Такое — ночью? Господи.
- А пусть получают, раз такую воспитали.

— Да какую?

— Гулящую.

— Но ведь это наши дела! Зачем стариков? Сердечный приступ может быть...

— Сама виновата. Так что можешь ехать, они в курсе.

— Это безумие. Тебе не жалко никого. Тиму выписали в садик, мне на работу.

— Ничего, отпросишься. Сейчас шагом марш в постель, поспим, дела отложим на утро. Ухажера твоего подождем. Не выдержит, прибежит. Посмотрим, на что ты клюнула...

Все было так, как он сказал. Утром Гера в похмельном состоянии собрала Тиму в садик. Стараясь сделать для него хорошее, будто заглаживая перед ним настоящую и будущую вину, она достала ему васьильковый трикотажный костюмчик, узорчатые гольфы с помпонами.

В зеркало на Геру глянула заплаканная мордашка. А шея, с ума сойти. Придется Борины выходки крем-пудрой замазывать... Именно в этот момент пришел тот, кто не должен был приходить.

— Здравствуйте, Георгина Викторовна. Соболаговолите представить меня супругу... Здравствуйте, сударь... Одну минуту, я только вручу цветы. Примите их, Георгина, возможно, вы не любите гладиолусы, но здесь без них не обойтись. Видите, они бушуют как вселенский пожар, в языках их пламени — жертвоприношение. Они выросли там, где радиатор отказался от боя, там, где не было места ненависти... Не надо плакать. Держите их, вот так. Не опоздайте в садик. Счастливо, Тимофей.

Гера шла по улице в пламенеющих стеблях. Это было невыносимо и дико, хотя в сущности, что тут дикого? Это нормально. Просто кто-то обожал Геру, и это стало явным для всей улицы. И улица оборачивалась ей вслед.

— Тимочка, ты думаешь, дядя Сева хороший или плохой?

— Хороший.

— А ты с кем хотел бы жить — с папой или дядей Севой?

— С папой.

— Почему?

— Потому что он солдат и герой. Он нам все покупает. А дядя Сева бедный.

— Как это бедный? Плохо одетый?

— Да, и у него страшные бабки Яги.

— Да что ты, Тима, просто они старенькие, больные.

— Все равно. Дядя Сева плакса и ты стала плакса. А папа никогда не плачет. Он герой.

— Ну, я не буду больше плакать, умница ты моя. А ты иди себе в садик, живи хорошо.

На работе Геру сразу отпустили. Начальник собеса настолько редко видел ее на работе, что с трудом вспомнил, а как вспомнил, заявление на отпуск подмахнул не глядя.

---

Обратную дорогу она прямо пролетела. Она думала — а что там могло произойти? Мордобой? Дома никого не оказалось. Что до холодного трупа, то это уж совсем большое воображение. Нельзя опускаться до галлюцинаций. Багрецов мог просто уйти за билетами. А Сева — тот не позволит ничего, никогда...

Она побежала до квартиры Краевских. Их дверь была открыта, точно ее ждали. Навстречу ей медленно выплыла с палочкой тетя Соня, бывшая пациентка.

— Тетя Соня, вы встали!

— Да, Георгиночка. И хотим, чтоб вы тоже не упали, удержались. Мы ведь с Броней все видим, все понимаем. Вам и так сейчас тяжело. Но для нас Северин — единственный ребенок, единственная радость и надежда. Мы видим всю романтичность и всю горечь вашей встречи, и мы тоже полюбили вас. Вас обоих с Тимошей. Если уж встанет вопрос о разрыве с супругом, то поверьте... — Она задыхалась! Тетя Броня, оставив блюдо с перебранной крупой, поспешила к ней, обняла утешительно. — Поверьте, мы готовы теперь же... И станете вы венчаться, либо изберете гражданский брак, это дело ваше. Помните только, что вы нам не чужая и мы на вашей стороне.

— И вы не считаете меня... плохой?

— Ну, где же плохой... Вы просто золотая...

Гера, дрожа, обняла тетю Соню.

— Спасибо, конечно... Только я недостойна ни вашего доверия, ни его... Кстати, где Сева?

— Где ему быть. На службе, сидит в своем ПДБ, обхватив руками голову. Вряд ли он теперь способен нормально работать, но есть долг, обязанности... Он ждет вашего решения, ждем и мы...

— О чем вы, тетя Соня? Для меня нет никого, кроме Севы.

— Герочка, золотая, вам приходится думать не только за себя, но и за сына. Сыночек, это свято. Помните это, как бы ни было горько. Когда-то и я проявила характер, и Сева остался без отца, ведь это грех. Понимаете?

— Хорошо. — Гера как-то вся опустела и отрешилась. Она простилась с тетей Броней, с тетей Соней, героем войны и всей своей жизни.

Тетя Соня перекрестила ее перед пыткой...

Дома дверь квартиры тоже была открыта. Что такое? Полчаса назад никого не было. Дрожа все сильнее и удерживая себя от дрожи руками, Гера несмело продвинулась в прихожую. Под ногами хрустело. Цветы! Гвоздики, розы, гладиолусы, даже ромашки... Их были снопы. Наступать было неловко, все ж таки живые, у каждого своя легенда... Она раздвигала их носком туфли.

Было тихо. В комнате сидел Багрецов с рюмкой в руке и смотрел телевизор.

— Иди, не бойся, Гера. Я не буду с тобой спать.

— Сначала скажи, что здесь было утром. Что ты с ним сделал?

— А тебя не волнует, что он со мной сделал?

---

– Что тебе сделается, бугай. А главное — он бы и не сделал. А вот ты...  
– Ну-ну, как мы голосок на мужа повышаем. Могу сказать одно: мордобоя не было. Бить такого облезлого...

– И оскорблять он не умеет. И ты его подошвы не стоишь.

– Ладно, ты не кидайся, сядь, поговорим. Возьми, вот, глотни рюмку. А то все на крике.

– Пить с тобой, сейчас? Ты соображаешь?

– Глотни, говорю. Как лекарство. А то ударишься опять в истерику и все. Возьми себя в руки.

Она молчала. Багрецов вел себя слишком заботливо. От этого было еще страшнее.

– Ты знаешь, Герка, как мне все дорого доставалось. Я сирота, пробивать меня некому. Но я сам все делал, о других не забывал. Ты знаешь, сколько у меня друзей.

– Это не друзья, а собутыльники.

– Детали. Всяк оттягивается по-своему. Так вот: меня учили уметь и выживать, но каким местом сильней любить — это в детдомах не проходили. Тебе опора в семье есть? Твердая рука, достаток — есть? Есть. Так тебе тонкости подавай! И ты ради этого до прямого б...ства...

– О, ты же у нас простой. И слова у тебя простые. Я все это наизусть знаю.

– Да ладно подкалывать. Ну, может, перестарался я на стороне, ну, может, от меня полгарнизона парней родилось, так кому хуже от этого стало?..

– Меня не волнуют твои шашни с буфетчицами!

– Опять дергаешься. Что ж тебя тогда волнует? Тряпки — не отказываю. Цветы — завалю. Вон полная прихожая. Гладить перед этим самым? И всего делов?

– Тебе не поможет гладить, слышишь? У меня на тебя аллергия. Бесполезно.

– Тогда ставим койки в разных углах и кранты. Не притронусь. Что-бы ты отошла...

– Я отойду — когда отойду подальше. Ты скажешь, наконец, что тебе надо?

– Прости меня, такую сволочь, но...

– Что? Ну, что? Не могу больше...

– Не разлучай с Тимофеем.

Хлынули слезы. Она смахнула их, глотнула из рюмки раз, другой. Надо же, коньяк купил.

– Ты так любишь сына?

– А ты? — он смотрел пристально, видимо, сомневался.

– Не надо торговаться. Оба любим, дальше что?

– А то. Есть возможность кое-что для него сделать. И сделаю, если не помешаешь.

– Что ты можешь сделать? Воспитать его своим подобием?!

---

– Увидишь.

– И он увидит в конце концов, что мы чужие, пропасть между нами. Такое не скроешь.

– А мы не себя должны кохать, а его. Я тебе свободу. Ты мне ребенка. Чуешь? Только не надо этих скандалов, разводов, хренота все это. Людям на потеху.

– Ты хочешь сказать, что...

– Говорю: малый добрый, тебя любит до соплей, черт с вами. А меня есть кому утешить. А?

– Родители, родители...

– А родителям отстукаю телеграмму, что мол, помирились. Идет такой вариант?

– Не знаю. Если только как перемирие.

– Уже дело. Бачь, как очухалась после коньяку. И глазки блестят, и котелок варит. Так я поеду за Тимой, мы заскочим в пару магазинов – игрушки купить. Кстати, этот сад где?

– За венгерским рестораном, как на зоопарк поворачивать. Если сойти после ресторана, то по улице назад вернуться...

– Разберусь. Ты отдыхай пока, допей, если хочешь. А туда, – он мотнул головой на балкон, – хоть сегодня не шляйся. Успеете еще.

И с грустным видом вышел! Что-то, а грустный честный вид он сделать мог. Только зачем? Как будто уж и правда отпускает. Так она и поверила.

Гера наклонила голову, ничего не ответила. Одна ее половина так устала, чуть не задохнулась от ненависти. И теперь бежала спасаться по лестнице туда, в соседний дом. А другая ее половина собирала с пола цветы, распахивала в ведра, банки и кастрюли. Цветы не виноваты, что купил их этот... Ведь все не сам, списал у Севы. И его гладиолусы такие важные, нисколько не измялись, как будто помнят, чьи руки их держали и что наказывали...

«Устали уступать», «забудьтеесь», «только бы не наскучить», «жертва»... Он знал все наперед? И знал, что она предаст его, и разрешал, чтоб совесть не мучила. Другой бы и не сунулся, коль муж приехал. А он романтик, обречен на гибель. Он слышал, как она звала, он о себе не думал. А может, теперь он ее зовет, а она, дура, хоронит его заживо. Глянула – балконная дверь закрыта, света нет... Невыносимо видеть столько цветов, обилие и густота букетов, как в ритуальном бюро.

Впрягайся, смутлая наядя, забудь свою сельву. Душа разваливалась на куски, тело немело и отнималось. Рисовые ежики шипели в масле, Гера смагивала капли с глаз, чтобы увидеть сковородку...

А платяе зеленое не сняла... «Герка, в парче на кухню? С этикетками...» Нет, надо снять...

Пришли мужчины Багрецовы, раскрасневшись от покупок. Машина на ножном приводе, луноход с пультом управления, индейская одежда с перьями.

- 
- Мама, думаешь, я кто?
  - Ты чудо в перьях.
  - Нет, я Чин-гач-гук Большой Змей.
  - Тимофей, не трогай маму. Она устала.

Гера со страхом понимала, что надо приласкать ребенка, он не виноват... Но не могла выйти из столбняка, заставить себя что-то сказать. Руки падали, голову затягивала горячая боль. В ней все ревело, так что она глохла. Губы запеклись, глаза провалились, можно было подумать – воспаление легких.

Багрецову и тому стало не по себе. «Теперь и будет ходить как с креста снятая. Об этом кобеле думать, о перестарке. А обо мне она так убиваться не будет. Меня бы там засыпало песком в Казахстане – «ох» не сказала бы. Дрянь такая. Ну, сделаю».

Но он понимал, что как ее не удельвай, она от этого не станет ласковой. И какая она вообще может быть в любовной горячке – он, Багрецов, никогда не узнает. А тот сукин сын, кобель – знает. Почему так устроено? Страшная тоска напала на ясного, прямолинейного Багрецова.

– Да ты ничего не тронула в бутылке! А ну-ка давай, выпьем еще по маленькой.

Они молча допили бутылку. Телевизор верещал, Тима скакал по комнате, махая перьями, томагавком и луком со стрелами, ездил на pedalной машине. А они сидели, как манекены в галерее Тюссо. Памятники самим себе.

Пролежав по лночи без сна, Гера встала, зачем-то села перебирать крупу. Утром тихо оделась, отвезла ребенка в садик. Собирать чемодан или не собирать? Перебирая одежду в шкафу, она вспомнила вдруг, что у нее четыре платья сдано в военное ателье знакомой Лины Столовой. Надо бы их забрать, столько денег отдала за реставрацию. Одно крепдешинное с вышивкой листьями на плечах, одно с вологодскими кружевами, да еще трикотинные – скомбинировать.

Багрецов молча посмотрел на ее возню, одобрительно покивал головой: самое женское дело. Взял из старой косметички какие-то бумаги и быстро ушел.

Ателье стояло на том же месте, и что удивительно, даже работало. И очереди там не было никакой, только знакомая Лины Столовой уволилась. Гера долго стояла у примерочных, потом пошла к заведующей и честно все рассказала. Как четыре платья сдавала такой-то, как не пришла за ними в срок и сейчас не знает, как найти...

Заведующая, пепельная блондинка в металлизированном трикотаже, накрашенная без единого живого места, слушала Геру внимательно, изобразила сочувствие. Потом потребовала амбарную книгу с заказами принести. Гера боялась этого, потому что помнила, что ее платья никуда не записывали. Наконец сиреневый маникюр заведующей застыл против столбика на «с».

– Так это вы, милочка, под кодом «Столова А.Ф.»? Ну, конечно, вот

---

четыре платья. Одна из многих! Как совать заказы без очереди, так вы тут как тут. А как ревизия и полная подсобка неоформленных тряпок, так вас нет! Да вот вы где у меня сидите, женушки офицерские. Только и знаете ходить по магазинам и скупать косметику, в карманах денег полно. И в холодильниках набито. И мужей годами дома нет, и трахаетесь с кем хотите... Нет уж, милочка, хватит. Заказ записан полностью как шитье из наших тканей и расценки сейчас десятикратные, сами знаете.

Если бы Гера была в здравом уме, она бы этого не вынесла. Столько тут вложено труда, да и памяти о ней, молоденькой жене. И все достанется чужим теткам. Но она была слегка тронутая и потому только плечами пожала. То ли виноватой себя считала, то ли расценила это как конец жизни вообще. Повернулась и, опустив голову, вышла из этого ателье. Все, пора прикрывать богadelню.

Боря тоже не терял времени даром. Пока Гера занималась своими дамскими проблемами, он оформлял документы на выезд за рубеж. Ему повезло — он попал в охрану нашего посольства в Швеции. В случае развода все сорвалось бы. А так — что хотел, то и получил. И не без помощи этого ненормального ухажера. Хоть подсказал, как Герку, козу, обуздать. Вспоминать будет? Да на здоровье! Тише себя вести будет. Меньше на других будет тарашиться.

## КУДА ЕЩЕ ПОДПОЛЬНЕЕ

Очередное заседание кружка было подозрительно многолюдным. Пришли-таки подпольные поэты, которых обещал когда-то старец. Они «кентавры». Ларичева не поняла, это название клуба или что. Там была хромая девушка на костылях, переводила Гессе, потом гордая восточная красавица, которая почему-то не стала долго читать свои стихи, но читала Бродского — «сейчас это важнее». Худой нетрезвый человек в очках читал про убийство царя и еще очень нежное про пьесы Чехова — «нам юность приснится в слезах и сирени» — он понравился Ларичевой больше всех. Она бесцеремонно взяла его блокнот и стала списывать себе его стих. А тот, кто был у них за старшего, в кожанке, с седой прядью в черной гриве, вообще не стал ничего читать, только усмехался — «ну и уровень». Что он имел в виду? Конечно, их кружок по развитию речи, не мог же он ругать своих. Вид у человека в кожанке был совершенно демонический, он казался героем романа, но никак не реальным человеком. Говорил, что от разговоров давно пора перейти к делу и печатать альманах. Что-о-о? Ларичева и слова такого не слышала, не то чтобы поверить. Публикаций надо ждать годами — это в ней говорила политика Радиолова. «Фиг ему, — усмехался кожаный, — кто его спросит».

Как раз подошла очередь обсуждать и новый текст на кружке. Ларичева хотела забыть, забыть и не думать, а тут пришлось доставать и читать. Тем более это было тяжело после выступления «кентавров». Хоро-

---

шо, что не было на кружке Забугиной. Но зато был Упхол. Даже когда он молчал, не говорил, Ларичева понимала, что он на ее стороне.

К большому удивлению, народ и не ругал рассказ-то. Ну, сказали, что много постельных сцен. Что нельзя одного героя делать положительным другом, другого отрицательным самцом, что обычно плохое-хорошее перемешано в людях. К ним приехала из деревни Нартахова, пришел новичок из КИПиА. Нартахова просила смягчить, вывести раскаянье. Наладчик оказался сильный последователь Рубцова. Сказал, что тоже умрет в крещенские морозы. Сказал, что протрудиться можно и на постельной ниве, но стихи про такое он никогда писать не будет.

Упхол мотал головой, словно мух отгонял. «Да идите вы. Все ж правильно. Сначала бабу отдерем, а потом ее же обвиняем».

Старец даже головой покачал: «Мадам, от ваших писаний просто хочется помыться. Любовь же тайна. А у вас такие вот подробности. Герои познакомились ввиду помойки. Ну, разве будут тут возвышенные мысли? Никойм образом. Как вам не стыдно! Хотя, конечно, это герои нашего бездуховного времени... Как муж в командировку, так жена гулять... Мы с моей ладушкой прожили уж сорок лет, мы несовременные».

Но Ларичева все смотрела на чужих. Что скажут? Они презрительно молчали. Вдруг кожаный сказал — а как насчет стихов? Никто здесь не заметил, что кусками проза переходит вдруг в поэзию? Ну, как же не заметили... Он взял листок с рассказом и начало прочитал в стихах. Вы видите? С чего вы взяли, что она прозаик? По-моему, поэт. Все это видели и соглашались.

Но Ларичева покраснела. Ведь она стихи еще и не показывала. «Стихи плохие». — «Почему?» — «Рубленные по форме, примитив». — «Ампула?» — «Домохозяйка». — «Пример?» — «В огромной и захламленной квартире...» — «Что главное?» — «Несмирение». — «Вот все! Не хватает несколько процентов сарказма. Все!» — «Да это графомания, скука, не то что у вашего очкастого — с Чеховым, с царем... Узко все». — «Да не узко. Камерно. Все у тебя есть. А будет еще больше!»

И они ушли, смеясь, «кентавры» эти. И старец всем велел не очень-то болтать, они подпольные поэты. Но куда ж еще подпольнее?

Но Ларичеву стиснула тоска. Ее стало разбирать все больше и больше.

— Муж, а муж, — стонала Ларичева, захлебываясь в слезах, — ты тоже считаешь, что это предательство? Ну, то, что употребила чужую личную жизнь?

— Что за сопли по микрофону, — морщился тот, — у твоей подружки чисто обывательская точка зрения. Если для тебя дороже творчество, ты должна отринуть мешанские воззрения. А если для тебя так уж важно, что скажет подружка, то бросай писать. Что у тебя за жизнь такая? Одни страсти в клочья. Выбери, наконец. Знаешь, был такой писатель Трумэн Капоте. Он написал «Завтрак у Тиффани». Там упомянуты мно-

---

гие его знакомые, там описаны вещи, которые знал только узкий круг. Выход книги стал настоящим скандалом. Лучшие друзья отвернулись от Трумэна Капоте. По-твоему, он должен был извиниться и принародно сжечь свой роман? А он не стал сжигать. Предпочел другое. Ты когда-нибудь слышала, чтоб я тебе жаловался на свои проблемы? — Постукивание журналом «Коммерсантъ» в виде трубки по ручке кресла.

— Нет, но это же ужасно. Лучше бы ты жаловался, вернее, делился, и я бы знала, чем ты дышишь... А то все молчком... Как будто ты сверхчеловек такой. Или как будто я такое ничтожество, что нельзя даже снизить. — Ожесточенное вытирание глаз и носа полотенцем.

— Ничего не изменится от твоих воплей. Ты ничего не понимаешь в бизнесе, зачем я буду с тобой обсуждать то, от чего ты далека? — Распрямление журнала и водворение его в твердую стопку.

— Да, конечно, ты мужчина, а мужчины всегда так пытаются, будто они сверхлюди. — Долгий взгляд в окно и сложенное полотенце в виде веера.

— Ничего подобного. Просто ты так погрязла в своих литературных заморочках, что я вынужден тебя понимать. И я понимаю. — Пристальный взгляд на часы, намек на то, что время идет даром.

— А я чего-то не понимаю. Почему ты знаешь про Фолкнера и Капоте, когда про них вообще даже на кружке никто не знает? — Пудреница.

— Потому, что твой кружок развивает речь, а не мозги. Потому, что я бывший комсомольский работник. Потому, что борясь с передовой, то есть запрещенной культурой, надо знать, что это такое. А ты врываешься в эту самую культуру, а базы не имеешь. Только смутные представления о том, что тебе нравится. Одно дело библиотечная читалка, другое — слепые рукописи, отснятые на «Эре». Пильяк, Солженицын. Одно дело Чарская, другое дело Парнок. Одно дело Есенин, другое дело Бродский. — Позирование для памятника в городской библиотеке.

— Потому, что ты имел доступ ко многому, к чему советские люди доступа не имели. — Медленный старт в сторону кухни.

— Где у тебя готовые рассказы? — Начальник подчиненному.

— Вон, в коричневой папке... Как пришли с семинара, так и валяются. А тебе зачем? — Подчиненный, покорный бичам.

— Почитать. — Злой начальник!

— Да ты же не любишь! На кой они тебе? — Оскорбленная добродетель.

— У нас завтра переговоры с немецким представителем. Он из какого-то мелкого издательства к нам в город прибыл. Возьму да покажу. — Добрый начальник.

— Да брось ты! Свои не хотят знать, а он про немецкое издательство... — Невинный ангел.

— Много говоришь. Не убудет от тебя, если кто-то посмотрит. — Улыбка, почти победная.

Заплаканная Ларичева тихо подошла к нему и медленно руками сзади

---

обняла, скорей не обняла, почти обволокла. Зарыла нос в его затылок — а он закрыл глаза и сильно так в себя вдохнул. Что на нее нашло? Давно, давно она сама не подходила, и жертву из себя все строила...

И красивый бородатый Ларичев положил коричневую папку в свою замковую болоньевую сумку. Свистнул замочком и все. И больше Ларичева этой папки не видела. Потерял где-нибудь на банкете... А может, оно и к лучшему?..

## ТЕАТР КАК ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

И теперь Ларичева потянулась к лучшему. Может создаться впечатление, что на почве писательства она выпала из жизни своего города, но нет, просто, когда она впала в перигей своей ограниченной орбиты, город оказался в апогее. Причиной стала гастроль Театра Сатиры.

Местный театр сотрясался от борьбы идей и жен главрежей. Его неотвратимо заносило в царские утехи и колокольные звоны. При этом директор то стремился продать весь дорогой театральный гардероб, то открывал в фойе несколько баров, то искал труппу на стороне, а свою разгонял, за что и получил высокое звание Карабаса Барабаса. В результате актеры хорошо передразнивали один другого по кабинетам, главрежи менялись, как перчатки, а на сцене лежали пьяные плотники. На фоне этого гуляй-поля хотелось бы поиметь зрителей. Но истинный зритель давно ушел в себя, в дачи или в церковь.

И тут приехала пани Моника. Ого-го, мои родные, сейчас я буду делать вам зрителя! Пани Моника продавалась дорого и заставляла себя любить страшно сосущей пустотой кошелька. Да какой там кошелек, если людям по году улыбнуться не перепадает. Поэтому билеты в кассах быстро кончились.

Раньше бы Ларичева договорилась с Забугиной, чтоб та договорилась с театральным деятелем, чтоб им билеты оставили. А тут она чувствовала себя такой прибитой, что не осмеливалась. В это время статотдел безмолвно наблюдал, как Забугина мелодично названивает не одному, а нескольким театральным деятелям и богатым голосом ведет рискованные разговоры, построенные на полутонах. Блудливые глазки то горели ослепляющим пожаром, то закрывались в томной неге, а горло вибрировало от тихого смеха, похожего на воркованье птицы. В конце концов деятели были деморализованы. Нездешний уловил женскую междоусобицу и попросил билет для себя, а потом тихо предупредил Ларичеву, что отдаст его билетерше и сбoku надпишет крупно фамилию. А Ларичева предупредила мужа, дочку, смоталась в дальний садик и ребенка домой переправила.

Под светлые своды театра она влетела за полчаса и надеялась, что не опоздает. Но жестоко просчиталась. Билетерша, правда, встретила ее, как родную, издали трепеща билетом, как флагом. Но потом начался

---

сюр. Дали один звонок. Умные жены в бархате и букетах поплыли в зал, оставив покорных муженьков, увешанных шубами, стоять по очередям. Ларичевой было пальто спихнуть некому. А очередь не убавлялась, а номерки уже кончились. Потому что Ларичева шестичасовая пришла, а из зала еще четырехчасовые не вышли. Дали второй звонок. Публика заметалась, как пожар голубой: «Может, пять пальто на один номерок? — Вы с ума сошли». Видимо, четырехчасовые просочились сквозь кресла смотреть второй раз.

Но с третьим звонком Ларичева уже вкатилась в зал почти на четвереньках. «Не шастайте по залу». — «Но мне на девятый ряд, там подружка». — «Вы дружить сюда пришли или что?»

Ларичева плюнула, села прямо на ступеньках, расстелив юбку по ковру. На нее зашикали... Но это были цветочки! Ягодки пошли после спектакля. Потому что в гардеробе опять столкнулись две стихии — шестичасовые хотели одеться, а восьмичасовые раздеться... Не исключено, что контрабандные четырехчасовые тоже там затесались. Пройти никто никуда не мог, поэтому все занимали очередь там, где стояли. И это был порочный путь: минут через пятнадцать-двадцать выяснялось, что Ларичева стоит не к той гардеробщице. Она три раза занимала очередь и все напрасно. И риск все возрастал.

Ларичева засмотрелась на жгучую брюнетку в мокром трикотаже. Она была в тяжелых деревянных украшениях, в орнаментах — такую не забудешь, очень жгучая. Поставила сына вперед, сама сзади, чтобы продублировать. Так они гордо стояли, не бегали. Но гардеробщицы, будучи «все в кусках», тоже стали вырабатывать тактику. Если до спектакля кричали — давайте по несколько номерков! — то теперь стали кричать наоборот — не давайте по несколько номерков! Ларичева понимала: такова специфика работы. Но если покорный муж, брат, сват, любовник сдавал пять штук, он и обратно потребует пять... Так вот, эта жгучая в орнаментах, видя, что сын приблизился к финалу, ринулась к нему, протягивая свой номерок. А цепкая гардеробщица бросила: «Без очереди не дам. Иди в конец».

Жгучая стала доказывать, что она мать, но поскольку смотрелась великолепно и молодо, гардеробщица ей не поверила. Жгучая закипела. Темно-красная гардеробщица тоже. Дело застопорилось. Гардеробщица выпрямила мокрый торс и крикнула, как вождь с трибуны:

— Товарищи толпа! Она стояла?

Толпа была в напряжении. Многие не понимали, о чем речь, потому что все лезли без очереди, где в такой давке узреть. А многие просто боялись не совладать с собой, ведь у каждого было не по одному номерку... На сына было страшно смотреть. Видно, он трепетно любил жгучую мать. Но жгучая устала биться, ее осенило:

— Все, тебе здесь не работать, дрянь. Где тут у них дирекция?

Но Ларичева к тому моменту попала наконец к своей гардеробщице и поспешно отступила, не дожидаясь кровавой сцены...

---

Да, это был настоящий театр. То, что творилось в самой пьесе, не шло ни в какое сравнение с раздевалкой...

— Что-то ты про пьесу ничего не сказала, — заметил муж, листавший «Коммерсантъ», — может, ты не в театре стояла, а в магазине?

— Да! — вспомнила обрадованно Ларичева, гремя кастрюлей с рожками. — Как же! Пьеса тоже была.

— Про что?

— Про одну унылую тетку, которой нашли веселого хахаля. Нашли дети — ее веселая дочка и ее унылый муж. Но ты знаешь, я не сумела порадоваться ее простому женскому счастью. Вот, думаю, не повезло мужику с этой горой мяса... Ну, с пани Моникой то есть.

— Как? Ты должна, наоборот, стать на ее сторону.

— Не могу я туда стать. Ой, да они, вообще, все сценические законы нарушили. Когда надо было психологическую паузу держать — били чечетку, а потом меняли декорации не там, где надо. Они еще не познакомились, а уж кровать выехала. И зачем надо было музыку так громко врубать? Самый ключевой момент проорали сквозь фонограмму, целый диалог вхолостую. Адвокат, хороший парень — а подали его как алкаша, задрыгу. Вообще, всякий смысл теряется. Тем более я сидела на полу.

Муж засмеялся.

— Послушай, я человек все-таки искусства. Они приехали в провинцию. Чего им тут психологию из себя выжимать, нюансы? Достаточно мимики и жестов.

— Так ты в своей студии тоже так делал?

— Нет, но мы играли не для публики, для себя. И вопрос денег не стоял. А сатирики приехали хапнуть. Что тут главнее?

— Не знаю. Если бы обманули, то да, можно было б жаловаться. А то обещали пани Монику — и дали. Натуральную. Но ты бы видел, как это плоско, как все режет уши, как будто они манекены. Или отработка у них, барщина. Некоторые люди, посмотрев на это, возненавидели театр навсегда. И сама история тоже... Я и то лучше бы придумала. Хотя бы эта история с ямой в лесу, всего три действующих лица и место действия ограничено — общага. Можно было бы такую пьесу сделать... Или где про порезанного...

— А это все уже неважно. Главное, билеты проданы. А это случилось только из-за магии имени. И в литературе все то же самое. Заработаешь себе имя — и пори всякую чушь. Дело сделано!

Ларичева промыла рожки, высыпала в сковороду и достала томатный соус. Если это говорит человек все-таки искусства... Если в литературе те же законы... То ну их куда подальше...

---

## УПХОЛОВОЙ ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ

Чем больше рассказов писал Упхолов, тем лучше он их писал. Это же была бездна какая-то, причем вся узорчатая, бушуйная, многоголосая. У него всегда было трудно понять, кто главный герой. Просто бурлило повествование, в его поток попадали разные люди, и потом оказывалось, что взгляд задерживался на одном из них, и все это как-то незаметно, живо получалось. Ларичева сходила в библиотеку, взяла там «Литгазету» и нашла ежегодный конкурс. Потом дозвонилась до литинститута и узнала про поступление. Да, в этом году было все поздно, но на следующий год! Спустилась в подвал к Упхолу, дала все данные и сказала:

— Смотри, на творческий конкурс принимают до марта-апреля. Ты подготовь все толком и на тот год отправь. А если чего непонятно, у Радиолова спросишь. У них там многие кончали литинститут.

— А ты?

— А я завязала.

— Ты чокнулась! У тебя похмеле, поняла? Давай вместе отправим.

— Нет, Упхол. Ты удивительный писатель. Тебе надо вверх и вверх шпарить, ты молодой, сильный мужик. Как пить бросил, так стал красивый, модный, глаза умные... А я уже все, конец мне. Я на коленях. Надоело всю жизнь на коленях стоять, оправдываться за то, что писать начала. Нартахова говорит, что для женщины это непосильно, если всерьез. У нее механизатор опять рукописи пожег, в печку покидал. И ей сказал — урою, если увижу опять, то урою. Он раз увидел, как она села ночнушку шить, а сама прямо ручкой пишет, пишет на покроенной спинке. Это когда он все бумаги выкинул в печь и чистые на самокрутки пустил. И какое он право имел, скажи? Он что себе позволяет, судия какой нашелся! Семья обычно рушится, так как много жерств...

— Не бойсь, моя семья распалась не от этого!

— А в союзе, тем более, сегрегация...

— Чего-чего в союзе?

— Ну, разделение по всяким признакам — муж слово умное знает — по идейным, половым, по национальным... И через них не перепрыгнуть, через фаллократов. Посчитай, сколько у них женщин? Три! На сорок мужиков! А могло быть втрое больше. Некоторые сами разочаровывались, представь, одна красавица приехала к Яшину вместе с Черновым с какой-то конференции, а жена Яшина ее отозвала в сторону белье вешать и шепчет: «Да как тебя сюда занесло? Как угораздило? Водка и женщины — вот что ты получишь от него вместо вечной любви. Да зачем же тебе это? Беги!». И показала, как на вокзал идти. И эта красавица поняла, что все правда, и, хотя она не собиралась никак связывать свою судьбу с Черновым, они случайные попутчики оказались, но все равно, литературная среда страшная вещь... И уехала. Нартахова говорит, они сильных в молодости загнали, а если кто до старости очень хотел писать, вступать в союз им надо было через Москву, да и то потом на учет не ставили... Видишь, они отдельные, у них школа...

---

А ты им подходишь. Ты вон какую северную Русь заворотил. Про девку в волчине очень круто. Как она сидела в подполе после проклятия, как молоко текло, как в бане она его схватила за руку... Ну, Упхол! Мороз по коже, чтоб тебя, народного сказителя. Правда, слов непонятных много, но раз диалектизмы, значит, это хорошо. Радиолов говорит — копилка языка...

— Да что ты все — Радиолов, Радиолов. Может, мне важней, что ты скажешь.

— А я и говорю — поступай в литинститут, балбес. По тебе семинар прозы плачет одновременно с семинаром поэзии. Библиотекарша наша клянется помочь с книжками... Поступишь. Она профессиональный филолог, ей и карты в руки. Понял?

Упхолов молчал. Его бурятская морда была нахмуренной, глаза повлажнели. Он вытирал ветошью смутлые руки, перебирал свои «аркашки», пассатижи и тестеры. Ларичева никогда еще не видела его таким выбритым, четким, мужественным, как в кино прямо.

— Что молчишь, Упхол? Хочешь сказать, что зря пристала?

— Я хочу сказать, что ты единственный человек, который меня понимает, а может и любит. Мне жалко, что ты помогла мне пережить мой развод, возилась со мной, когда я был на коленях, а я тебе помочь не могу. Я тоже загибался и много писем тебе глупых писал. А тебе кто поможет? Не знаю... Я тебе скажу так: ты лучше меня пишешь. Не знаю там — по композиции, по интонации, еще по какой хреноте, но женщина в «Прогоне» у тебя живая, я ее рядом даже чувствую. С ее сережками, родинками, с ее махровым халатиком. Это родное существо, всю жизнь мечтал о такой. И парня, который слесарь, тоже понимаю. И ты не слушай никого. Запрещают писать если — не слушай. У нас ведь только классиков читают. Что там может какая-то Ларичева! А я говорю — не читал такого ни у кого. Что союз! Ты свой союз делай, поняла? И я пойду не к Радиолову, а к тебе. И спасибо тебе за все. Я в отпуск поеду в деревню. И оттуда напишу. Как-то мне прочней, когда есть душа живая. Мне ведь худо там, в деревне, бобылем ходить, они ошшо не знают, что у нас раздрызг такой, и без робятенка поеду... Стыдоба.

— Езжай счастливо, Упхол. Пиши. Я тоже тебе напишу, если у вас в деревне не охают тебя.

И взялись двумя руками за две руки. И на все лето, как на всю жизнь попрощались. Потому что они друг другу были неслучайные люди.

## ГОЛОС СВЫШЕ (ЧЕГО ХОЧЕТ СУДЬБА)

— Забугина говорит, что надо ехать окучивать... — Ковырянье ножом закопченной крышки.

— Ну, раз Забугина говорит, значит, конец света. — Сосредоточенное изучение коробки с чайной заваркой.

---

— Да ты послушай... Не просто окучивать, а якобы. — Вкрадчивый голос, попытка выиграть время.

— Что это значит — «якобы»? А на самом деле что? — Тон «знаем-знаем».

— Ну, у нее муж берет где-то «ниссан» и вернет только вечером. Мы тем временем с утра поработаем, а потом отъедем к водоему и начнем жарить шашлыки... — Упор на слове «шашлыки».

— Их можно жарить только в том случае, если накануне замариновать. — Тон «ничего не выйдет» или «насквозь вижу».

— Ну, ясное дело... — Ларичева даже не надеялась на хороший исход.

— И там жарить заранее... — Тон «рано радуешься».

— Вот ты и будешь заранее. — Беспечно и весело.

— А ты не будешь обсуждать с Забугиной свои литературные дрязги? — Мстительно, но уже мягче.

— Не буду. Чья бы корова мычала, моя бы лучше молчала. — Тон «золушки».

— Так-так. — Муж что-то обдумывал. — А дети?

— Дети будут резвиться в окрестностях того, кто меньше занят. — Конечно, мне навесит еще и детей.

— А муж Забугиной кто? — Почти сдался.

— Забугин. Отдел маркетинга молочного комбината. — Какая ему разница, кто он?

— Поедем, — решил муж, — Эх, была не была. Дети! — позвал он торжественно. — Вы хотите речку?

В ответ раздался такой индейский крик, что муж тут же зажал уши.

Мясо и водка, все было закуплено, детям были предоставлены скакалки, мячи, надувные круги и матрасы для обоих, дочке — наспех сшитый купальник. «Зачем он тебе? Еще ничего нет. — Нет, есть».

Нива была в летнем мареве очень красивой, вот только осоту, осоту... Ларичевские рядки резко выделялись на общем фоне густотой сорняков. А когда срубались сорняки, кустики картошки смотрелись так хило, как будто никаких посадок тут вовсе и не было. Ларичеву с Забугиной высадили из машины вместе с тляками и поехали подыскать место для шашлыков.

Вернулся на машине один Забугин и, громко смеясь, так начал пахать, что обогнал Забугину и Ларичеву, вместе взятых.

— Супруг там разводит костер, — кричал он издали, — то да се. Палатку для детей ставит. Землянку роет.

— Ладно, — аукала Ларичева, — тут от него все равно бы толку не было...

Как не было толку и от нее самой. У Забугиных было вдвое больше рядков, и они окучивали второй раз, любо глянуть. А Ларичева со своим осотом совсем замордовалась.

«Сюда бы Упхолова, — думала она, смаргивая пот, — он такой крестьянский. Небось, работает, жарится на сенокосе, как рыба в воде». И она

---

подумала, что вот никогда не побывает в деревне Упхолова, а ведь так интересно, там есть эта баня, где девка в волчине сидела, там тот клуб, где подрался Басков с кумиром детства... Река, где его любимая упала в прорубь... Ну и жизнь у них была! Они вот такой труд, как окучить, и за труд не считали... И она опять думала, как осуждают в деревне Упхола, приехавшего без семьи, и представляла, что он от расстройста опять начнет пить и опять запьется, писать ничего не будет. Ведь что-то в нем сверкнуло, ведь было же что-то хорошее...

Она остановилась разогнуть спину, и вдруг ей почудилось, что еще никогда, никогда не было вокруг такого сладкого, такого невероятного покоя. Вдали копошились фигуры Забутиных, вроде даже не в стоячем, в лежачем виде. Вот здорово. И громадная нива эта самая, такая зеленая, такая добрая, и небо над ней, летящая, головокружительная бездна.

«Прости меня, Господи, — сказала Ларичева шепотом. — Я знаю, что Ты и без храма слышишь меня, где бы я ни была. Прости, что живу так похабно и мелко. Вот впервые за несколько лет делаю то, за что не стыдно, но ведь и то ради шашлыков... Господи, Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое... Помилуй рабу твою, ее детей, ее мужа, ее родичей и друзей. И помилуй еще раба твоего некрещеного Упхолова, некрещеного Батогова, а также раба твоего Нездешнего. Спаси нас, Господи, всех, кто грешен и свят... Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй мя...».

И медленно покрестившись, поклонилась низко чистому небу и заплакала. Что-то давило ее и томило, будто не все она сказала.

«Прости меня, Боже, за суету и за гордыню, за то, что забыла близких своих в утаре рассказов. Никому они не нужны, потому что это все царпанье к славе, а тот, кто истинный дар, тот о славе думать не должен. А я думала, Господи, что все заметят меня и вознесут, и тогда я смогла бы только писать и уйти с ненавистой счетной работы. Как я мечтала писать, Боже мой, но родители, они не пустили меня учиться на журналиста, а теперь судьба уж так подвела и уткнула... Но только поздно все теперь. Всем одни страдания от этого. Не наказывай меня, Господи, не отнимай любимое, не отнимай мое успокоение и убежище... Ведь рвать рассказ — это такой страх, такой ужас, что лучше бы век не писать его. Но я виновата, виновата, что причинила зло. Я должна за это — отказаться. Я отказываюсь, Господи...».

И опять покрестилась с поклоном, но уже без слез, а в каком-то оцепенении. Она чувствовала, знала, что она не просто чудит с тяпкой в руке. Она должна теперь небу сказать, тут нужно так, не ерничать, а так, как Радиолов. Некому смеяться, но эту оценку себя, гнусной, она чула кожей, спиной, плечами, горевшими на солнце, непокрытым виноватым затылком...

«И еще скажу свой грех, Господи. Когда плохо было мне в том году и пошла в церковь, я не просто просветлела свыше. Мне отец Василий нравился, настоятель храма. И бледность его, и неистовость, и суровость, с

---

которой старух сварливых останавливал и как спросил у дочки, что такое совесть, а она не знала... Он бил земные поклоны, и я с ним, Господи, с ним так легко было молиться, а сама я не в силах прийти к тебе, Господи. Спаси и вознеси отца Василия, а меня прости, что смотрела на него не так, как на отца своего духовного... Немыслимой высоты человек мне нужен... Ведь я тоже верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым... И хор у отца Василия небесный, тончайший, лучший хор в городе... И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, иже от Отца рожденного прежде всех век... Света от света», — всхлипывала беспомощная Ларичева, чувствуя, как утробная, душная тяжесть ее покидает, нутро заливают робкое тепло, и одновременно с теплотой внутри обвеивает горящее лицо неслышанная прохлада... — «Света от света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша...» Ой, не знаю, забыла дальше молитву, но все равно, прими меня, как есть, Господи, и не суди... «Нас ради человек и нашего ради спасения... Спасения...» И снова задумалась и машинально пошла дальше по ряду. Вон сколько выстояла, не работала. Ну и пусть. Не последний день мотыга в руках. А душа в вечном забросе...

— Ты что тут делала? — окликнула ее Забугина.

— А ты?

Забугина не смутилась. Даже заулыбалась с каким-то торжеством.

— А ты вроде как заплаканная? С чего бы? Я смотрю, стоит, опершись на тятку. Устала? Ну, мы поможем, мы уже на финише. Там твой, наверно, уж нажарил мясо, надо ехать веселиться... Ты меня слышишь?

Ларичева молчала, тятала. И она, действительно, устала. И вокруг еще был какой-то вакуум, отделявший Ларичеву от остальных... Потому что у них были их бытовые заботы, и у нее тоже, но у нее, кроме того, были еще заботы.

Забутины подошли, подналегли. Все складывалось хорошо. Там, на бережке, действительно трещал костерок, а в отдалении дымил еще один, со специальным углублением в земле. Замурзанные дети мотались около воды, оглашая пригорки привычным ором.

— Все готово, господи!

Явилась полотняная дерюжка и на ней бутылки, хлеб черный, свежие огурцы. Волшебная картина. Все умылись, подобрались на коленках поближе.

— Ну, у тебя и муж, Ларичева, ну и ну. Ты погляди, какое чудо сотворил... Жаркое на свежем воздухе, еда для князей.

— Не для князей, а для друзей...

— Красное и коричневое! Помидоры — неужели уже наши есть на рынке?

— Нет, это болгарские консервированные, из банки...

— Дети! Попробуйте шашлык!

— А потом попробуйте «баунти».

---

— А нам папа уже давал мясо на палке! Мы первые ели!  
— Я и не знала, что он так умеет... — смутилась Ларичева. — Я старалась быть достойной там, на ниве...

— А это трудней! Хорошо, что ты смущаешься от выполненной Латыпов смотрел на нее без выражения. Не помнит!

Ларичева безобразно покраснела и не знала, что делать. Вышла, стала ходить по остановке, качаясь от горя. Оказалось, вышла не одна. Он подошел, взял ее за плечи: «Привет?» И сразу стала Ларичева маленькой глупой студенточкой.

Они пошли вдоль проспекта, залитого солнцем, как когда-то ходил он с той красоткой с вишневым ртом, и Ларичева часто смотрела им вслед. Они шли — оба в черных брючных костюмах, в черных очках стрекозиных, оба высокие и тонкие, обдуваемые весенними ветрами...

Говорят, они и женились так же экзотично — в белых брюках и рубашках поверх, только у нее за ухом цветок. И из загса на пароход, где и происходила свадьба. Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, а Ларичева нет: ее забрали из роддома с ребенком, и ладно. Потом она как видела процессии в цветах, так начинала шмыгать и моргать.

Вошли прямо с проспекта в антикварную дверь — Латыпов открыл ее своим ключом. Это была комната с тяжелыми шторами и подсвеченным двестилитровым аквариумом.

— Что это?

— Комната смотрителя музея.

— А где музей?

— Через стенку.

Сели в волшебный угловой диван пить легкое вино с зеленой дыней. Ларичева тарачилась на большую вздыбленную тахту — он перехватил взгляд, смущенно бросил туда плед, прикрыл красноречиво скомканные простыни.

— Ты водишь сюда своих подружек? — простодушно спросила Ларичева.

— У меня своя жизнь, — заметил Латыпов, — она состоит не только из подружек. Просто в данный момент данное помещение свободно. Или ты предпочитаешь сквер от слова «скверно»?

— Нет, но если сюда войдет смотритель, а мы тут с тобой лежим...

— Лежим? Смотр-ка! В институте ты, кажется, была самым синим чулком.

— Да я и сейчас не лучше. Но в институте я тебя боготворила. И ее, потому что ее боготворил ты. Поэтому ничего нельзя было. А сейчас еще больше нельзя...

— Но почему? — Институтский бог шурился, чуя приключение.

— Тебе не надо. Даже когда тебе было надо — и то не бросался. Она тебя унижала, а ты, ты бледнел и ничего не требовал. И когда порезал руку — особенно... И когда на поле она пошла к тебе с платочком...

— Ты и это помнишь? С ума сойти. Неужели это было так очевидно?

---

— Да уж. И как не помнить, если я рехнулась с горя. Ты для меня был потерян, но ты-то, ты зато был счастлив...

— Да что ты теперь-то плачешь, смешная? Иди-ка... Не надо дрожать, ты ведь меня знаешь сто лет...

— Не иди-ка... Не надо...

Тут вошел смотритель.

— Пардонте, предохранитель убран.

— Ничего, старик, это ты прости, что мы съели твою дыню.

Смотритель осмотрел помещение, действующих лиц, достал еще дыню, забрал нечто из холодильника и повернул на выход.

— Да куда ты, старик. Давай сюда.

— А дама?

— Дама «за», — всхлипнула Ларичева. — Садитесь. Сюда бы еще мужа, тогда бы вы вообще легли от смеха.

— Зачем, мы можем лечь и без мужа. А он там не растеряется без вас?

— Смотритель заблестел глазами.

— Нет, он не теряется никогда и ни с кем. Да я не против, пусть. Я даже сама говорю — не упusti эту красотку, ты нравишься ей... У него после этого настроение прекрасное, и обнимается все время...

Латыпов и смотритель переглянулись.

— Неизвестная порода женщин. Наука проморгала это дело.

— Нет, старик, это я проморгал. Если бы я выбрал ее, она была бы моей женой. Но я выбрал другую и подписал себе приговор.

Ларичева не поняла насчет породы, потому что была в черной футболке, белой юбке и в танкетках без задников, это удобно в дороге.

Потом Латыпов и смотритель нежно ее расцеловали и дали еще полдыни в целлофан, а потом поехали к Латыпову домой праздновать семнадцатилетие его свадьбы. Это вообще было что-то жуткое, потому что жена Латыпова, главный экономист авиационного завода, женщина с вишневым ртом, долго придиралась к ворсинкам на бокалах и тонко резала московский карбонат. Она также в упор не видела Ларичеву, будто та была привидением, а изысканного, с вьющейся гривой, узкоглазого, точно арабский принц, Латыпова распосылала на кухню и в гараж и называла его «дорогая». Приходил взрослый сын Латыпова, брал за шею громадного пса и, посветив в прихожей студенческой улыбкой Латыпова, навсегда исчезал в тенистой тьме двора. А сам Латыпов, нерассказанная сказка, молча и стремительно пил коньяк, после чего и заснул за спиной Ларичевой прямо на диване. И у нее спину жгло, как от костра.

— Утомилась, милая, — едко молвила жена, главный экономист.

Она стала еще лучше, еще больней хлестала по глазам ее жестокая красота. — А ты таскалась с ним еще тогда или только теперь?

— Когда тогда? В институте, что ли?

— А когда же. Я ведь все знаю. И как ты зимой к нему на свидания бегала, и как у изголовья сидела, экзамен пропустила.

У Ларичевой от ужаса заболел живот.

---

— Да ведь он болел! У него был гайморит, могли вообще продолбить башку!

— Не ты ли его излечила? Ты же такая добренькая у нас. Может, ты и ремонт за него доделаешь?

— Нет, — сказала Ларичева, — никогда. А то, что любила его... Это было всегда. И тебя тоже. Ты ничего не поняла. Он звал меня тогда, когда с тобой не мог договориться! Просил, чтоб я поговорила... Но как я могла? Ведь мы почти знакомы не были!

— Чушь. А цветы в день свадьбы не ты присылала?

— Я! И рассказ про вас написала я. Только ты его не увидишь. Вернее, не поймешь, даже если увидишь!

— Значит, ты его просто утешала? Бескорыстно?

— Да. А как же?

— Но для чего тогда он мне звонил? Я приходила, заставляла вас... А ты пугалась! Что ты так пугалась, если ничего не было?

— Не думаю, что он звал меня только чтобы подставить. Что, он не имел права просто поговорить?

— С кем, с тобой? О чем с тобой можно говорить?

Ларичева долго ехала на трамвае с левого берега, ночью они ходили редко. Не может быть, чтоб Нурали шутил с ней, нет, он не такой. Он демонстрировал покорность Ларичевой как охранную грамоту: смотри, мне есть куда уйти... Но сама-то Ларичева, глупышка, она позволяла играть собой. Господи, ну, Господи, ну, пусть его, раз он такой. Но это значит, что рот вишенкой всегда будет считать себя преданной, проданной... Несмотря ни на какие розы, которые Ларичева посылала им чуть не десять лет... Она верила, что ее бессловесное обожание сохранит их. Не знала же она, что в пылу семейных скандалов именно она, Ларичева, являлась причиной и поводом.

Родной город змеился теплыми золотыми огнями, и вокруг Ларичевой летали зарницы старой любви. Она плакала. Она зря шла на жертвы там, в колхозе. Она была против, чтобы кино кончилось, чтобы кинщик заболел. И почему кончилось именно так?!

## ВСЕГДА И БЕЗЗАВЕТНО

Потом Ларичева очнулась от воспоминаний, встала и, пошатываясь, пошла детей искать. Они оказались тут же, за кустами.

— Ой, мама оживела. Тебя живой водой побрызгали? — спросил сынок.

— Болит рука? — строго спросила дочка. — Тебе надо лежать, а ты?

— А я купаться.

И бухнулась в ледяную водичку, и дух вон! Но ничего, пробултыхала до середины и назад. Тело онемело, кровь зашумела. Руку немножко

---

щиплет. Душа ничего не чувствует. Так и жить бы! Она нашла в мисочке под крышкой остывший шашлык, стала есть, улыбаясь, и смотреть на вечеряющую реку. Озябла, накинула юбку и футболку. И как-то в ней все отдыhalo, точно после болевого удара. Она радовалась тому, что живая, а все остальное было неважно.

— Ну, как ты, лапушка? — поинтересовался Забугин, обнимая Ларичеву за плечи.

— Хорошо. Лучше не бывает.

— А мы все заснули, — признался Забугин. Его откровенно русское лицо подчеркивали впалые щеки и борода. — Я первый пошел, я на машине. А потом и все остальные. — И стал ее целовать в шею.

— Еще чего, — сказала Ларичева. — Неужели не протрезвел?

— Неужели не хочешь? А на вид ты страстная, нервная натура.

— Об этом ты спроси у мужа. А сейчас отстань.

— Жалко, — не обиделся Забугин. — А ты слышала о любви вчетвером?

— Мало ли что я слышала. Отстань.

— Жалко, — опять не обиделся Забугин. — Да я шучу, лапушка. Не надо так вспархивать, ну?

— Не буду вспархивать.

— Домой хочешь?

— Да пора бы. Но парочка еще спит.

— Какое спит. Посмотри на речку-то.

— Где?

— Вон, ближе к мосту. На середине.

И он опять ее погладил. А она подумала — нет, муж умеет лучше. Но в детали вдаваться не стала.

— Дети, поехали домой. Пора.

— Нет, не пора, не пора... Еще речка не нагрелась. А папу ты брать не будешь?

— Мам, ты езжай с дядей Забугиным, а мы с папой и тетей Забугиной будем весело жить. — Дочка стояла, натягивала брючки и хитро улыбалась.

— Давай. Только сначала и папу спросим, ладно?

— Мам, а почему тетя Забугина такая молодая? Потому что детей нет?

— Почти так. Нет детей, потому что слишком молодая.

Собирались суматошно, с хохотом и подначками. Выпили на пососок — там еще оставалось.

Забугин не стал, отдал Ларичевой, она не спорила. В последний момент обутый сынок умудрился в ляпу коровью влезть, пришлось бежать, замывать штанину и ботиночек. А в целом все прошло здорово.

Стали перебирать дорогой всевозможные сюрпризы деревенского уикэнда, и оказалось, что, кроме ларичевского пореза, придраться не к чему. Стадо коров с пастухами и собаками по ним не прошло, другие

---

машины с компаниями не нагрязнили, дождь вдалеке от дома не полил, с детьми ничего страшного не случилось, и вдобавок ко всему картошку попололи, да окучили. Прямо как в песенке: «Помнишь, свадебные слуги — после радужной севрюги — апельсинами в вине — обносили — НЕ? А Давыдова с Хвостовым — в зал обеденный с восторгом — выпрыгнувших на скакуне — выводили — НЕ?..» Ларичева знает песенку! Песенка по Вознесенскому...

А Ларичева сидела, слушала их веселый галдеж и представляла, что она рассказ сочинила. Маленький такой, в виде монолога или диалога.

Как будто идут двое мужчин из гаража и обсуждают поездку за город. И курят помаленьку. Им торопиться некуда, впереди еще один выходной, настроение прекрасное, но есть какой-то пунктик, который мешает. Они оба спирт предпочитают водке, оба не любят тупой физический труд, но с удовольствием мотаются в командировки. При случае живо сотворят еду и выпивку в полевых условиях и всегда выкрутятся из тяжелой ситуации. Оба мастера приврать, но это уж против себя, воля обстоятельств... Мы все рабы обстоятельств, не так ли? Да, нас унижают будь здоров, но и мы свое возьмем. Ничего, что нас разогнали в перестройку, все равно нам не слиться с этим быдлом, с этой серостью, мы были и есть «над». И где бы мы ни работали, своих всегда узнаем и выручим. И мы эту жизнь проживем если и в рамках, то с максимальной отдачей. И вкус к наслаждению не утратят...

И только расставаясь, они поймут, что это за маленький пунктик. У одного — женщина блеск, она без слов поняла, что от нее хотят. И показала такой класс, что пять раз подряд. Нет, шесть, мы еще на поле до этого. Ну, слушай, я подобное только в видиках наблюдал, а тут наяву такая роскошь. А что, давно хотел попробовать «вместе»? Да было однажды на каком-то международном слете, это называлось тогда пирамидка, но когда много пьешь, неинтересно. Мы тоже с ней только изредка, знаешь, чтобы не надоело. А ты молодец, что палатку взял. До меня не дошло вначале, зачем. Откуда я знал, я тоже думал — дождь, дети. Жаль, что твоя такая скучная, а фигурка чудная, где отловил? На выборах? Ну, ты даешь. Да нет, она не из наших, в том-то и дело. Творческий работник, понимаешь. Да, это негибкий народ, с ними сплошь обломы. Как вспомнишь, сколько этих поэтов отловил, сколько за них повышений дали. Но тоже есть свой шарм. Она как намажется, просто путанка с вокзала. Что поделаешь. Надо крутиться. Но мила, мила.

А Ларичева жарила дома картошку и все время думала, что вот, сейчас они все поедят, лягут спать, она за компьютер сядет. И напишет стремный рассказ про этих двух ребят. И даже не надо строить диалоги, прямо так подряд и шпарить, да ведь?

Потом глянула на завязанную руку и вспомнила, что она завязала с этим делом. И все никак из режима не выйдет! Привычка образовалась, надо же. Она уложила детей, села у окна и стала кофе пить в черноте летней ночи. Это было как анальгин, сильная доза. Все онемело. Удиви-

---

тельное дело все-таки. Жить никто не запрещает. Но живи до отметки, до сих пор. Дальше не смей. Точно в клетку сама себя заперла.

Пришел Ларичев, тоже стал кофе пить.

– Не зажигай свет, так романтики больше.

– Ты чем-то недовольна?

– Наоборот. А ты?

– Я в порядке. Но ты, наверно, сильнее устала. Рука не болит?

– Не-а. Далеко гараж?

– У черта на куличках, за переездом. В общем, совсем не там, где молкомбинат. А знаешь, Забутин тоже старый комсомольский кадр. И мы с ним наверняка встречались на всяких слетах и конференциях... Может, даже пили вместе, беззаветно.

– Значит, он ничего, хороший мужик?

– Еще бы. С беззаветной душой.

– А Забутина?

– Ну, я ее знаю не первый день. Мила, мила. Дети спят?

– Да, а что? Видик будешь крутить?

– Да можно. Ты не хочешь? Не то я скоро отдам вертушку.

– Ну, давай. А как ужинать?

– Куда еще ужинать. Я после этих шашлыков буду ужинать только завтра.

...Когда муж начал ее потихоньку раздевать и ласкать, она не удивилась. «Неисчерпаемый человек, и после Забутиной ему надо. А без видика не стал бы?» А он, закрыв глаза, нацеловывал маленькую грудь и думал: «Перестанет она когда-нибудь такой рыбой лежать? Никакого трепета. И видик на нее не действует... Вот я издам ее за рубежом, тогда посмотрим... Вдруг достану?»

## ВСЕ ЗАБЫТЬ И СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ

Дочку удалось непонятно как отправить в лагерь. Ларичева в положенное время не подавала в профком заявку, а тут вдруг стало ясно, что отпуска может и не быть летом. Ларичевой было стыдно, что у нее платье старое, нейлоновое, ржавых оттенков, стыдно было, что все едут к морю или в лес, а она никуда сама не едет и детей не везет. Жалко было дочку, из последних сил кончившую учебный год, а что делать?

Тут Забутина стала вдруг очень добрая, то ли простила антимионию с рассказом, то ли компенсировала вылазку на «ниссане», но она взрыла пески и добыла где-то в областном профкоме путевку в приличный лагерь. Заставила Ларичеву написать заявление, чтобы часть стоимости оплатили по месту работы, Нездешний подписал, начальник управления подписал, и Ларичева поспикала в пожарном порядке добывать медсправки. Все кончилось хорошо, Ларичева погрузила дочку с чемоданом в автобус и перекрестила. А потом, когда дочка помахала ей панамкой, она

---

вдруг осознала, что впервые так далеко ее отпустила, и заревела. Но тут же себя одернула. Хватит соплей по микрофону. О пользе для здоровья ребенка тоже надо подумать.

А тут муж отколол. Вот, говорит, мы решили свою контору закрыть на реорганизацию, такие дела. Пока суд да дело, не съездить ли мне к матери в Киров. Ларичева говорит — вот это да, может, сначала сделаем ремонт? А он — нет, ремонт в рабочем порядке. Лучше бы тебе пойти и попросить авансом недели две, вместе и съездим.

Ларичева, конечно, пошла, но мало чего добилась. Нездешний сказал — а у Вас по графику что, сентябрь? А в какое положение Вы меня ставите? Посмотрите, что творится в отделе, совершенно некому отправить первоочередные отчеты. И так далее. Ларичева пришла и сказала — нет, не могу отпустить. Может, ты хоть ребенка с собой возьмешь? Твоя мать его не видела еще, только на фотографии. Муж возмущенно сказал — я буду неумело кормить его пригоревшей кашей, а ты будешь тут прохладяться. Ларичева замолчала. Ей стало все равно. Ребенку три года, он не младенец. Вполне бы могла и мать покормить. Муж тоже молчал и собирался, потом пришел, принес билет на самолет и сказал — я тоже умею быть великодушным, вот сюда сложи все для него и предупреди садик, что недели две не придем.

Ларичева просто ушам и глазам не поверила. Вот это отколол, так отколол. Что это он такой добрый, не после вылазки ли на «ниссане»? Ну, да все равно, она кинулась стирать майки и носки, искать панамки, брюки-варенки и куртку с сапожками на холод. «Ты что, на Северный полюс его собираешь?» — «Мало ли что...» — «Я предоставляю тебе полную свободу, слышишь? Постарайся не разочаровать меня». — «Но что ты хочешь? Чтобы я одна сделала ремонт?» — «Чтобы ты стала нормальной женщиной. Без загибов. Чтобы дом перестал быть сараем, забитым рукописями. Хватит уже графоманства. Брось мировые проблемы и займись наконец собой».

Удивительно. Он казался таким либеральным сначала. Он и писать, собственно, ее сам построил, и машинку принес, потом компьютер. Он и опыты ее первые поощрял, пусть со смехом, но обсуждал всякие там коллизии. Что же теперь? Теперь в нем заговорил охотник, который устал гонять дичь? Так, что ли? Надо было плюнуть, забыть, но Ларичева не могла это сделать.

Она привязалась к нему сразу после тех выборов. Он был для нее сильным авторитетом. Его умничанье подгакивало ее знать и уметь больше. Его выпивание рюмочки с нею казалось ей лестным. Она хотела бы, чтоб он начал видеть в ней равную. Опять! Опять ей хотелось мифического равенства — как с Нездешним, как с Батовым. Но он непрерывно острил, насмехался, стебался, и она поневоле уходила в себя.

А чем, интересно, она могла бы ответить на его призыв — а может, это был приказ? — стать женщиной? Да она только и могла, что пойти ему навстречу. Если, конечно, он опять не стебался. Но этого же никогда нельзя понять.

---

И вот есть возможность начать сначала... Муж уехал, увешанный сумками и ребенком. Ребенок махал ручкой и совсем не выглядел несчастным, только ему жарко было в свитере. Ларичева проводила их в аэропорт, приехала назад на рейсовом автобусе и пошла по улице, опустив голову. Опять она казалась виноватой, опять ее отчитали за все хорошее. Ну, сколько можно порки ожидать? И надо же, опять она плохая мать, все тащатся с колясками, звенят велосипедики — стой, кому говорю, не смей на дорогу без мамы! — а она одна, как голая.

Муж говорит, что селективный взгляд срabатывает. Как беременная была — все казались беременные, весь город. Теперь кажется — все с колясками.

А Ларичева одна, как кукушка. Ах, если бы старое время, то сейчас бы за компьютер... Да этот рассказ про обкомовцев. Да вот то, что Забугина велела порвать. Да закончить Латыпова... Разбежалась. Между прочим, неотвеченных писем собралось до десятка. Нартахова пишет из деревни, что ей надо ларичевскую биографию, чтобы какое-то литературное обозрение создать. Смешная. Ларичева никакой не литератор. Правда, были попытки, да все вышли. Поэтесса из Москвы очень сурово обошлась с ларичевскими рассказами. Все твердит о чистоте! Надо ее успокоить, что больше Ларичева не будет лезть в литературу со своей грязью, просто бросит все попытки... Короткое письмо от Упхолова. Этот проклятый классик после сенокоса, конечно, ударился в запой. Так и знала! Но какой стих про сенокос и будто его мальчонка с ним! Какой свет и слезы. Нет, ему надо первому писать.

Или нет, первой — сестре, у той два деда сразу на руках умерли... А мать?.. Нет, ну, как же забросила всех своих близких людей, пока ударялась в свое писательство. Раньше письма писала по десять листов, с наслаждением и подъемом. А теперь как атрофировалось что. Вся на нет изошла. Ну, ладно, все! У Ларичевой задача-минимум нормальной стать. А нормальные люди письма тоже иногда пишут...

Просторными вечерами Ларичева сидела и рылась в мешках с лоскутами. Из ситцевых остатков сострочила две наволочки. Дошила зимний жакетик в клетку, извлеченный из завалов. Отыскала гору носков, половину выбросила, поскольку дыры занимали большую площадь, чем промежутки между ними. А вот тот самый отрез на юбку. Какое добро пропадает! Но на двое брючек не хватит. Тут пацану еле-еле, а дочке на юбочку, под лосины. А старые мужнины рубахи... Может, из них блузочку?.. Надоели самошитки... А вот на джемпере какое безнадоедное пятно, видно, от жевательной резинки. Надо сердечко вышить...

Временами тоска хватала ее за горло. Хотелось вывалить все это добро на помойку и забыть. Но тут же вспоминалась насмешливая Забугина: «Чем писать всякую гадость, разбиралась бы лучше в шкафу. Что у тебя в шкафу творится, ты знаешь?» — «А ты откуда знаешь?» — пылила Ларичева.

С Ларичевой все разговаривали так, будто у всех у них в шкафу пол-

---

ный порядок. А у нее нет. И получалось, что у каждого есть повод ее уткнуть. Вот и муж, со всем его либерализмом, все же взял и высказал — стань нормальной. И Ларичева вспомнила, как однажды она получила письмо от знакомого ярославского редактора, и тот сочувствовал не ей, а мужу — беда с пишущей женой. Холодные супы, оторванные пуговицы, блуждающий взор. Но они с мужем смеялись тогда над редактором! Им казалось, что это старческое ворчание, больше ничего. Что у них и еда есть, и компьютер гудит, огоньками мигает, и принтер всюю выдает страницы... Правда, нету вентилятора хорошего, памяти маловато, сканера недостает, но ничего и так... А теперь вон оно что... Теперь, значит, стало невыносимо...

И Ларичева входила в деловой режим, включала телевизор погромче и дальше шила. А по телевизору показывали презентацию какой-то новой необыкновенной книги, и там выступали и авторы, и составители, и редактор, и художник. И все они как-то счастливо встретились, и получились волшебные обстоятельства. Их до этого не признавали и не печатали, то ли по причине авангардизма, то ли по причине консерватизма. Но один нашел другого, а пятый оказался бардом, а деньги выделялись именно на бардов, решили не сбиваться в узкую малину, а разыскали остальных, с кем учились в институте или выступали на одних вечерах. Так и закрутилась эта карусель.

Ларичева подумала, что это люди понятные, родные до боли, только вот в окружающем пространстве подобных нет, каждый думает, как бы свое пробить, альтруистические замашки стали анахронизмом... И все-таки ей стало по-настоящему завидно. «Я бы с ними не пропала. Они бы не затоптали меня только потому, что я не похожа на них...».

Это проснулась обида после семинара... Она представилась себе, что от нее, именно от нее зависела бы жизнь этих чудесных людей — о, нет, она не бросила бы их, она не стала бы вставлять свои рассказы, но нашла бы зал и музыкантов, и пригласила бы местный телеканал. И никто, никто не смог бы сказать — вас, дескать, не было... Началось бы новое, смелое братство, в котором все помогали бы друг другу — один за редактора, другой за художника, третий за верстку, четвертый за критика...

На миг она вроде вернулась в прежнюю жизнь. Щеки горели. Отшвырнув тряпки, она стала искать свои рукописи. Но коричневая папка уплыла к немецкому представителю, один самый новый рассказ разодран в клочья, а черновики она отдала Упхолу. А где же второй экземпляр семинарской рукописи? Может, отдала Нартаховой? Может, у Нездешнего? А может, его и в природе не было? Никто не знает. В диване и на шкафу валялись только охвостья, отдельные листы.

Кружковский старец любил дразнить собравшихся частушками и каламбурами, которые Ларичева за ним записывала. Иногда это было совсем некстати, сбивало с толку новеньких. Они не могла понять, куда они попали. Но зато это будоражило всех остальных и хорошо разряжало обстановку нудной говорильни. Например? «Мы сегодня мелодраму

---

Разнесли по килограмму». «При всем при этом Мы все с приветом». «Улетели листья с тополя. Зачитали Тополя до дыр». «Атмосфера: в воздухе флаюиды летали и раздражали гениталии». «Герои кончают жизнь самоубийством, но при этом еще и кончают». «Она поражала тем, что рожала». Естественно, самые непристойные штуки старец отпускал в адрес Ларичевой: «Вот уже несколько лет Ларичева плодотворно трудится на ниве секса... Я это чувствую тем местом, которое не принято называть головой...».

Особенно много анекдотов в кружке сочинялось вокруг Рубцова. «Любили у нас Рубцова. Наладчик Алексин тоже любил, он и пил так, как Рубцов. Жена вовремя развелась. Как юбилей Рубцова, так Алексин берет ящик водки и на могилу. И всем говорил: «Я, как он, я тоже скоро умру в крещенские морозы». Но время шло, а он все не умирал. Стихов набрал на две книжки, но потом вообще дело встало. Только протрезвешь — сразу поймешь, что не Рубцов. Как тут не пить?»

Тот же Алексин не раз повторял: «Если хотите знать, питье водки — это тяжелая мужская работа». А поскольку он работал очень много и частенько приходил на кружок под газом, то всех обычно и веселил, потому что видел мир под своим особым углом, а выражал мысль исключительно цитатами из своих стихов. Например, обсуждают безнадежный рассказ, ну, плохо все, скучно, банально. «А ты, Алексин, что скажешь?» — И Алексин заплетающимся языком: «Мой друг! Все выпито, все спето!». Если пошла музыкальная тема, Алексин медленно просыпался и говорил: «Вы возьмите аккорд... Словно рюмку вина...». А уж если речь шла о России, то будить Алексина было незачем. Глянув на него, любой мог процитировать: «Россия стонет с задраннным подолом, великая и пьяная страна».

Когда стали у людей появляться компьютеры, все опять же остряли на тему Алексина: «Безработный поэт Алексин, наконец, пошел на ликерку и с собой всегда есть. Видит — земляк Коков из Финляндии на девятке едет. Алексин ему: «Эй, давай ко мне». А Коков ему: «В байты переводы, в байты...».

«Приехали раз питерские поклонники Рубцова на его родину. Для них стали концерт давать, песни петь на стихи Рубцова. Питерские в ужасе: «Эту песню нельзя, это про б..., про нее, убийцу. А это ей, б...и такой, посвящение». Артисты стали все краснеть, говорят: «Простите, мы не знали». Тогда питерские уехали, скинулись деньгами и издали новую редакцию Рубцова: Издательство «С.В.» — «Рубцов без Б.» Алексин эту басню особенно любил. Плохо, конечно, но Упхолов и Алексин сразу подружались. С тех пор тяжелую мужскую работу они практически всегда делали вместе. Алексин знал про личную жизнь Упхола такие подробности, какие не знал никто. И однажды он рассказал одну такую байку: «Писателя Упхолова стали доставать... слава и женщины. (Это была очень обидная шутка, так все понимали, что с женщинами Упхолу не везло). То домой придут, то у ног лягут. Не знает мужик, как в баню сходить, как

---

рассказ дописать. Особенно одна пылкая попалась (конечно, он подразумевал Ларичеву): «И с тобой не могу. И без тебя не могу. Приходи». Упхол подумал. Пошел, выдернул здоровый зуб и сел, рассказ, наконец, дописал. Тут она прибегает: «Что с тобой?» — «Ишо не знаю. Но вот пишу». А сам кровь изо рта платком унимает».

Вот ведь! Из-за этого Алексина однажды весь кружок написал на алкогольную тему. Так все ржали, что даже старец рассердился, ушел...

Где же эти пьяночные-то записи? Потерялись... А ведь столько всего было...

Вот записанный на скорую руку старый-престарый сон, из тех, что снятся всю жизнь. Этот сон иногда снился от третьего лица. Иногда от первого, но сюжет оставался прежним. Теперь она разгладила его листы. Всмотрелась... И перепечатала заново. Ну, не будем писать, так хоть на память останется.

...Мелькают картины древней земли, бесконечные поля, дороги, леса. На холмах лепятся деревеньки, высоко, так, что облака задевают крыши церквушек. Никаких нигде развалин, все, что построено — нужное. Почему-то холодно, хмуро, нет солнца, бесконечный ливень, ливень и повозки, тонущие в грязи. Слышно чавканье, треск деревянный, колесные визги и мат. Облепленные брызгами, морщатся лица — толкают завязшую телегу...

А вот храпят лошади под навесом. В избе мертвым сном спят молодые и старые, торчат локти и бороды, мокрая одежда у печи дымится...

Лишь со слабым светом наплывает звон и грохот большой ярмарки. Брякают деньги, тут же сильные руки затягивают мешки. И обжираются удачливые, далеко разносится пьяный веселый хохот. Прыгают прямо перед глазами скоморохи, неподвижен бельмами человек в цепях. Потом все как-то ускоряется, затягивается смерчем, темнеет. После прояснения громадное торговое место пустеет, ветер шевелит солому и несет мусор к серому небу.

Под распряженной телегой ребенок оборванный, вокруг него все сходятся и наклонившись, глядят. Никто не знает — чей. Однако хозяин телеги досадливо машет рукой и идет запрягать. Ему ехать пора, невтерпеж, и он забирает с собой приبلудную девочку.

Дом у мужика громадный и весь черный. Внутри полутьма, куча народу, и все орут. Сквозь клубы пара мелькают женщины, молодой парень, насупившись, резко бьет по железяке. Выцветшие рубахи пристали к телу. Ночью вся эта деревня шумно спит на полу и на полотах, и среди них, примостившись, приبلудная худоба, зажавшая в ручонке кусок хлеба.

Растет, мается. Берет в руки серп — по ножонке течет струйка крови. Дают ухват — все варево опрокидывается, падают из горсти колосья. Шерохнув, уплывают по воде деревянные ложки, а она с любопытством и смехом смотрит им вслед.

Бредет через траву, хлопая широкой рубахой. Удаляясь, не уменьшает,

---

потому что растет и вытягивается на ходу, тяжелеют отброшенные за спину волосы в ровном жгуте. Глаза распахиваются, как вода за кручей. Тонкая шея выгнута очень упрямо. Любит подолгу смотреть в ушат с водой, а потом глянет на человека, и зябко тому. Ее не затронуть, не заставить, она ускользает.

Но если войдет сама — самый темный угол светлеет, дети не визжат, не дерутся. А взрослые шуганут ненароком — она к хозяину в поле. Ему некогда с ней нянчиться, так она сядет на обочину и бормочет с листками. Он рухнет отдохнуть — малышка подбежит, полетает рядом, как птица, теплым ветром обдаст. Он уже и встает, ободренный.

Он ее Усладой, Ладой кличет, домашние в досаде — Пол-усладой, так и остается Полусадой. Она же цветок странный, часть сада, ей лучше на улице, она там своя. А входя, вносит шелест поля, рокот и стрекотание леса.

Она метет пол, но не видит его, смотрит, слушает себя. Тут же роняет метелку, закрывает лицо руками, шепчет тайные слова, каких сама не понимает. Неясные силы поднимают и кружат ее по избе. Она бежит, как взбегает, медленно кружится, вскинула руки — как взлет! — прыгнула.

Сквозь беспорядок движений проступает будто танец, он горячий и языческий. Падает на лавку обессиленную, сдувая волосы со лба. Смотрит вопросительно, тревожно, что проснулось в ней — не знает, но вот-вот догадается. Она ждет отклика и снова принимается за представление. Закрывает глаза, лицо чуть брезжит улыбкой, даже речи говорит, полупесни, полумолитвы...

Среди этой магии входит мужицкий сын боком. Она в дикой радости, что не для себя, старается еще пуще, а он заливается краской. Через легкое марево он упрямо шагает вперед... Краткий грохот и треск ветхой ткани. И становится тихо, только муха зудит в углу. Железное кольцо немо сдавит горло!

Она сидит, согнувшись, на полу, коленки обхватив, и глаз ее не видно. Лишь волосы роскошные на сторону, как сноп, и на упрямой шее позвонки. Чуть слышный шелест, тень уже стоит в дверном проеме! Она уходит, унося с собой все выдумки и ворожбу.

Растает силуэт в открытом поле. Зачем же были эти танцы и наклоны? Зачем она не пряталась? Дневной огонь, его колеблет, гасит ветер... Она покинет тех, кому она помеха. Для них она и не жилец, но выживет, как только оторвется. Они же, потеряв, от скуки ошалели.

Скрывается из глаз. Ошиблась веком, девочка.

Все, конечно. Кака-а-а-я Полуса-а-да-а!

— А-а-а... — вспомнила тут Ларичева, как однажды обсуждали это на кружке и все пожимали плечами — умничанье, стилизация, только один Упхолов буркнул: что-то есть. И спрашивали — ну, зачем так наворачивать, собачить аллегии? Тем более — сама не любишь нивы да историю, а у самой такие заштампованные тексты. Она не знала, как ответить, но Упхолов сказал — это, мол, вовсе никакая не девчонка в сарафа-

---

не, это бедное искусство, убитое нами, ушло. Оно ведь тоже невесть откуда берется, всякий раз точно на базаре найдется, вот, как у этого мужика с телегой.

А может, это была нашей Ларичевой муза? Которая теперь, после семинарского провала, чувствует себя примерно так же! Все стали дико ржать, поднялся шум, и каждый хотел пересмеять и затопить другого, а самому выделиться...

Но ведь прилетала, теплым ветром обдала, а коль ее не поняли, исчезла. Какие рукописи, какие рассказы, опомнись, Ларичева, покрестись. Бог-то наказал тебя за твои завихрения, сама видишь: и люди обозлились, и рука поранилась. Забыть надо, забыть...

### НОВАЯ ЗАБУГИНА И НОВАЯ ЖИЗНЬ

Ларичева могла теперь сколько хочешь ходить в кино, в театры, которые понаехали на гастроли, но она жила точно так же, как и раньше. Она сшила себе открытое штапельное платьице с широкой юбкой и стала ходить в нем на работу, хотя чаще всего приходилось на вырез надевать джемпер, так как утром было прохладно. На обед она ходила в столовую, на улицу выбиралась редко, а вечером опять напяливала джемпер. Она сидела и считала свои запущенные книги по статистике высокопроизводительного оборудования. Самая подходящая терапия для общипанных ворон, вообразивших себя жар-птицами.

Подгонявшая свой участок Забугина тоже задерживалась. Ей-то было чего ради биться, она в отпуск собиралась, и в отделе оставалось всего трое, вместе с Нездешним. Сплошь пустые столы. Забугина успела где-то подзагореть. И в соответствии с этим облачиться во все белое. Как она умудрялась, уму непостижимо. Зимой была толстая, потом похудела, и опять стала толстеть. Но в любом случае, такие женщины не могут не нравиться.

Первый квартал плюс второй, так, итог сошелся. Третий только начался. Все, что ли? Ой, нет, еще две страницы... Но голова уже гудит, как «Искра». Поставить чайник?

— Ты кому ставишь чайник, отличница? Как будто и в сад тебе не надо?

Ларичева посмотрела на Забугину из своего постаревшего далека — как только могла радостно. Забугина яркая, с осветленными прядями, с губками, веснушками и родинками, довольная собою, всем, чего хотела и добилась. Ларичева осунувшаяся, в кругах под глазами, в кругах проблем, сломленная тем, что получила.

— Да вот, не надо в сад. Сын в отъезде в городе Кирове с ихним папашей.

— А дочка в лагере?

— В лагере.

- 
- Да что ж это такое? Неужели полная свобода и эмансипация?
- Да вот, свобода. Но зачем она? — Ларичева засопела и стала смотреть вдаль за окно, как бригадиры в советских фильмах.
- А где же вино, мужчины? На худой конец Губернаторов. Ты оставила без внимания его знаки внимания...
- Ничего себе, «худой» конец. Это для тебя. Тебе все подвластно. А я — кому нужна?
- Шефу. Ты смотри, как он на тебя смотрит.
- Брось...
- Не брошу, — сверкнула глазами Забугина. — У меня есть столько отягчающих обстоятельств, что никак не бросить. (Что она имела в виду, чьи обстоятельства? Себя и Ларичева? Или Ларичеву и?..) Налила чай? На шоколадку.
- Мне? Зачем?
- Ни зачем. Для радости.
- Для какой еще радости? — растерялась Ларичева. У нее в голове образовался хаос.
- Да ешь ты, ешь, не анализируй!
- Они стали пить чай с шоколадками. Ароматно, щекотно. Шоколадка была не простая, внутри прослойка клубничная. И сама такая тяжелая, дорогая... Забугина добра, это очевидно. Но почему? Значит, ей что-то надо? Но она и так уже получила мужа Ларичевой, а больше у Ларичевой ничего нет. Может, ей надо Нездешнего? Так это не по адресу.
- Ну, как у тебя дела с гордостью отрасли?
- Лучше не спрашивай. Он завернул меня со всем этим делом. А ведь я туда столько вложила... Ты сама знаешь, что он для меня значит.
- Забугина окинула ее цепким взглядом. Странное цветастое платье, поверх кофта, цвет совсем гуманитарный. Переодеть, покрасить... Это всегда помогает.
- И давно это было?
- «Это было недавно, — пошутила Ларичева, — это было давно...». После семинара.
- Значит, семинар, потом Батогов, потом я. Так, что ли?
- Да, именно. Калибр у тебя был не меньше. Но попадание более точное.
- Ах, черт. Но это же полный геноцид... — Забугина как будто растерялась, или сделала вид. А ведь она не терялась никогда...
- Так что? Кесарю — кесарево. Сечение. Если вам надо, чтобы Ларичева исчезла, она исчезнет.
- «Как хорошо быть никем, — мелькнуло, наконец, в ларичевской голове, — как спокойно. Ради этого и умереть не жалко. Все прежнее кажется суетой...».
- Ты с ума сошла, — проникновенно молвила Забугина. — Ты должна экранироваться от неудач... Творческие неудачи — это норма. Великое всегда воспринималось с трудом.

---

– Неудач? Какие глупости! Я причинила тебе боль, опоганила ласковое доверие, дружбу. (Ты мне тоже, но не будем, не будем...) Что для меня важнее — человек или писулька? Конечно, человек. А Батогов...

– Я не хотела... Я думала — ты будешь наживаться на клубничке, а у меня начнутся крупные неприятности с мужем...

– Видишь, по-твоему, я похожа на тех, кто может наживаться... А Батогов ведь точно так же: он отнесся ко мне с полным доверием, а я давай, давай ворошить его жизнь, в его прошлом рыться, прямо в живую боль со своим ротозейством деревянным. А ему и не надо этого ничего, он из деликатности не погнал меня в шею, но ему стало тошно, и все равно я его потеряла... Потеряла.

– Послушай, Ларичева, не люби его, слышишь? Не люби, не смей, он старый, ему семьдесят лет, в штанах пусто, весь сухой, как растресканная степь...

– Опять штаны. Что ты везде штаны видишь, а? Он жил-то не для себя! Могу я тоже сделать что-то не для себя? Я никогда не понимала, что это такое. А тут мне захотелось, и как бы не ради штанов. Ради истории. У меня отец такой же... Понимаешь? Как он диплом защищал, ты бы знала! Его же руководитель его топить начал! Где это видано? Поддавшись слухам, написал молодому отцу разгромный отзыв. Пришлось в библиотеке рыться, иностранных ученых читать, чтобы себе защиту, как на суде, обеспечить! Там же весь СХИ прибежал слушать защиту эту, народ был в обмороке, когда папа расстрелял своего руководителя, завкафедрой — вообще! Аплодисменты гремели. А потом? Уехал отец от близкого диссера, от легкого светлого будущего в волчью степь, в МТС, с механизаторами лаяться, с начальством пьяным воевать, и не ради славы, ради земли, говорит... Хотел, чтоб трактора у него хорошо работали, СТЗ-Нати, Сталинского тракторного завода... Человек после себя оставил что-то! А мать! Не смогла поступить в летное училище, агрономом стала. И мы там жили, в волчьей степи, помнишь, я маленькая в цветастых суконных шароварах и валенках стою рядом с худым отцом? Вот! Видишь, какое поколение было, могли все через силу сделать! Умели они достигать! А мы ничего не можем, ноем, что жизнь плохая, ничего не дают. Да им тоже не давали, но они, слышишь — они отдавали всем... Только не говори, что я хотела нажиться на Батогове. Ты сейчас скажешь — да его до сих пор все управление любит, вот и расхватают эпопею. Но его любят не за автоматизацию производства, а за человеческое, мужское, а это он мне не открыл!

– Потому что он функционер до мозга костей. Что ж ты не любишь функционеров, а тут строишь из него Маресьева?

– Я не строю, я сама бы, наверно, не узрела, но сначала Нездешний, потом этот высокий дух, он меня потряс... Но не будем, не будем. Это дело прошлое, значит, глупо теперь кричать. Ты видишь, я спокойна, я пережила первый шок, волосы на голове не рву, пеплом себя не посыпаю. Хватит бегать встрепанной вороной, каркать во все свое воронье горло...

---

Людам не надо правду, им бы забыться от жизни, а я их могла только ранить...

— Ну, если это так уж важно для тебя... Я ведь не собиралась тебя расстреливать, как этот в рассказе, с автоматом. Мне даже не по себе.

«Еще бы тебе «было по себе». Не каждая героиня сумеет убить своего автора... А ты убила!».

— Прости меня, Ларичева. Можно все восстановить... Хочешь, вместе вспомним? Давай я тебя опять накрашу, как раньше. Ты не бойдйся только... Стукать по палитре теней могут только обезьяны. Разбивая и кроша косметику, ты убиваешь в себе женщину... Вот так, возьмем осеннюю гамму. Тени золотые и коричневые, помада томатная, контур темная охра. Под твою коричневую листву на платье.

— Перестань, — Ларичева сидела и складывала блестящую обертку шоколада, руки ее немножко дрожали. — Во мне убито большее, чем женщина. Отказано в художественном осмыслении мира. Они, эти люди из союза — имеют на это право. Я не имею. Да как же я докажу, что имею это право, если и даже читать не хотят? Значит, Бог не хочет, чтобы я была. Знаешь, кто хочет? Нартахова хочет. Она переезжает в город от своего механизатора и идет в новую газету обозревателем. Меня зовет...

— А ты?!

— А я отказываюсь. Какой из меня журналист?!

— Нормальный! Нормальный из тебя журналист, Ларичева. Ты рецы на фильмах писала? Писала. Ты жизнь замечательных людей фиксировала? Фиксировала. Ты еще сходи к Губернаторову, он тебе такого нараскажет про технический прогресс.

— Нет, надо все забыть.

— Э, нет, так не пойдет. Смотри, куда тебя повело. А как же твоя жалость? Ты же говорила — жалко людей. Вот ты и дай понять, что с нами так нельзя. Это будет так солидно, феминистки тебя на флаг поднимут. Давай еще добавим шарма героине, ну, пусть она в политику пойдет, ну, станет президентом. Возьмет в команду старую любовь... Тебе б пинцетом бровки прополоть, а то такие, прямо как не знаю...

— Мне теперь неинтересно. Все перегорело, полный пробой изоляции на корпусе, как говорит Упхолов. Меня в перемотку надо... Может, и послужу, как запчасть. А нет — на свалку.

— Ты в зеркало смотри! Из Франции приехала, наверно?

Забугина работала на совесть. Из зеркала смотрела мадам Меланхолия. Ее зеленые глаза манили омутно из густоты ресниц, теней, — как из болота. Виски мерцали золотом и бронзой, на скулах резко проступили впадины, худя овал лица, а тени под глазами вдруг исчезли. Исчезла бы усталость...

Вошла уборщица.

— Девоньки, вы сколь тут будете сидеть? Везде помыла, у вас нет. Закрывать же пора.

Они сложили папки и пошли. А о том, о чем хотели, еще не поговори-

---

ли. Но Ларичева сказала, что у нее болит голова и спать хочется. Ларичеву очень стиснуло. Она боялась, что Забугина счастливо скажет, что она залетела, наконец, и начнет спрашивать совета, как быть. Речь, конечно, не идет о том, чтобы забрать Ларичева... Или идет? Или речь о том, чей ребенок, и если бы, например, это случилось с Ларичевой, а с ней и так это случилось, то она бы не стала спрашивать, она же поехала в роддом безо всяких надежд, а у Забугиной муж, все прилично... Неужели Забугиной неясно, что такой ребенок должен, обязан родиться?! И, конечно, Ларичева будет ее утешать и говорить, что надо оставить... Жизнь проходит, годы немаленькие, организм теперь в полном зените... Сколько же можно, наконец! Ребеночек будет вылитый муж, ну, это же блеск. Даже интересно. Дочке и сынку будет братик, елки зеленые. Можно написать рассказ... Но в том-то и дело, что ребенка от Ларичева надо оставить, ведь Ларичев прекрасен, а вот ей, тихой Ларичевой, нельзя оставить не то, что ребенка, а даже — рассказ, и тот нельзя оставить. Ларичеву с рассказом отправили на аборт, и ее никто, никто не спрашивал — ни Ларичев, ни Батогов... Как втянуть, так все постарались, и если уж брать аналогию с забугинской палаткой, то над Ларичевой трудились сразу несколько мужчин — и Батогов, и Нездешний, и Губернаторов, и даже Упхолов помогал, и Ларичев, в какой-то мере... А потом вдруг все отказались. Ребенок уже был, а эти глянули через УЗИ, сказали — не надо нам такого... И как это просто все у них! А Забугина смешная такая! Да рожайте вы все от Ларичева, он только рад будет, просто у Ларичевой — другие проблемы...

Дома Ларичева заснула на диване в одежде и очень плохо спала. Она не привыкла к тишине, и ее колотило. Она привыкла засыпать под видик, под детские вопли, под телевизор и соседские драки, под хохот сумасшедшего соседа по балкону, а теперь он, говорят, умер. Мечтала побыть одна, и вот тебе, настало счастье. Все люди разъехались в отпуска, все тихо, как после атомной войны. Завтра Забугина работает последний день, ой, не пойду на работу, заболею... Пусть едет с Богом, а там уж окрпнем, выстоим...

Ларичева забылась тяжким сном, и снились ей всякие сцены из Древней Греции, и сама Ларичева в хитоне, в рулонах свитков, и просвещенные мужи протягивают ей руки и просят выйти и читать... Вот же наказание.

Назавтра у Ларичевой градусник показал тридцать восемь, честно!

Она позвонила от соседей и отпросилась у Нездешнего. Он спросил:

— А что с вами? Простуда? Летом?

— У меня психоз, — сказала Ларичева, — нервная горячка. Я не буду врача вызывать, напьюсь пустырника и завтра приду, ладно?

— Ладно, — с сожалением произнес Нездешний. — Будьте здоровы.

---

## ИСКУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Однако вечером он пришел, плотно держа за шеи три гладиолуса. Три гигантских стебля, поразительных, царственных дива. Ларичева даже застонала, глядя на них и что-то понимая про себя, а вслух сказала только конец фразы:

— ...Не могу.

Она извинилась, поставила чайник, унесла с глаз все мешки с тряпьем, опять извинилась, стала закрывать швейную машину — отпало дно. Он, улыбаясь чуть заметно, попросил клей «момент», капнул на стыки, замотал сверху толстой резинкой, сам убрал в чемодан. Это был ее человек: подхватывал то, что она роняла, и водворял на место. С таким бы она не пропала. Она принесла старую, но выстиранную клетчатую скатерку, на нее тарелку с печеньем с изюмом, больше ничего у нее не было. И стала гладить пальцами по клеткам.

— Утюг выключить?

— Утюг? А разве он... Да, конечно.

— Извините, что вот так, без предупреждения.

— Да чего там, я не Забугина.

— Что?

— Извините.

Они не могли ни одного слова нормального сказать, все извинялись, извинялись, как заведенные. Потому что они смотрели друг на друга, не скрываясь, это поглощало целиком, не оставалось сил на светскую беседу. На нем была просторная рубаша, косоворотка кубового цвета.

— А где ваши все? Не на даче?

— Что вы, у нас нет дачи. Дочка в лагере, я же у вас бумагу подписывала. Муж у матери с сыном.

— А как вы себя чувствуете?

— Одиноко.

— Я в смысле Забугиной.

— Давайте не будем про Забугину, а?

— Давайте. Извините, конечно.

И опять молчание. И опять эта тяготи́на с извинениями. Столбняк напал сильнейший. Сначала на нее, потому что она поняла — вот, тот самый человек... Когда он упаковывал машину и утюг выключал. А потом и на него... Он вообще был неразговорчивый, а тут смутился вовсе. Видит — сотрудница совсем не в себе. Действительно, нездоровый человек, а он уж чуть не подумал...

— Ой, там же чайник... — Она сорвалась с места и бегом на кухню.

Там послышалась короткая возня, потом такой крик, что похолодел хладнокровный Нездешний. Возник на кухне, а там весь пол парит, и сотрудница чокнутая лежит на полу, совсем глаза закатила.

— Что, что вы натворили?

— Ребенка уберите, уберите... Я его обварила...

---

Он взял ее и понес на диван.

— Какой ребенок, несчастная? Он же уехал.

Она была вся мокрая, всю спину обожгла...

— Вас надо срочно переодеть. Успокойтесь. Вот полотенце, вот халат из ванной... Подождите.

Он еще раз заглянул в ванную. Ага, вот хорошая вещь панденол, сейчас мы облегчим чьи-то муки. Подошел, осторожно раздел Ларичеву, промокнул полотенцем, потом полил из баллончика, подождал минуту — другую и накинул халат. Уйти, что ли? Цветы отдал, первую помощь оказал... Неловко! Потом она повесится, его вызовут как свидетеля.

— Ну, как вы? Живы?

— Да. Почти... Там надо вытирать... — Она встала.

— Я сам, сидите. — И он все вытер на кухне.

— Теперь опять чайник пустой.

— Да плюньте вы. Хватит и одного чайника. У вас что, горячка? Запой? Я могу вам подсказать отличное средство...

— Знаю я ваши средства... Чуть что — в прорубь прыгать. Ну, еще голодать. Но я и так худая...

— Да нет... Что случилось-то? Из-за чего горячка?

— Стучилось страшно. Батогов меня послал куда подальше. А Забугина хочет пойти в декрет, у нее ребенок от моего мужа. Про семинар уже молчу. Вот, привыкаю к мысли, что я никто, ничто и звать никак. И к чему ни прикоснусь — становится грязью. Я мечтала писать, но не имею права, нет таланта. И эта рана, и кипяток — это так уж, мелкие наказания... Чтoб не зарывалась. Или домовой обиделся, что я хозяйка плохая... Просто я зацепилась полотенцем и чайник перевернула, сама на кипятке поскользнулась... Показалось, что младшего обварила. Ну вот, а муж-то хочет, чтобы я была нормальной, без загибов. А вдруг не смогу? Вдруг я такая навсегда меченая? Знаете, птиц иногда метят...

— Ну, слава богу, ожили... — Нездешний протаял улыбкой, взял ее за руку. — Не меченая вы, а отмеченная. Даром...

— ...Я просто ворона, ворона трепаная, — шептала она.

— ...Конечно, немножко взбалмошная, но неповторимая. И не надо вам куда-то меняться, и наговаривать на себя. Именно такой вас и любят.

— Да кто, где? На мне уж места живого нет.

— ...Ну и отлично. Значит, я прав. Вас судьба бьет, испытывает, закаляет. На ком поставлен крест, тому можно покой, деньги... А кто выше, тому испытание. Но это значит, скоро все кончится. Стоит вам понять — за что, и все кончится. Да вы уже, наверно, поняли...

— Не знаю, не буду врать... Значит, вы меня понимаете?

Она встала, запахнула халатик. Выпрямилась... О, спина...

— Наверно, да. Я понимаю, что такое гегелевская концепция вины. Человек не смиряется с окружающей средой, преобразует он ее, а общество противится, не хочет изменений. Забугина живет внутри среды, и очень знает все ее законы, все уловки. Умеет и славировать. А вы все

---

ломитесь... Вам кажется, вы сможете влиять. Вам удивительно, что вас не понимают! Я понимаю каждый вздох и каждую слезу. А как вы сами чувствуете — тяжело разговаривать со мной? — он продолжал спрашивать, хотя знал ответ.

— Нет, как раз наоборот, мне всегда просто с вами. И такое впечатление, что сил набираюсь. Как сейчас. Только что трупом лежала... И вот потянулась к высоким материям. Не значит ли это, что я вам... что между нами...

— Совершенно так. Нравится. Гораздо больше.

— А что бы вы сказали, если б я вам призналась... Что вы тоже давно мне нравитесь, невозможно...

Нездешний слегка побледнел.

— Что это подарок судьбы...

Молчание, молчание... Не должно тут быть молчания! Преодолевая дикую тревогу, Ларичева встала перед ним на коленки и взяла его руки.

— Так и берите... Ну что же вы...

Нездешний целовал ее тихо, зажато. Ларичева кожей чувала дрожь сильного существа, глухую, подземную, как дрожь трансформатора. Через него к ней шла вся энергия Вселенной, но только почему так страшно, кто он? Небожитель или простой смертный, идущий на грех?..

— ...Но я принять его не могу.

О, какой ледник. «Мерзни, мерзни, волчий хвост...»

— Что значит ваше «не могу»?

— ...Не должен, не имею права. Насладиться вами — значит погубить вашу жизнь. Мы не дети, на нас долг...

— К черту долги. Мы нужны друг другу. Вы себя выдали!

— Так что ж, мало терпения еще. Грех придется долго искупать. Но не обо мне речь...

— Испугались. — Ларичева засмеялась истерически.

— Только не это. — Взял ее за руку. — Не надо истерик. Я был рабом телесности много лет. Это меня в тупик завело... Как Гумберта набоковского... Я не имею права повторять свои суицидные фокусы. Не должен причинять боль жене, она так любит меня.

— А я, Господи, а я... Вы при мне говорите о жене, ну, какой же вы мужчина после этого...

— Коль слабы вы, должен быть сильнее я... Я не дам вам пасть, не позволю.

Они смотрели друг на друга, смотрели. Обветренный суровый стражник жизни, податель и даритель. И странница, молящая пощады. Он в синей тоге, статуей египетской. Она — в оборванном халатике и с голой беззащитной грудью.

— Вы теперь запишете меня в список калек? И будете проведывать раз в месяц?

— Вы не калека, вы сами знаете... Вам немножко больно теперь, а там вы привыкнете. Это такое чудо, когда нельзя ничего. Энергия пойдет в

---

другое русло. Вы нашу несвершенную любовь потом опишете в романе. А я богат и ничего не потеряю. И все готов отдать за то, чтоб только видеть, как вы войдете, начнете расческу искать... И виновато на Забугину смотреть, которая следит за макияжем. Я помню, как она вас красила. Вы только выглянули в этот белый свет...

— Белому свету все отдадите, а мне ничего?

— Вы сами, сами на все вопросы ответите. Вы же умница...

И он ушел. Он спускался с подъездных ступеней, и ветер тряс его за волосы, бил пощечинами, задирал косоворотку. Но он, Нездешний, шел спокойно, он в буре страсти устоял, и остальных проверок не боялся. Свою он жизнь уже растратил, а ту, что дали свыше, как аванс, он мог потратить только на других.

Нельзя писать! Нельзя любить! «Это чудо, когда ничего нельзя». Нет, мир стал припадочный. Ты этого хотел, Господи? Ты хочешь, чтоб я корчилась вот так под твоим любящим оком? Или просто я его недостойна? Да я никого недостойна...

От горя она совсем съежилась. Она забыла, что хотела есть, спать. Забыла, что можно выплакаться и подрастопить сердечную тяжесть.

Застыла как в наркозе.

## МЕШОК САХАРУ И ТЫ СЧАСТЛИВА

Каждый день она вставала от сна или без сна, умывалась, шла на работу, здоровалась с начальником, думала — и как же он теперь посмеет на нее взглянуть? — но он как раньше не смотрел, так и теперь не смотрел. Она считала на машинке, писала, звонила. Вечером варила варенье или шила, писала дочке открытки, утром перед работой отправляла с конфетами или так. Успела еще один раз съездить на картошку и побелить ванную с туалетом.

Потом приехали муж с сыночком. Муж съел жареного цыпленка, только что сделанную кабачковую икру и стал обниматься. В ту ночь он так старался, что наутро Ларичева еле встала. Это синдром Забугиной — когда уже все, все, но хочется еще... А он, когда засыпал, тоже сказал — «нормально». А она-то думала, что она мертвец.

Приехала дочка. Купили торт громадный, цветы. Дочка выхвалялась, что ей больше всего понравилась дискотека, а парни, парни чокнутые. Но с ней танцевал не такой, нормальный. Он, кстати, недалеко и живет. Не очень бандитский.

Вечерами Ларичева теперь не печатала на компьютере свои рассказы... и чужие. Она лежала с детьми на диване и читала им глупые книги. Но дети радовались и тискали ее:

«Мам, ты скажи, ты приехала? Да?» — «Это вы приехали, а я все время тут торчала...» — «Нет, приехала. Ты такая бацкая жевачечка...»

А она-то думала, она деревяшка.

---

В один такой момент и позвонила ей Нартахова, сказала, что надо заполнять колонку, то да се. Ларичева ей рассказала, какие у кого дела, отдала какой-то старый рассказ Упхола... Написали вместе поздравление старцу, который лежал в больнице. Нартахова не давала слова сказать. Все ворковала, ворковала, а закончила тем, что пока поддержит Ларичеву во внештатниках. Что-о-о? Да Ларичева ничего не написала! Написала, девочка, написала. В полном оцепенении Ларичева снова легла на диван, но дети уже оторвались и убежали смотреть сериал.

Пришлось опять искать свои папки, дабы не попадать впросак при следующем звонке Нартаховой. Неудобно, что так боится женщина... Но хитрая Нартахова знала, что делает. Она могла не бояться, что зависит от чьего-то настроения. Она уже видела, что даже когда Ларичева валяется на диване, вокруг нее летает информация.

Потом Ларичева стала закатывать банки на зиму. Ей было все равно, что закатывать, она в отделе списывала рецепты, толкала в банки все подряд и кипятила с солью или с сахаром... Муж приходил с реорганизации, смотрел на парующие кастрюли и тазы, говорил «нормально».

Сахар кончился, и она фабриковать банки перестала. Муж воспринял это катастрофически. Видимо, он думал, что пока она занята делом, все нормально, а нет — сразу возможно обострение ситуации. И вскоре привез ей мешок сахару. Где достал и за какие деньги? Ларичева посмотрела на этот мешок, ей захотелось все матюги на него сложить, но она сказала «нормально». И пошла купить дешевые сливы и яблоки «ч-з» для повидла.

Но пока она ходила, в голове ее проступала отчетливая мысль. Одна очень простая, но очень отчетливая мысль. О том, что жить так больше нельзя. Ну, скучно! Тягомотина какая-то. Ради чего все это повидло? Ради детей? Они быстро забудут. Ради Ларичева, который, в общем-то, легко переживет, если исчезнет отсюда Ларичева. Как будто у него мало хороших женщин под рукой крутится! Если, к примеру, сердечный приступ. Или, к примеру, броситься с высокого места. Адети? Нет, нельзя. Вообще, что хуже — умереть и осиротить детей или все-таки тайно, на работе, после работы записывать день за днем всю эту историю? А? Никто ведь не узнает, просто для себя, в стол... А то ведь дома все выбросят на помойку, а на работе? А на работе сожгут, как поспеловские папки. Исхода нет, она исчезнет бесследно. И ничего не сделать...

Ларичева вспоминала детство.

Как гуляет она с папой по сверкучим сугробам, под светлыми сводами Новогоднего праздника. Как на ней белые валеночки фетровые и толстые суконные шароварчики с крупными, как астра, цветами, а еще на ней пальтишко плюшевое, с капюшончиком. Как вихрево носятся мимо санки с горы, а она не идет. Боится она, но папа крепко сжимает ее руку с махровой варежкой, а мама в это время печет пирог с яблоками в чудопечке. Была такая чудо-печка, с круглой дыркой посредине. Как они с сестрой собирали клубнику и толкались, а потом миска Ларичевой оп-

---

рокинулась на землю и... ничего, все целое, такие ягоды были шикарные, плотные. Как пластмасса. А еще Ларичева помнила, как мама уходила на работу, положила ей сколько-то рублей на угол буфета, а она и полезла за ними. И совсем не помнит, как она ухватилась за край буфета и верхняя не прибитая часть рухнула прямо на нее, девочку. По счастью, верхняя часть свалилась на недалеко стоящий стол и не убила ее. Прибежала мама, прибежали все, давай утешать, стряхивать осколки стекла из ее волос. Но Ларичева ничего не боялась, только трясла гривой да смотрела на всех изумленными серо-зелеными глазами. Таковой Ларичева осталась и до сих пор. Удивление вело и ведет ее...

Сосед, к которому она зашла, усмотрев подозрительно открытую дверь, сидел пьянешенек и одинешенек, сказал — забери грибы, а то прокиснут, супруга в больнице. Ларичева покачала головой, взяла это ведро и давай его варить в самой большой кастрюле. Получилось две трехлитровые маринада и еще дополни супа грибного...

Приехала из отпуска Забугина, она была опять очень толстая и все равно красивая. Понапривозила детям хорошеньких носочков и дыню. Посидели на кухне между очисток и банок, поржали. Муж тут же сбегал за ликером, но Забугина сказала, что ей нельзя, мол, выпейте сами. Муж задумался. Все было, как в кино.

Приехал серьезный Упхолов, зашел с женщиной. Женщина такая приятная, широкобедрая, в глухом мягком джемпере, волосы по спине ровно подстрижены в ниточку, брови чернущие, очи томные. Все время гладила его по спине. Из его стихов и рассказов она не знала ни одного, но ловила его взгляд, как рабыня из гарема. Кто бы мог представить, что она через пару месяцев начнет точно так же драться и пить вино, как предыдущая. Видно, нравились ему такие женщины, от которых одна разруха и пропасть, ну, вот и нарвался опять на то самое... Мало этого, она же еще пришла к Упхолу из своей новой квартирке прямо с сыном, а сын к Упхолу очень привязался, и когда наступал очередной скандал и разрыв, получалось, что Упхол выгонял не ее, а мальчика... В этой ситуации она еще и писать ему не давала, это просто поразительно, что она из себя строила. Но Упхолов все равно писал, пока она была во вторую смену. Он писал, нес Ларичевой и спрашивал — как? Он пришел к Ларичевой и сказал — айда смотреть на рождение таланта. Какого, где? А это он нашел в комиссионке компьютер — машину старую, облупленную и спросил — такая пойдет? Конечно старая, но раз нет другой — пойдет. Она хотя бы для набойки да сойдет.

Ларичева удивлялась, при чем здесь она, потом поняла, что ему просто не с кем обряд свершить, нет у него среди его собутыльников такого современника, который составил бы компанию на такой случай.

Дочка пошла, наконец, в школу, а Ларичевой надо было идти в отпуск по графику. Но у нее был свой график, она от жизни ничего не хотела, поэтому взяла деньгами, и Нездешний ничего не сказал, только головой покачал. Да и куда ехать? Ехать было слишком дорого в любую сторону.

---

А к Ларичевой никогда никто из родственников не ездил. Поехала бы сестра, но у нее опять была на руках лежачая бабка. А в молодости они с сестрой мотались друг к другу и не в такую даль.

Однажды сестра приехала к ней из института и всех девчонок в общезнания угадывала по описанию в письмах. Входит такая-то — и сестра ее узнает, вот, значит, Ларичева здорово похоже описала. И она говорила — вот эта пустая совсем, полный ноль, а эта тебя никогда не продаст, а ты ее можешь. Но ты, мол, не расстраивайся, думай только о себе... И замуж так же выходи, вот я, например, говорила сестра, выйду замуж не за того, кого люблю, а за того, кто любит меня. Иначе не выжить. Но Ларичева тогда так пылила, благородства свыше головы — ах, надо думать о людях, не о себе...

Когда Ларичева поехала к замужней младшей сестре куда-то в тайгу, она не обнаружила сестры ни на работе, ни дома. Она стала метаться по поселку и выпрашивать всех встречных-поперечных, а те шарахались, боясь услышать что-то страшное. Вида Ларичевой было больше чем достаточно. На ноги подняла гостиницу, узел связи и работу сестрино мужа. Там сказали, что муж в далеком лесном распадке строит школу и приехать не может, дороги нет, если только на вездеходе двое суток напрямиком, это каких-то сто километров, а бензина целую цистерну надо жечь... Сообщить ему об исчезновении жены могут, а больше ничего не могут...

Сутки Ларичева сидела в гостинице и редела. Она всем дала свой телефон и написала в блокноте, зачем она здесь была, адрес, краткое завещание и место жительства родителей, на случай своей смерти. Целые сутки она ничего не знала, это и было хуже смерти. Потом прибежала женщина с почты, она училась у сестры в вечерней школе, и позвала на коммутатор, село Красное вызывает такую-то. Такая-то схватила наушники и услышала сквозь треск голос сестрино мужа-прораба, он просил икру не метать, сестра лежит в больнице на сохранении и нечего рыскать зря. Ларичева ему доказывала, что в больнице она уже была, там нету. Но он успокоил и велел сидеть в гостинице. Еще через сутки он приехал и пришел в гостиницу, невозмутимый, краснощекий, роба вся в растворе. Он положил телефонную трубу, которую Ларичева продолжала накалять, взял за руку и повел в больницу. Зашел в один корпус — нет, во второй — нет, еще в какие-то — тоже глухо. Потом пошел прочесывать все подряд.

Ларичева дрожала от мысли, что он с дороги и на взводе наделает шуму, будет хуже, но он спокойно шаршился в своей робе через белые коридоры и спустя долгое время вывел за руку бледную, беременную, невыносимо родную сестру.

«Видала? — буркнул он, протирая очки, — а то «умерла, умерла»... Ну, вы идите, я заправлюсь и назад».

Оказалось, сестра лежала на сохранении так долго, что ее несколько раз переводили из отделения в отделение, поэтому в регистратуре и в приемном покое настала полная путаница...

---

Они с сестрой пошли по поселку, сестра прямо в том халате больничном и никто ничего. И такая прохлада была, такое счастье, покупали томатный сок, сыр, дождик крапал в теплую пыль и все, все казалось так просто и мудро. Ларичева хотела женщине с коммутатора цветы подарить, но сестра засмеялась — брось, она не поймет. Ведь я же отпустила ее с уроков, когда надо было пьяного мужика домой от чипка оттащить, ну, вот и она сделала мне хорошее. Все друг друга тут знают и выручают...

А теперь, теперь Ларичеву никто не мог выручить. Потому что никакой беды не просматривалось, с виду все было как у людей — заботы, работы, дети, закатки, ремонты, житейские невзгоды и утешения. По всем этим народным меркам Ларичева не могла быть несчастной. Права не имела.

### ЗАКАЛКА СЕРДЦА: ОНА МОЛЧАЛА – БОЛОТО ПЕЛО

Войдя в режим хранильницы очага, Ларичева записалась на клюкву. Нормальные люди все ездили и ягод всегда привозили, тем более что транспорт бесплатный от работы, одна ночь в дороге, день на болоте и к вечеру домой. И ведро ягод при полном неумении обеспечено. А этому ведру зимой при детских хворях цены нет.

Нашла старый ватник, суконные штаны и сапоги, ведро, в целлофановый пакет банку с картошкой, соленый огурец, яиц да сала кусочек, хлеб черный, зеркальце. Баллон с питьем, конечно. Муж смотрел на эти сборы с затаенной издевкой. Он не признавал ни крестовые, ни крестьянские подходы. Перед укладкой детей в кровати он как-то криво усмехнулся и сказал:

- Дети, проститесь с матерью. Она хочет принести жертву.
- Мам, приезжай скорее.
- Мам, а жертва сладкая? Каким цветом?
- Да зачем ты, муж? Дети, я за ягодами. Это витаминки, поняли?

Расцеловала и сама смутилась. Рядовая акция по заготовке, а он не может без подколов. И пошла на автобус, легкомысленно полагая, что главное дело уже сделала — из дому выползла. Ой, как она ошибалась, ворона...

Как ночью автобус ехал, она плохо помнила — ночь, одно слово. Она даже заснула на чьем-то рюкзачке, и голова качалась, как в гамаке, так как в рюкзачке запаковали пластиковое ведро. Она видела родной город в пыли и темени. Всегда была ночь, а день не наступал никогда. Все ходили в лохмотьях, по трое трико на каждом, дыры на разных местах. Купаться было не в чем, вода кончилась так же, как и дневной свет. Руки черные, лица чумазые и старые. Жили в сараях, потому что в домах жить было нельзя — там собирался ядовитый газ, и дышать без страха можно было только в продаваемых местах. Люди не разговаривали друг с дру-

---

гом, потому что при разговорах другие начинали прислушиваться, подходили поближе, и получалось несколько человек. А как только группа — ехал грузовик с фарами и давил всех. Проедет — все начинают искать своих, шарятся и кашляют. По бокам от продавленной грузовиком колеи шевелились руки. Ларичева все время бегала и искала детей. Ближе всех к ней оказывалась дочка. Она почему-то была в розовых вельветовых штанах, в мужниной желтой болонье, со рваным кулком на голове. Ларичева тряслась, как в лихоманке: где да где сынок? А дочка говорила — пошли. Они шли к помойке и находили там в отбросах сынка, такого же грязного, как и они, вонючего, но живого. «Он сидит там, потому что тепло». И грузовики по помойке не ездили, не давили...

Муж Ларичевой каждый раз уходил куда-то грабить склады, а так как ближние все разграбили, он рыскал по пригородам, возвращался все реже и реже. Однажды он принес много железных баночек, сильно заржавленных. Их открыли, стали есть и не могли понять, из чего сделано — то ли рыба, то ли мясо, то ли грибное чего. Выковыривали твердое черненькое, а остальное было сытное, как холодец. И вот муж принес им полмешка сахару. Сахар был грязный, пополам с песком, но все равно удача. Муж хотел унести, а мальчик соседский взял и поджег мешок то ли спиртовкой, то ли зажигалкой. Мешок пластиковый вздохнул дырой, и сахар выскользнул в глубокую лужу. «Убью», — остервенела Ларичева, но не догнала его.

Оглянувшись, она увидела, что все ее дети, муж и еще старуха черпают пригоршнями из сладкой густой лужи. Не было больше чего пить. Не было уже ничего, даже воздуха. Не было ничего, кроме старых кинопроекторов, которые, стрекоча, без музыки и слов, но показывали старую жизнь, когда еще был последний правитель Суров. После Сурова уже никого не было. Пробирался боком лысый киномеханик с искаженным лицом, тоже в лохмотьях, крутил ручку. Кто мог, сбегались смотреть, но держались не кучно, а так, прятались в рухляди кто где. Казалось, киномеханик крутит пленку себе. На стенку сарая за неимением другого.

Ларичева боялась вспоминать и смотреть кино. Она все время боялась, что будет еще хуже, а дочка говорила — что тут бояться, видишь, как все плохо, а мы еще живые. Потом дочка шла домой в сарай и доставала мешок с рукописями. Она убирала под кулек лохматые в колтунах волосы — Ларичева знала, их теперь не расчесать, остричь придется — и начинала смотреть буквы. Весь город давно буквы забыл, и Ларичева забыла, это все от газа, который копился в домах. А дочка помнила буквы и, вода по листам грязным пальцем, читала истории, которые Ларичева придумала когда-то. Листы были перепутаны, дочка всякий раз пыталась разложить по порядку, но быстро засыпала и, комкая пачки, Ларичева прятала их в мешок до другого раза. И сама ложилась поближе к двери, чтобы первой услышать и увидеть, если что плохое. Взревел грузовик, и она выползла посмотреть, много ли задавленных. И стояла, и озиралась, как трепаная ворона, и, наконец, совсем открыла глаза...

---

На рассвете стали в какое-то село въезжать, все оживились, что скоро конец бултыханьям. Но автобус взревел и пошел юзом, дорога в гору была горбатая и в жидкой слякоти. Народ закричал так тошнотно:

«Ы-ы-ы...»

- Останавливай, – кричали шоферу, – ...мать.
- Не могу! – кричал шофер. – Навернемся.
- Едь! – кричали, – ...мать.
- Нет, нельзя, навернемся...

Тогда все заткнули рты и вцепились покрепче. Автобус ездил, как сало по сквородке. Все позеленели в свете нового дня...

Наконец колеса вынесло на обочину пашни и дело пошло на жизнь. А шофер пошел за проводником и долго не возвращался. Когда вернулся, то сжевал три папиросы подряд. Пришел проводник, и автобус потюпкал к болоту. Ясное дело, прямо в топи машину не выведешь, остановили в лесу на извилистой двойной тропке, все выпали, как пьяные в рассвет и, дрожа похмелькой, дождем и ужасом почти пережитой смерти, приготовились ломить на болото. Самые бывалые перекусили, а такие, как Ларичева, просто дергались без толку и нервно мяли свои окулнки.

Ларичева уже хотела обратно, хотя кузькину мать еще не видала. Толпа потоковала и порыпела на проводника, после чего он согласился за бутылку идти показывать ягоды.

Идти за проводником было невозможно. Бурелом стоял стеной. Его приходилось перепрыгивать, обходить и то нежелательно, можно было отстать. Пока лезешь вверх по бревнам, они рушатся. А если не рушатся, так рушишься ты.

Отдельные язвы зароптали, что болото как-то странно расположено, они видали хорошие места и без бурелома. Проводник тут же стал кричать, что он у волка в ж... видал всю эту затею. Замолчали. Бурелом одолевали часа два, запалились порядочно, а у Ларичевой так вообще глаза были навывкате. Она так пласталась по этим следам, что пот начал ее резать, как кислота, дыхание тарыхтело и то с перебойями. Сначала она блеющим голосом просила кого-то подождать, а потом вообще замолчала, только всхлипывала. Все равно ее никто не слышал, все сопели, шипели, хрипели, хрюкали, матерились, стонали... Стоял только хряск, топот и человеческий вой.

Выйдя на прогалину, проводник сказал – «можно попить, через десять метров болото». Все упали как подкошенные, брюхом в землю, а все-таки было сыровато, но никто ничего. Лежа поели и двинули дальше. Все стали красные, как раки, а Ларичева как самая рядовая и неопытная посмела сказать, мол, а зачем уж так? Но на нее посмотрели как на ненормальную. Она не успела ни на кого обидеться, потому что стало много канав с водой, наступать велели только на пучки травы около стволов, а их было гораздо меньше, чем воды. Она пыталась ногами в тяжелых литых сапогах попасть хоть куда-то, но промахнулась раньше всех. Вода стала заливать в сапог, который тут же стал отделяться от ноги.

---

— Мама родная, — вспомнила Ларичева. — А-а!..

Ее потащили за обе руки, за ведро и за ватник. Вытащили, заохали, нахлобучили мокрый сапог и такой же мокрый ватник.

— Я пойду в автобус...

— Мы тебе пойдем в автобус. Два шага и уж прокисла. Иди.

Проваливаясь второй раз, Ларичева уже заорала без слов, но зато начала сама хвататься за деревце.

— Чего ты все орешь, не собираешь? — одернул ее мужик из отдела механизации.

— Тону!

— Так вылезай...

С каждым разом на нее обращали все меньше внимания, и она со страхом поняла, что человек человеку друг не везде...

Когда она провалилась в третий раз, она даже завывать не успела. За нее завывало само болото. Поэтому Ларичева подумала: «Ну, раз природа против, я умру». И бросила ведро. Оглянулась панически — вокруг нее уже никого не было, все собирали. Что они тут собирали, смерть?

Она выползала долго, выливая зачем-то воду из сапог, и звала кого-то. Кого? Мужик из отдела механизации подошел, помог, пожал плечами: «Истеричка. Как Нездешний с Вами работает?».

— Простите, а где... Где автобус?

— Еще чо. В автобус тебя никто не поведет, все заняты.

— Я подожду тут?

— Нельзя, потеряешься... Иди за всеми.

— А...

— Чо еще?

— А ягоды где?

— Так вон они. Нагнись. Вот они.

— О...

Ягод было много, штук пять. Ларичева поискала свое ведро, положила пять ягод и перестала плакать. Все равно надо было вечера ждать.

Но вечер не наступал. Болото выло и ухало, голова у Ларичевой кружилась, она быстро отупела, заплакала горе на первых километрах и замолчала. Теперь если она и тонула, мужик из отдела механизации даже не подходил, чтоб не терять ягодную кочку. Он просто кричал издали:

— Вставай. Эй, вставай-ай, у тя двое детей.

— Тей, тей, — отзывалось эхо...

И Ларичева вставала. Потом мужику из механизации надоело это шефство и он рассосался в тумане. Ларичевой стало так тоскливо, что она, кажется, хоть кому была бы рада... Она слепо тыкалась по обобраным кочкам, а как искать необобранные — не знала. Поблуквав часа два одна, она опять закричала свое: «Эй! Эй, кто-нибудь...»

Не сразу, но издали отзывались живые люди. Таким вот образом она пошла на звук и набрела на ...Губернаторова. Тот сидел на складном стульчике и пил из баллона зеленый «киви». Ларичева посмотрела и не узнала.

- 
- Вот как, милая Ларичева! Вы меня как будто избегаете?
- Да нет... А то вы подумаете, что я... - Тут она увидела полное ведро клюквы у этого зазнайки. Она смотрела, смотрела... — А почему вас не было в автобусе?
- Потому что я прибыл личным транспортом.
- С Забугиной?
- Почему с Забугиной, дитя мое? Ей же нельзя. Хотите киви?
- Нет, нет. Я хочу умереть.
- Нет, лучше пейте киви. А то еще умрете тут, и я, как кредитор, останусь с носом.

Ларичева пила изумрудную радость фруктовых ароматов и ею же обливалась.

- Спасибо за все. Я вам верну...
- С процентами, — засмеялся Губернаторов. — А не пора ли нам, пора?

Ларичева пошла за ним, твердо уверенная, что он идет неправильно.

- Мы возвращаемся?
- Конечно. Но по дороге вам еще подсоберем. — И он стал бросать горсти к ней в полупустое ведро. У него был такой совочек зубастый... Как кузов детской машинки: хоп, хоп — и полный, правда, с травой. Да ладно.

— А эту вы сами. — И показал на маленькую, совсем красную от ягод горку.

И Ларичева пособирала, а то больше ничего такого им не попало. С Губернаторовым она почему-то никуда не проваливалась. Они прибрели на проталинку перед буреломом, и Ларичева заранее задрожала. Подсобрался народ — у кого ведро, у кого два, у кого еще и рюкзачок-с. Все говорили, что болото очень плохое, далекое и дурное. Все говорили, что угорели от газов и проводника надо вообще удавить. Но давить было некого, проводник сам провалился сквозь землю. Позднейшие разборки показали, что настоящего проводника запутали местные жители, а этого уговорил шофер за бутылки. Но и этот завел нарочно и бросил. А пока надо было самим найти автобус. А Ларичева вообще была нетранспортабельная.

Пошли опять, как медведи, круша ветки и стволы. Ларичева падала все чаще и чаще. Губернаторов шел, как журавль, поднимая ноги на метр в высоту, можно было подумать, он родился в буреломе. Хоть на нем и были темные очки, он усек, что Ларичева полуживая и отнял ведро. Потом она попыталась не идти, а ползти, в глазах у нее заплясали новогодние фонарики, она уткнулась в дерево и не вставала. Тут как на грех оглянулся мужик из механизации и подал сигнал:

- Э-эй, вставай. Двое детей...

Она встала, как упрямый боксер. Но без ватника. Мужик покачал головой и вернулся за ватником. Ларичева точно знала, что она была в сапогах. Однако к автобусу она вышла без сапог. А сапоги уже были в

---

автобусе, их тоже кто-то принес. Или, может, это были не ее сапоги...

Она села в автобус, и ей дали из нескольких рук — это, это и еще вот это. Она взяла таблетки типа нитроглицерина, запила их водкой и заела шоколадным печеньем. Где уж было выбирать...

К счастью, она плохо помнила обратную дорогу, хотя и темно было, и юзом ползла точно так же. Домой она пришла вся измолотая и пережеванная до молекулярного уровня. Муж посмотрел на ее жалкие полведра с сожалением:

— И ради этого ты бросала детей?

Она молчала. Потом сняла ватник, сапоги, штаны и пошла босая, легла на диван. Выглянула вездесущая дочка в ночной рубашке.

— Mam, а где жертва?

— В ведре.

— Mam, так это же ягодки? А ты мам, чего разлеглась?

— Я там чуть не умерла.

Дочка задумалась. Потом принесла Ларичевой теплое молоко:

— На, пей давай. Я теперь понимаю, что такое жертва.

Ларичева ее обняла и заплакала. Заготовочный сезон пора было закрывать. И давать слово: за клюквой — никогда, никогда...

## ПОВОЙ МНЕ ЕЩЕ

Еще один коридорчик Ларичева одолела и уперлась. Она всегда с упорством почти безумным толкала себя до конца, пока можно. Когда наступал полный крах, и дальше было никак нельзя, она тоже останавливалась не сразу, по инерции перебирала ногами и загребала ластами. Ей надо было взять литературный псевдоним Черепахина, а если не литературный, то простой. Жаль, никто не подсказал. Такой подходящий образ!

В молодости Ларичева читала «Энкантадас» Мелвилла и ей страшно, необъяснимо и страшно нравилась глава про черепах. Ей нравилось, что изображен характер. А ведь это был ее характер. Ей нравилось сама роскошь, когда можно было писать, не задумываясь, обо всем, что попадало на глаза. Никакой сюжет тут был не важен, и даже то, что увидено, не было главней того, что появилось при размышлении об увиденном.

После периодических «обломов» по части литературы, работы, любви, воспитания детей и хранения очага, у нее наступило какое-то торможение. Остаточное чувство долга все еще давало о себе знать, но уже глухо.

Если бы кто предложил ей сейчас покрутить пластинку Вагнера «Тангейзер», она бы наотрез отказалась. Духовная музыка знаменитой капеллы и извечно любимые барды касались ее нервной системы, как оголенные провода. И дым шел. Но тишины она тоже боялась. Включала перезванивающий фон и сидела, уставившись в старые журналы мод. Спрашивала про кассету: «А это как называется? А это?». Муж морщил-

---

ся и говорил, что это музыка для туалета или же для работников нешумных цехов, у нее та же биологическая задача, что и у вентилятора. Что она никак не называется, просто — «мьюзак». Он намекал, что это не искусство, и что забыть тут нечего, но она включала и включала. Приходилось мужу спастись в наушники...

На улице шел дождь, вся природа с бомжующими деревьями и стылými домами впала в анабиоз. Ларичева приходила с работы, жарила картошку и боялась думать, что придется еще раз тащиться на ниву.

Все же попытка была сделана при единственном ясном дне, когда грянул массовый выезд. Картофелины приходилось выдавливать из трясины, земля-то намочла. Да, тоже было удовольствие ниже среднего... Выковыривать земляной ком с кастрюлю, чтобы найти в нем клубень с кулачок... Сбитый и цементированный в черных мешках урожай вызывал материализованные мысли о бесполезности любой работы и о близком конце света. Армагеддон.

Руки и ноги окоченели. Муж протянул чашку с водкой, но дал не сразу: «Сперва поклянись, что больше не будешь записываться на огород». — «Клянусь. Никогда». — «Тогда на».

И правда, больше не записывалась. Никуда не записывалась, и в свои кружки по развитию речи больше не ходила, и песни громко не пела. Сидела, продевала резинку в детские колготки и смотрела телевизор. Попробуй к ней придерись.

В такие образцовые вечера она была уверена, что все делает правильно. Душа внезапно занывала, но Ларичева мстительно думала — повой, повой мне еще. И душа затыкалась.

Разбирая на работе стол, она обнаружила черновики с биографией Батогова. Ее тряхнуло, и она тут же все эти пачки бросила в урну. Она себя оберегала. Она точно знала, что если остановится на выбранном пути, то окажется среди душевнобольных. Она и так была больная, но пока не буйная, а это еще можно было скрывать. Один большой умник заявил — мол, попробуешь этой отравы и все, кондец. Не сможешь бросить, не повернешь назад из туннеля. Там дорога только в одну сторону... Как же. В том и дело, что все это обратимо, и иди себе на здоровье в любом направлении. Вот она и повернула. Выкуси, умник. Она думала: литература — это возвышенно, романтично, это миссия общечеловеческая. Оказалось — руки отрывает. Неужели ложиться на амбразуру? Никто не оценит. Ничего не поделаешь — хроника спасания шкуры. Но когда она повернула, от нее автоматически отпал целый слой жизни, целый круг людей. «Ах, так, значит, им была нужна не я сама, а то, чтоб я читала их рукописи... Ну и не надо».

Она думала, что вот придет, в конце концов, Упхолов и поговорит, и пожалеет. Но он тоже не шел. Он напролом двигался в своем личном шалмане, и ему было не до Ларичевой. У его женщины были сильные запои, и это мешало ему писать. Кроме того, у нее поехала крыша, и врачи не выписывали ее на работу. Не было денег. От нее несколько раз

---

убегал сын, а к ней несколько раз приезжала милиция. Потому что она пила, была ребенка, а соседи на это не молчали. Это когда у себя на квартире. На квартире Упхоло она драться не смела — Упхол после пьяни заступался при милиции, а потом выгонял ее. Только этого она боялась — что не сможет больше пить из него кровь.

Когда Ларичева нашла в местной газете его рассказ, она пришла в беспросветный ужас. В этом рассказе сын сбежал из дома и герой, когда нашел его, так избил, что убил. Ларичева сидела, схватившись за голову руками и понимала, что это описан не Упхолов лично, а мать мальчонки. Что этой тяжелой рукой она не только по детскому затылку садит, но и по Упхоловой задерганной душе. Упхолов не умел даже прогнать ее, так ему всех было жалко. И он всегда, всегда будет с ней возиться, с этой шлюшкой, ему никуда не уйти от этого, потому что он сам такой. Он привык жить в этом слое жизни и не сможет жить в другом, как его Ларичева ни люби, ни баюкай, как ни ходи она к нему по метели за рукописью для семинара... Да разве он сможет работать или хотя бы просто жить по-человечески? Никогда. Зачем она к нему приставала? Зря. Лучше бы он так и остался на своем дне. Лучше бы он пил, как пил раньше, не выныривал, тогда бы не было ни у кого проблем — ни у Ларичевой, что она столько возилась, ни на работе, которая пошла под уклон, ни в самом Упхолове, поскольку некуда было бы стремиться и незачем душу рвать. Обида — одуряющая вещь. Его можно долго питаться. Пытаться питаться...

## СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕНСКОСТИ

Когда она все это изложила библиотекарше, та брезгливо двинула уголком рта.

— Ты хочешь, чтобы у него был в жизни покой?

— Да! — призналась Ларичева.

— Глупо. Он же тогда перестанет писать. Обрати внимание на своих любимых кентавров. Один разошелся, живет по друзьям, как перекачено поле, второй каждое утро продает на остановке то уют, то скатерть, то мамкины соленья из подвала, опохмелиться не на что, а их девица-переводчица полная калека... У них муки, ясно? Без мук ничего не будет.

— Ладно, — перебила деловито Ларичева. — А у тебя?

— Что у меня?

— Ну, муки какие есть? — так же базарно настаивала Ларичева.

Библиотекарша, она же по совместительству кладовщик кабельной продукции, укоряюще посмотрела на Ларичеву. Та на нее.

— А ты глянь повнимательнее.

Ларичева посмотрела.

— Все поняла, — сказала она, вздохнув, — ты тоскуешь по милому, который уехал и не вернется. «Тому, кто остается, тяжелей, И вот, остались мы, ну, что ж, налей Вина в стаканы, отопьем глоток, А остальное

---

выплеснем им вслед, Дорожка скатертью На много-много лет...» — Это она вспомнила стихи той восточной красавицы, которая приходила к ним выступать. Боже мой, так писать! Комок в горле.

— Оставь своих кентавров в покое, — проворчала кладовщик кабельной продукции. — Обрати взор не вовнутрь, но на поверхность явления.

Проблема — да, лежала на поверхности. У доброго кладовщика была нестандартно полная фигура. Ее требовалось разбить на зоны, чтобы выделить и подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки...

— Придумала, — сказала Ларичева. — Была б тут Забуга, которая любит делать из меня женщину, она бы сказала, что пора начинать. У тебя есть сантиметр? Нет? Ну, давай упаковочный шпагат.

Она быстро обкрутила веревкой доброго кладовщика и вечером стала чертить на газете чертеж громадного лифчика. Потом нашла остаток ткани, это был специальный атлас, из которого делали конверт для новорожденного сына. Дети, непривычные к такому занятию мамы, выупили глаза.

— Мам, это чего?

— Ничего. Маскарадный костюм, — отмахнулась Ларичева.

— А зачем шапки две?

Ларичев, участвовавший свои приходы домой, сам разогрел кашу, открыл баночку с овощным рагу и заметил:

— Даже не пытаюсь угадать. На эротическое белье не очень похоже, а если мои догадки верны, то боюсь, ты стала надомницей... в зоопарке.

— Не паясничай, серьезное дело. Мужчины ничего не мыслят в женскости.

Ларичева строила эту женскость целую неделю. Принесла померять, добрая кладовщица улыбалась и смущалась. Женскости явно прибавлялось уже в выражении лица! Пришлось, правда, ушивать круговой объем, укорачивать бретели, но в целом... Тесная кофточка, которая служила основой женскости, держалась эластичной резиной, и поневоле собирала в кучу волны чужого тела, не давала выпадать желудку и поднимала грудь, отчего фигура устроилась... Кабельная кладовщица заливалась краской смущения и благодарила Ларичеву на словах, так как больше было никак. Зоны стали отделяться и являть границы, плавно перетекая одна в другую, и вот проступила женщина, пусть кустодиевская, но женщина. Можно начинать флиртовать на работе.

Однако культурная революция в рядах кладовщиц склада была коварно сорвана. Почему? Да потому что в жаркий день кабельный склад вдруг недопустимо расслабился и не заметил противную Ларичеву, которая, как назло, пришла искать то ли Гумилева, то ли Ахматову. Работала бы по работе, а то ходит...

— Как? — вскричала она. — Ты же забыла застегнуть!

— Нет, — ответил угрюмо склад. — Все нормально застегнуто.

— Тогда почему нет зон?! А-а-а, ты одела поверх. Смотри же, ты все собрала поверх груди...

---

— А мне душно, жмет во всех местах. Сижу, как связанная, — заупрявился склад кабеля. — И демонстративно снял женское сооружение из атласа.

Ларичева оторопела. Она-то свои скромные сооружения покупала без проблем, да и то в момент появления красивой трикотажной одежды, беспощадно охватывающей ее худенькое тело, потребовалось нечто особенное... Но когда с другой грудью встала проблема уже совсем глобальная, Ларичевой пришлось напрячь все свое женское и творческое воображение! Она думала, как позатейливей обойтись с этим страшным объемом, как добиться, чтобы из хаоса возникла форма.

Почему-то представила себе, что это вот все — вода, а воду надо загнать в шлюз, да так, чтобы ничего не сломалось. Соединив круглые, а не остроугольные, как в журнале мод, чашки с кофточкой, она обшила швы с изнанки тесемкой... Но хаос оказал сопротивление, он оказался мягким, но не захотел меняться и обретать форму! И Ларичева согласилась, что культурная революция на складе кабеля тихо ушла в прошлое. Ну, негативный опыт — тоже опыт... Хотя безумно жалко...

И Ларичева восполнила свое портновское бессилие нелитературным потоком... слов-сорняков. Вполголоса.

## ИСТОКИ И ТОКИ

«Милая девочка, — продолжала являться в телефоне Нартахова, — речная повесть моя сгорела в печи, но в папках, которые сохранились от сожжения в подполе, есть наброски очерка о тебе. Там все мы с тобой разобрали: и как ты писала для газеты статейки про кино, про легенду отрасли, а потом как ты перестала уместаться в газете и написала первые рассказы. Как дальше пошла к Радиолову, тоже знаю. Но что было до того, как ты вообще стала писать, неизвестно. Мне нужны твои истоки. Откуда взялась твоя литература как способ жизни? Многие начинают писать в тюрьме, грызет совесть и много свободного времени, вон вдова Рубцова что написала. А ты не сидела, не страдала в глобальном смысле, не знаешь богемы, так что же?».

Ларичева уже бросила писать, уверенная в своей ничтожности, а Нартахова этого еще не знала и честно продолжала жизнеописание местных литераторов. Ларичева задумалась, перебирая пшено. Очень уж дешевое досталось ей пшено, но такое сорное, все палки попадали, щебенка, пусмы из мешка... Наверно, да, было пережитое в юности очарование. Какое очарование, когда?

Одно очарование тянулось с детских лет, где «Дети капитана Гранта» и «Джейн Эйр» были живее и дороже соседей и даже родичей. Даже Роберт Грант — именно по степени похожести на него нравились или нет местные мальчишки. Ларичева сама себе казалась той Джейн Эйр, живущей в замке, полном ужасов и тайн. И такое сильное это было чувство,

---

что толстую книгу Ларичева читала за одну ночь — под одеялом, в обнимку с настольной лампой. И мать, обнаружив это безобразие, кидала книгу в ведро с углем, а Ларичева воровато доставала ее, обметала тряпочкой, сушила и гладила утюгом, чтоб не стыдно было возвращать... Любила Ларичева книгу из помойки, от сладких слез не в силах продохнуть. Любила краденного под кроватью Мопассана, от Пышки в удивлении и горе, «Отверженных» читала раза три, библиотекарша ужасно удивлялась — ты маленькая это понимать.

Потом любила тонкую задрипанную книжку «Повесть о директоре МТС и главном агромене». Там девушка такая в шароварах, заруганная всеми, сделала единственная шаг. Ее директор понял — шаровары, коски, упрямый подбородок с ямкой и не смиренный взор — прикрытие неистойовой души. И осознание любви оказалось гораздо непосильнее работы... И гораздо дороже всех этих машин и механизмов, ради которых он бился и жертвовал!

И Ларичева плакала, понимая, что это ее мать и отец. Что, будучи совсем другого характера, и имея совсем другую судьбу, эти люди были цельные, ясные, как куски золота, и поэтому писать о них было легче. Как неистово Ларичева хотела написать так же! Чтоб кто-то прятал под подушку, ночами читал, измявши, не желая расставаться...

И город юности. И золотая молодежь в кафе, куда она зашла, следя за Нурали. Там вечер у филологов шумел, а толстый рыжий критик из газеты спросил тогда «почем твои коленки? что ты пишешь?». Но Ларичева ничего тогда писать и не пыталась, она прислушивалась, как спорили... Об этом Фолкнере, американце, как он пишет. О котором много лет спустя рассказал ей Ларичев! Что он открытие. И что пишет романы, живя на простой ферме. Это было странно — ну, спорили б они о местных, о своих, но нет, их волновал человек из такого далека. И чтоб попасть на следующее заседание, Ларичева за три ночи прочитала книгу. Понравилась ли ей герои? Поразили Сноупсы. Особенно Рэтлиф. И все же половину разговоров не смогла понять.

Она смотрела на филологинь, они казались ей людьми совсем иного, высшего порядка. А если есть хотели, то пекали два противня рыбешки мойвы. Одна из них высокая, худая, большеротая, в очках, вторая полненькая и смешливая, в черной водолазке, третья тонка и выгнута, как лук, пучок кудрей отросшей химии захвачен лишь резинкой, но голова была красивой, как у гречанки. Они все говорили меж собой, а Ларичеву и не замечали. Она только попробовала пискнуть, что Анчаров дорог ей, как сразу выстрелили фразой «так, популярные издания для домохозяек». Как ей хотелось стать для них явлением! И говорить подолгу, на ночное небо глядя. Они все время пили, пили, у тонкой на квартире, в мастерской, в кафешках, если были деньги. И когда Ларичева уставала пить портвейн, качалась надпись на импровизированной кружке — про то, что «если вермут будешь пить, очень долго будешь жить»...

И чем они ее так взяли? Непонятно. Но взяли намертво и сильно. Они

---

судили о литературе, но сами не писали... «Вот если б я была писателем! Таким, как этот Фолкнер!». Дурацкие мечты. Под дождь попала с тонкой, они шли из парка. Единственная и последняя возможность! Хотя прозрачные струи дождя качались, как цепочки, а лужи были теплые, живые, у Ларичевой ком в горле никак не проходил. Все то, что в Ларичевой — тонкой было скучно. Все то, что в тонкой — Ларичевой было недоступно. Они все время пили и курили, и Ларичевой хотелось научиться. Она хватанула дым и проглотила, а потом как стало выворачивать ее, как застучало пульсом, точно молотом. Никак, никак не удалось и это, судьба была настолько против, что Ларичева сильно отравилось. И больше никогда потом курить не пробовала, а кто курил — смотрела, онемев от страха.

К ним приезжали из Москвы богемные ребята, и на обычной длинной вечеринке Ларичева вдруг услышала задавленные крики. Пошла, крадучись, шарила по коридорам. Когда уж стала различать слова, скользнула в дверь... Кричала и металась вовсе голенькая гостья, над ней навис, почти ломая руки, незнакомец. Она звала на помощь!

Побежала, испугавшись, за тонкой, но та лишь брови подняла: «Ты ненормальная? Потихе».

Над Ларичевой все смеялись до икоты, потом опять пошли пластинки, и они, чокаясь кружками, сделанными из оплавленных зеленых бутылок, негромко подпевали «жил-был я... стоит ли об этом!».

Они считали себя особым поколением. Голенькая гостья как ни в чем ни бывало уже сидела, пила и, хмурясь, грозила кулаком: «Кабы не эта б... власть, я половиной Москвы бы уже владела». В ответ лишь усмехались: «Мы-то свою антисоветчину выстрадали, а вот ты...».

Говорили, что Никольский напечатал поз-зорную статью, зато «наш критик» — блестящий, блестящий ум (это был тот, рыжий, который дразнил Ларичеву за коленки), но больше всего они вспоминали своего друга, англичанина Роберта, которого очень любили.

И Ларичевой хотелось пристать, узнать, чего хорошего написал этот англичанин, хотелось плюнуть на этот бардак и уйти наконец, и стать вдали такой же выдающейся. Но она почему-то не уходила в свое общежитие, там было все понятно, но слишком тоскливо, а здесь она каждый день плакала от непонятности, но всегда узнавала что-то новое.

Она от них узнала, например, и стала читать «Очарованную душу» Ролана, «Всю королевскую рать» Уоррена, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, Ивлина Во. Так ранили глупую Ларичеву люди, причастные к литературе. И окончив институт, она уехала, покинула их, но никогда не могла забыть. Они ей даже снились, филологини. Будто бы их пятницы стали большим официальным салоном, который снимают на видео и ТВ. И тонкая, разматывая шарф, рассказывает, затаенно улыбаясь, о гостях, и Роберт к ним из Англии приехал, и все они теперь уж не бродяги, а дивные, богатые создания. И тонкая теперь уже профессор, по Воннегуту диссер защитила, а поленькая в черном — директор киноцентра, и знаменитостей у них хоть пруд пруди.

---

Ларичевой снилась слава, которая обязана прийти к тем, кто «выстрадал». И еще она понимала — есть цивилизация людей и муравьев. Необязательно ведь людям знать, есть ли у муравьев цивилизация. Может и есть, но только это никак не пересекается.

Прошло с тех пор столько лет, а цивилизация муравьев продолжала копошиться на том же уровне. Вроде были, были ведь предпосылки. Были даже попытки! Но не было результатов. Реки текли, но никуда не впадали. Чувства переполняли и бурлили, но никак адекватно не выражались.

«Ток без-зумных сожалений», — так ехидно говорила одна из них, очкастенькая.

«Праздник для простых душ, — шептала себе Ларичева, вспоминая Анчарова, — это много музыки и света, и чтобы тебя заметили».

## ЧЕЛЯБИНКА В ОРГАННОМ ГУЛЕ

Поскольку Ларичева перестала писать, у нее появилось время читать. Только странно — она не могла читать книги, стоящие на полках, несомненно, хорошие, проверенные веками, а ей все хотелось чего-то неканонического, не такого. Да тут как раз Нартахова опять спросила по телефону — а как вам все же показалась челябинка?

В семинарском блокноте в скобочках номера журналов, записанные еще тогда, на семинаре. И надо же, не бесит ее по сто раз повторять! Знает, что Ларичева в своем ослеплении не в силах воспринять с первого раза.

Первые же фразы повести воскресили мельком пролистанную рукопись. И всплыло на органном звуке имя, и потащило, понесло течением, крутя на разворотах. Говорили, что у нее сложная, трагическая проза. Но «Ласковый Лес» оказался не изломанным, не трагическим. Не выискивала писательница зубовывивающих сюжетных ходов, не оглушала никакими парадоксами, не сушила попусту мозги. Наоборот, несмотря на острую тревогу и подступающую к горлу печаль, повесть выводила к радостному, непобедимому. Даже неудобно — такой прямой, явный позитив, просто чуть ли не партийный. А может — как старый советский фильм, золотая фильмотека.

Загнавший себя в тупик интеллигентный человек, способный художник, не может создать шедевр средней руки для дипломной работы. Стакивается с Нюжкой, живет в ее причудливой хате и потом все создает, как надо, видите ли. Потому что ему создают условия — наравне со всеми обитателями хаты от собаки Сосиски до сома в ванне. Кто что любит, тот то и получает. А что именно кому надо — в этом Нюрка разбирается хорошо... Но откуда, кто ее научил, простую медсестру? Кормить сома еще ладно, но колдовать над натюрмортами?

Трагедийный накал то и дело сменялся размышлением, спокойной, даже лукавой интонацией. Мегаполисы и ржавые леса — заселялись жи-

---

вым Лесом, добрым Домом, летающими птицами, прыгающими кошками, собаками, беспризорным уникальным мальчиком. Быт уравновешен искусством, мысли и сомнения — действием, поступком.

А у Ларичевой, как ни крути, все перевешивало в одну сторону! То искусство — значит, все остальное побоку, сидите на одной лапше, мы в горячке творчества... То стирать и компоты штамповать — и тут уж не до высокого. Не умела Ларичева соизмерять, все ее заносило.

Героиня повести Нюра не ждет, когда кто-то придет и что-то сделает. Она сама чинит, убирает, чистит, моет, лечит... Нюра из «Леса» как бы говорит о том, что добро в противовес злу — существует, что даже один в поле воин. Животные как показатель здоровой атмосферы и активного биологического равновесия, присутствуют вокруг Нюры в избытке — это обязательные коты, собаки — здесь собаку зовут то ли Чуча, то ли Сосиска, здесь голубю лечат ногу, а потом учат летать, соседка в энергетической подмышке высиживает чье-то брошенное яйцо, а в ванной плавает настоящий сом. Сом купили, не съели, покормили, выходили и выпустили опять в большую воду. На стенках комнаты много грибов, корней, она вся, как природная пещерка, продуваемая сквозняками. И в эту пещерку еще для полноты картины помещается исчерпавший себя художник, который должен написать новую, талантливую работу для диплома. Это кажется смешно и унижительно, но тем не менее, помощь он принимает, комнаткой пользуется, да еще и подсказки со стороны непрофессионалов слушает. И происходит чудо — он находит себя и пишет гениальную картину.

Что тут сильнее действует — энергетика экологически чистых душ или экологическая встряска в зимнем Нюрином лесу? Скорее всего, и то, и другое. Важный момент — природа питает не только тело, но и душу наполняет живой энергией творчества. Это не новая, давно известная истина, испокон веку писатели и художники бежали в природу от цивилизации, чтобы зачерпнуть живой воды вдохновения. Но как и чем черпать эту воду — никто не знает, а в повести механика зачерпывания прослежена от начала до конца, а ведь это механика сотворения чуда. Значит, Нюрка, или по-взрослому — Анна — современная волшебница? Одного Ларичева не поняла — кто и что питает саму волшебницу. Она выхаживает задохшегося сома в ванне и аналогично ему — заблудшего исписавшегося художника. А сама она откуда взялась? Она — из лесного дома в ласковом лесу, она его дочка. Она иначе не может, как приходить, выскрести грязь, облагораживать заброшенное, налаживать разломанное, топить, утеплять, настаивать травы — и, набираясь силы, — идти дальше жить в дымный город. На это было по-настоящему завидно... Но какая-то затылочная мысль тревожила Ларичеву, она никак не могла поймать ее... Может быть, она подсознательно искала того же, что и заблудший художник? Хотя она не жаловалась на отсутствие материала. Наоборот, его было много. Если художник хотел писать, то Ларичева хотела НЕ писать, или НЕ хотела писать... Неужели она надеялась, что

---

сможет по примеру Ньюры возиться с кошками-собаками и сможет забыть компьютер, как забыла когда-то печатную машинку? Когда ей даже собственные дети не помогли забыть это...

Шок был даже в предмете. Писатель Радиолов говорил, что он не любит у начинающих читать про писательство: еще не умеют писать, а уже пишут, КАК они пишут. Здесь как раз было описание, как писать. Захватывающая штука! Тут Радиолов мог не давить авторитетом, технология творчества всегда была интересна Ларичевой.

Романа любовного не случилось — и это второй шок. Может, автору этого и хотелось, но на это не вывернуло. Оказались, видно, близко проблемы поважнее, чем любовный роман. Для челябинки! Но для Ларичевой, которая любила любовь во всех видах, это было подобно грабежу. Как так — нет любви, почему? Как можно без этого жить? Какой смысл? Да и кого тогда мужчине любить, если не спасительницу свою? А ей кого нежить, кроме найденыша своего — тут сразу вспоминались женщины на войне, знаменитый «Сорок первый». Нет, без любви очень страшно, непривычно. Если ты творец, но зарядился от другого — то что, разве не самоценно произведение? Какая же разница, что было толчком! Оно же родилось, это ли не результат!

Герой повести создал два шедевра от столкновения с Нюркой. Но его приятель просек, что тут есть влияние, «бабская постановочка», и не поверил в подлинность... У Нюрки это не последние шедевры. Дико, что художника мучает не то, как создать шедевр, а то, как его оценят. Он ошибся, бедняга — так же, как и Ларичева... Творческие мыканья — это не ново. Ново не просто себя выразить, а дать выразиться другому. Себя понимать — куда ни шло, но понять другого — так, чтобы нацелить на шедевр — это для Нюрки главное.

Ларичева не вспоминала никого из тех, кто ее понял или нет. Она вспомнила, что сама она такой ни для кого не была. Что значит закусить удила и других расталкивать локтями! И не видеть, не слышать, как рядом сдыхают такие же, как ты. Ладно, что ее не пожалели, не подхватили, как на болоте. А вот она-то чего думала? Она на кружке зачем громче всех орала? Затем, чтоб ее, именно ее, обсуждали? А дело, оказывается, не в этом... Дело было в том, чтоб найти объединяющий момент, и в этой точке именно ее опусы оказались единственной косточкой, на которой можно попробовать свои зубки.

Заливал горячий стыд, как горячий хлористый внутривенно. Сминало и затопаляло нерасчетливое великодушие. Спасу всех, кого могу, а там как хотите! Вот оно. За это никто никогда не покарает. Не было возможности у Ларичевой посидеть и порешать, ее это среда или нет. Шаракнуло... Да сразу и стало — ее. А инструмент простой, вековечный.

«Улица перекрещивались Вселенные тонкими сухими травами. Okоло ладони отдыхал разбойничий топор. Они оба были сегодня мужчинами, добыли ведро воды. Женщина напоит их чаем... И тут вплотную с ним взвляла протяжная нечеловеческая угроза, слилась с тоской зимы и воз-

---

неслась к Млечному пути, побледневшему от лунного восхода.

Он взлетел, вспорол коленями снег, ознобной ладонью пытаясь схватиться за топор. Он не мог понять, кого вывернуло с такой истощающей судорогой, его кисть или топориче, но соединиться с ним в одно целое он не мог. Он сипло задохся, кинулся спасаться к Нюрке и онемел: она сидела и выла волчьим голосом...

Он попытался вплести свой цивилизованный голос в дикое Нюркино струение. Чтоб не видеть позора — зажмурился. Наконец визг стал выплываться в плавное дичание. Он дичал настойчиво и долго, медленно приходя в восторг от своих неведомых возможностей. Невольно запрокинул к небу горло, и тогда к ним присоединилась тоскливая песня луны.

Так зазвучало трио о неведомой собственной жизни, о канувших предках, о свободной душе среди леса и снега и о свободном товарище рядом, об истинной своей достаточной силе, обретшей властное протяжное звучание прямо в небо, и о вечном одиночестве каждого сильного...».

Одиночество сильного. Что же говорить тогда об одиночестве слабого! А слова какие неожиданные — «перекрещивались Вселенные», «струение», «дичание». Ларичева не знала таких слов, но ощущала их плотную материю. Эта плотность оказалась проникаемой, сквозь нее можно было проплыть, но и она проникала сквозь кожу.

Температурный накал тайгановской прозы оказался настолько велик, что перешиб собой все реалии действительности. Так с заоблачных грозных утесов могла хлынуть лава. Ларичева ослепла и оглохла от этой температуры. Последними затухающими усилиями она заставляла себя отпрянуть и отринуть, потому что любой протуберанец — это не то, с чем рядом можно анализировать: пока раскинешь мозгами — и дым пойдет.

«Чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю!» — пел Высоцкий, вот и Ларичева прониклась наконец, пропадала, пусть и по-своему, и она вспоминала: вот она на болоте и вот Нюра на озере. Вот Ларичева на коленях и вот царственная всемогущая Нюра. Вот Ларичева, вымаливающая любовную милостынку, и вот Нюрка, великодушная дарительница ласки всему живому. Вот Ларичева в городских казематах и на покрытой снегом ниве... И вот Нюра, умеющая жить всегда, везде, от пустыни до набитой сомами ванной... И Нюру никто ничем не пичкал, она тыщу лет все это знала. Сама!

Так кто же из них должен говорить, а кто молчать? На семинаре выбирали лучших. Конечно, челябинка должна говорить. Греметь органом! А Ларичева, затурканная на этот раз ощущением собственной ничтожности, она должна все забыть и стать просто женщиной. Разве это плохо? Вон сколько почета женщине-матери! По телевизору... Но Ларичеву никогда не покажут по телевизору, это ясно. Ей семь верст до небес и то лесом... Который с буреломом.

«Вы понимаете, — отвечала она Нартаховой, — я не могу справиться с этим водопадом. Но мне не стыдно это, ведь даже светило из универси-

---

тета сказало, что не понимает челябинку. Важно другое. Чем больше я ее читаю, тем меньше во мне страха. Ну, пусть я не писатель, просто человек, но чем больше я читаю, тем страшнее за нее. Если я не окликну, и никто не окликнет, что с ней будет?! Как она узнает, что мучилась, писала не напрасно? Все формулировки отпали пожухлой листвой. Пускай ревет челябинская симфония! Жизнь есть трагедия, ура...».

Ларичева разбилась о челябинку, как волна о берег, она стала маленькой песчинкой, готовой раствориться в чужом океане. Ей давно казалось, что она не существует. Ходить, таскать сумки, щелкать на «Искре», жарить, гладить, разнимать детские драки мог и автомат. Но смешливая растрепанная ворона Ларичева, жадная до жизни и шоколада, паникерша и нытик, она исчезла. Остался лишь пустой модуль, дубликат. И тут возникло органическое буйство чужой души.

И оно еще обжигало! Еще было, оказывается, что обжигать! Жизнь выступала из давно бесчувственной доски, из деревяшки, подобно каплям смолки. Сколько уж страдать можно, надоело страдать, а тут, смотри-ка, волна разбилась, хлынули капли и выжались через сжатые щели ресниц...

Труп жалко заморгал и поднял свинцовые веки. И разжал чугунные руки, и открыл цементные губы.

«...Надо челябинке написать. Она просто титан. Но надо, чтобы она знала, что она титан. И для всего человечества — и для меня лично. Это не повесть, извержение вулкана. Слова и фразы пудами золотой руды. Неужели это живая женщина написала? Тогда спаси ее Господи...».

Произошло спасение, замещение, перевод проблемы с себя на другого, точно так же, как бывает на приеме у врача. «На что жалуетесь?» — «Я нет, ни на что, а вот моя подруга...» — «Что там с подругой?». И дальше раскрывается полная картина.

Ларичева не знала, что у ее хвори есть простое название — творческий кризис. Ларичева могла запрещать писать себе самой, когда это было потаканием личной страсти. Но она не могла спокойно смотреть на чужие страсти, она заражалась ими, как лихорадкой. Не умея помочь себе как писателю, она помогла себе по-человечески, кинувшись утешать того, кому было тяжело. Вернее, она даже не знала про это, просто хотела отдать должное автору. Ее не волновало, нужно это автору или нет. Она была уверена, что нужно! И, по крайней мере, так она не сошла с ума. Всевышний не оставил Ларичеву на произвол судьбы. Подсунул ей заботу о ближнем и отвлек от депрессии.

Вскоре ей пришло ответное письмо от челябинки: «Твое письмо поддержало меня в тяжкую минуту... Моя оценка обычно жесткая, но есть чутье главного и возможность подсказать тем, кто к этому главному идет... Пиши Бога ради. Ради людей. Ты должна состояться».

Что-о-о? Ларичева должна состояться? Да неужели? Да что она такого и написала по сравнению с челябинкой? Десять рассказов, и набросок документальной биографии? Два сна да две публицистики? Что там

---

еще? Ах, стихи. Да, один из кентавров, тот, что с седой прядью, говорил именно про стихи. Так что для начала есть, что послать. Да нет, не стихи, конечно. Надо послать ей «Аллергию» и вот ту самую историю про семинар. Ведь челябинка там была и конечно, все помнит. И еще надо ей послать Упхола. Вдруг у нее будет мнение, отличное от радиоловского?!

## ЭПИЛОГ КОРИЧНЕВОЙ ПАПКИ

Прошел год. Управление доживало последние дни, не желая приватизироваться. Бюджетные ассигнования — йок, вдруг иссякли. Под светлыми сводами управления началась долгая и мучительная реорганизация, в результате которой умные люди первыми покидали это подобие «Титаника». И в их числе — конечно, Губернаторов. Он зашел в статотдел не к Забугиной, потому что Забугина родила и сидела в декрете. А к Ларичевой, которая сидела и рвала бумагу, такая у нее теперь была узкая специальность, рванье рулонов после «Эры».

— Приветствую вас, господа. Зашел поздороваться и проститься. Удаюсь, как бы сие ни было прискорбно.

Странно, но Нездешний никогда не реагировал на это приветствие, не среагировал и сейчас. Но Губернаторова это, видимо, не смущало.

— Прискорбно для вас? — Наклон к бумагам.

— Для управления, конечно. — Снисходительная усмешка.

— Нашли еще более высокооплачиваемую работу или дело открыли? — Безразлично-спокойно.

— Меня пригласили работать в банке. — Победный блеск темных очков.

— Можно только позавидовать банку. — Натянута улыбка.

Замолчали. В отделе, кроме них и Нездешнего, никого не было.

— Где же у вас работницы статистического фронта? — Беглый рассеянный взгляд по пустым столам.

— Мотаются по филиалам. Якобы на ревизию, сами работу ищут. — Гордое вскидывание головы.

— А вы? — Лукавый ленинский прищур за темными стеклами.

— А мне все равно. — Улыбка, переходящая в истерический смех.

— Ой ли. У вас появился дополнительный источник доходов? — Светский тон.

— Да нет. Просто мне все равно. Все умрем когда-нибудь. — Деланная небрежность.

— Приятно видеть в меняющемся мире нечто неизблемое. Это характер милой Ларичевой... Как поживают ваши литературные занятия? — Сама учтивость!

— Я завязала с этим делом. — Тьфу, надо было сказать «прекрасно».

— Напрасно. Решили быть хранительницей очага? — Почти сострадание.

---

— Ничего я не решила. Нет таланта, так что ж делать. — Сама кро-  
тость.

У нее ни один мускул не дрогнул. Она равномерно пазгала толстые  
листья, прихватывая их линейкой и обсыпая холеного Губернаторова  
бумажной липкой пылью. Та же пыль оседала на ларичевское зеленое  
платье в клеточку, с белым воротничком, на русые волосы, раньше тор-  
чавшие во все стороны, теперь зажатые зеленым бархатным ободком и  
заправленные за ушки с дешевыми серьгами.

— А ваш чумазый приятель из подвала, электрик?

— Упхолов поступил в литературный институт, и скоро его примут в  
союз.

— Какое детство. Он что, станет от этого лучше писать?

— Он пишет все лучше, потому что он талант. Лучше вступить в  
союз, чем сидеть в поганом подвале.

— Одно другому не мешает. Мне пора идти. Но как же вы?

— Спасибо вам. Вы столько сделали.

— Не благодарите. Если бы вы не отдавали мне долги с таким маниа-  
кальным упорством, то я мог бы считаться меценатом. Ну, а так — ерунда...

Ларичевой захотелось сказать ему что-то хорошее.

— У нас был вечер в библиотеке. Приносили новые журналы, книж-  
ки. Ну, я и купила годовую подписку — знаете чего?

— «Бурды моден», наверно.

— Ой, что вы, один номер — целое состояние. Нет, конечно. Подпис-  
ку журнала «Путь к себе». Только из-за того, что на обложке имя Ошо  
Раджниша стояло. Так что, если б вы не уволялись, вы бы порадовались

...

— Это отрадно. — Губернаторов улыбнулся. — Прочитав все это, вы  
опять начнете писать... Тем более ваш кружок по развитию речи, как он  
без вас. У вас же юбилей в этом году — вам пятнадцать лет или двадцать...

— Нет, ни за что. Я не буду эти заниматься. Без меня пускай!

— Увидите... В конце концов, будете. Если вас не понимают в местном  
союзе, вы можете создать свой союз.

— Если каждый начнет создавать союзы под себя, то получится пол-  
ный бардак.

— Ну и что? Все же есть альтернатива. Если не хотите прогнуться  
под кого-то, то, значит, мир прогнется под вас. Так считает товарищ  
Макаревич.

— Не знаю такого.

В этот момент нервно зазвонил телефон. Сигнал был какой-то сплош-  
ной, пульсирующий, как при междугородних вызовах.

— Слушаю вас, — трубу снял Нездешний. — Что-что? — потом долго  
молчал. — Да, существует... Просят госпожу Ларичеву.

Ларичева заледенела.

— Да, — низким голосом сказала она и сама себя не узнала.

— Добрый день, госпожа Ларичева. Вас беспокоят из московского  
представительства «Немецкой волны». Вы получали наше письмо?

- 
- Никакого письма не было. А что случилось?
- Так вы и про конкурс ничего не знаете?
- Не знаю.
- Значит, вы не собирались в нем участвовать?
- Какой конкурс, понятия не имею. Как же я могла участвовать?
- А вот как. Значит, ваши друзья прислали нам или, может, передали с представителем на конкурс «Лучший радиорассказ» несколько ваших работ. Это было еще до объявления условий, но мы их задействовали. А потом выслали вам анкету участника, понимаете? Чтобы соблюсти правила. Получилось, что по результатам вы заняли второе место, а документы от вас не пришли. Как это объяснить?
- Мама родная, ну, не было, не было никакого письма. Может, вы пришлете во второй раз?
- Хорошо, я постараюсь прислать. У вас адрес не изменился? – Он прочитал адрес.
- Нет, не изменился, но откуда он у вас?
- Адрес я переписал из толстой папки коричневого цвета... Если вы быстро пришлете в Москву вашу анкету, я возьму с собой, я вылетаю в Кельн через несколько дней.
- Хорошо, я все заполню, положите лишний листочек, вдруг ошибусь. А потом, что потом?
- Все прочтете в условиях. Если вам оставят второе место – это при наличии всех данных – то, возможно, придется приехать в Кельн. Но об этом вам дополнительно сообщат. Просто доктор Буркхардт поручил мне прояснить ваше молчание. Конкурс был в прошлом году, а сейчас подведены итоги. Было бы просто жаль, если бы способный литератор, первым приславший работы, был обойден.
- Скажите, а там что надо-то? Паспорт заграничный?
- Разумеется, да. Но прежде побывать в ОВИРе, тоже заполнить анкеты, четыре фотографии будут нужны... Паспорт заграничный долго оформляют, а с приглашением это сделать проще. Мы вышлем вам официальное приглашение, в консульстве откроют визу на въезд в страну. К сожалению, мы теперь не можем оплатить дорогу, как это было раньше. Поэтому вы позаботьтесь об определенной сумме денег, они вам понадобятся и на обменный фонд дойче марок...
- Но у меня их нет...
- Об этом мы поговорим позже. Запишите мой московский телефон... И я запишу ваши данные. Всего доброго...
- Ларичева положила трубу, и опять задребезжал междугородний автоматический сигнал. Стих.
- Что вы опять натворили? – спросил Нездешний.
- Натворила не я, а мой муж. Он отдал мои рассказы какому-то немецкому представителю, от него неизвестно как они попали на «Дойче велле», и вот корреспондент радио сказал, что второе место в конкурсе. Они письмо присылали, да оно не пришло, письмо-то. Снова анкеты, то да се. Дойче марки менять...

---

— Так вы поедете в Германию? — Нездешний взял ее за руку и погладил. — Зачем же плакать? Это изумительно...

— ...И он говорит, было задействовано. Значит, по ихнему радио читали? А я ничего не слышала. А я тут... Да все равно я никуда не поеду... — она выдернула у Нездешнего руку и плечи ее затряслись. — Детей девять некуда, мужа месяцами дома нет, а денег нет тем более. Смешно даже...

Нездешний ничего не сказал. Ему надо было Ларичеву сокращать, и больше он ничего не понимал. Германия, дойче велле... Вот заботы у людей... У Нездешнего были большие проблемы с кадрами. У Ларичевой не удалось мемуары. У него не удался переворот. В стране творилось неизвестно что. Ну, что ж, он должен уйти последним.

Со своего места поднялся безмолвный Губернаторов и вынул из папки какие-то бумаги. Он положил их перед Ларичевой и произнес неожиданную речь:

— Вот ваш рассказ «Аллергия», я его переснял для забавы, когда читал, а потом забыл отдать. А вот еще парочка ваших текстов, они почему-то затерялись в моем столе. Возьмите на память. Там есть мои пометки и пожелания. Помню, на вас произвела впечатление сказка Ошо Раджниша — это ваш ориентир. Вот вам и сказка эта, и еще кое-что на ту же тему. Не бойтесь быть собой. Не бойтесь быть счастливой здесь и сейчас. Вот тут в конверте — спонсорская помощь будущему литературы. Не могу удержаться от красивого жеста! Понимаете, вы просто взяли тайм-аут. Ничего страшного. Вы не пулемет, чтобы все время строчить, не переставая. В вас происходит накопление материала. Творческий кризис. А кризис — это вопрос времени. Вы ничего не выбрасывайте. Просто сделайте вид, что специально устроили себе перерыв. Специально. И никаких возражений! Если никуда не поедете, так хотя бы книжку рассказов издайте. Очнитесь, вы же не спящая царевна. Что вы так смотрите? Я что-то смешное сказал? Мой банк находится на углу, там, где раньше была биржа труда. Вы всегда мимо ходите. До свиданья. Да, забыл вам передать привет от Забугиной. Она ждет вас в гости. Как это вы ее с малышом еще не навестили? Вы же подруги. У вас опыт есть по воспитанию детей. А у нее нет. Кто ей поможет? Принес я ей книгу доктора Спока, она меня на смех подняла. Новости ей расскажете, вот про «Дойче велле», она знает, как обрадуется... Кроме того, у меня такое впечатление, что она теперь тоже жаждет вступить в ваш легендарный кружок по развитию речи. Одной работой, знаете, не исчерпывается жизнь, жизнь богаче намного... Милая Ларичева. А ведь это вы на нее повлияли, признаться! Пока-пока.

И он вышел.

А Ларичева прерывисто вздохнула, села на свое место и начала опять рвать бумагу. Интересно, это ее блестящая перспектива на сегодня или на ближайшие десять лет? И для этого надо было пять лет учиться в институте? Нет, это просто абзац подкрался незаметно. У них присланы практиканты из политеха, которые сидят и ржут в приемной, Ларичева сама

---

их видела, когда за почтой ходила. Они будут ржать, а Ларичева бумагу рвать? Хорошо придумано, нечего сказать. Ну и что, что реорганизация, и всем не до них. Ларичевой — вот как раз до них. Посадим их во второй комнате, где сейчас никого...

## СЛЕДУЮЩИЙ МОМЕНТ

Интересно, когда будет порядок на этом «Титанике»? Ларичева сцепила зубы и пошла в приемную. Там она сказала секретарше, что практиканты в количестве трех человек пока пойдут в статотдел, так распорядился Нездешний.

— А документы, а направление?

— Давайте, подпишу.

И сама подписала направление. Там, где стояло «ответственный за практику от организации»! Неслыханное дело. Нездешний, когда они пришли в отдел, вообще ничего не понял. Ларичева выдала им рулоны, показала, где их брать с «Эры» и куда отдавать разрезанные материалы — вон, стоят ячейки в секретариате, вы видели? Видели. Удобства находятся в другом конце коридора, не там, где входите на этаж, и где секретариат, а в противоположном. Чайник и чашки вот здесь. Чай в одиннадцать, обед в четырнадцать.

Следующий момент. Тетради по практике есть? Нет. Та-ак, где у нас канцелярские? Загремела туго открываемым сейфом. Пишем: три тетради для практики. Распишитесь тут. Размножение на «Эре» делается для того, чтобы официальные материалы рассылать по филиалам, которых двадцать. Сейчас быстро пройдем по отделам, и вы поймете структуру управления, а также следующий отдел, куда пойдете после нашего. Все, что поймете, изобразите в виде схемы, мне покажете. Все вопросы к начальнику отдела Нездешнему — вот он. Вы ответите на вопросы? Конечно, ответит. Ну, или ко мне, если его не будет. Да, я заместитель, Ларичева, да. Тетради давать на подпись каждый день.

Пацаны не выделялись. Им надоело торчать в приемной без дела. Один из них уже вовсю пылил рулонами. Другой разглядывал допотопную «Искру» и раздолбанный компьютер. Ему она поручила проверить всю оргтехнику, двадцать три единицы и отнести заявку в отдел механизации, там сидит мужчина с бородой. И подумала про себя — который спасал мне жизнь на клюкве, крича «вставай, у тя двое детей»... Третий вытарашенный пацан записы-

---

вал за Ларичевой. Потом она провела их по отделам и была в своей решимости хороша.

«Так, следующий момент. Где вообще Упхолов? Она наверняка не отослал все институтские документы, рыбий глаз. Сейчас мы ему покажем».

Ларичева спустилась в подвал, где электрики. Там в неурочный час было уже разлито. Она посмотрела на людей, которым тоже делать было нечего и вдруг сказала:

— Не плеснете?

Упхолов нашел себе верх с пробкой от пластиковой бутылки, а Ларичевой дал свою чашку. У них было не принято спрашивать — чего, зачем. Чокнулись, запили и быстро разошлись по местам.

— Должна буду, ребята.

— Брось. Чего у ты стряслось-то, Ларичева?

— Да вот, какая-то ерунда с этой «Дойче велле». Вроде второе место, позвонил человек из Москвы, а я и поехать не могу. Расстроилась. Ну, фиг с ним. Документы в порядке?

— А то. Вот на сессию поеду, установочную.

— А ты перед отъездом мне «Проньку-колдуна» дай, окончание.

— Зачем? Мне некогда... Линькова тут опять начала...

— Я тебе дам Линькову. Давай окончание, будем сборник делать, только маленький.

— Мне пообещали денег.

— Кто?!

— Спонсор...

Упхол показывал щелочки вместо глаз...

— У меня только неоконченный вариант, понимаешь, там бы надо еще церковь прописать.

— Давай неоконченный! Напишу, что отрывок, или что продолжение следует. Хотя понимаю, может, оно и не последует... А то ты запьешь, где я тебя потом буду искать!

— Слышь, Ларичева. Мне премию Лескова дали. Тебе что купить? Как всегда, амаретто? — он понизил голос, оглядываясь по сторонам.

— Деньги не трать! Давай их сюда! Все пропьешь, мама родная! Давай! Мне же не хватит на сборник-то! — Ларичева вообще не стеснялась. Сразу перешла на рукопашный.

— Ну, ты че, жена?.. Ну, ладно, ладно. Вот столь тебе, вот эстоль Линьковой...

— Все, хватит. Вот так будет справедливо. Осталось понять, когда ты приедешь с сессии.

---

— Дак через месяц. А че, горит?

— Нет, Упхолов, ничего, не то, не горит. Просто у нас будет юбилей в этом году. Двадцать лет со дня основания. А старец наш седовласый в больнице. Надо выступить, надо статейку тиснуть,

— Ларичева озабоченно вертела упхоловскую чашку, довертела ее до конца и уронила. Упхол поднял и потряс, не выльется ли чего.

— Статейку пускай Нартахова, она теперь в еженедельнике сидит.

— Слушай, а у меня есть анекдоты про наш кружок! Я поищу дома...

Следующий момент. Где косметичка? Содержание тяжелого рабочего портфеля показало: переспевшая, в крошках, старая помада, затупленный с двух концов карандаш для бровей и полное отсутствие туши. Да, румянец из этой помады тоже переспелый, че-зэ. Ларичева сходила в АСУП, поинтересовалась, кто сейчас занимается косметикой. Ах, Шевелева! Привет, Шевелева. «Ланком» и тушь сейчас, а молочко для снятия грима завтра. Как наоборот? Что еще за аромат для ванны? Ну, давай...

И следующий момент.

Как она соскучилась по Забугиной! Как давно она не слышала ее дурацких шуточек! А что малыш? Подумаешь! Малыш не виноват, чей он сын. А эта растяпа наверняка не знает, что ей надо периодически выкладывать дитя на живот, небось, пучит животик, так он и орет сутками. Надо же костюмчик купить, погремешки, неудобно с пустыми-то руками...

Еще раз мысленно пожелаем здоровья товарищу Губернаторову...

И за мальчика в садик по дороге заплатить. И дочке форму для физкультуры... Та-ак. И как далеко зашли наши долги? Так-так... А недалеко и зашли. «Эра»? Шоколадка? Что за шоколадка? Ах, да. Ну, отдавала же я кое-что на «Эру», да не по работе, да, из журнала копию сделать, конкурс там какой-то объявили. Надо купить шоколадку в буфете, иначе снова все забудется. А бумажку отдать в кружок, нет, ее надо прикрепить у библиотеки, так как каждый сможет поучаствовать, а то ходи, объясняй каждому... Кстати, почему же нет библиотekarши? Может, у нее депрессия? Надо позвонить библиотekarше, побороть ее депрессию, заодно узнать, где ключ.

Она сидела в статотделе, вокруг кипела работа. Вермут от электриков приятно кружил голову. Работать не хотелось. В душе ее происходило что-то, чему она еще не знала названия. Она смотрела на Нездешнего, который сидел, зарывшись в бумаги, а рядом

---

остывал его персональный бокал с чаем. Надо же, до чего трудоголик! До чего честный. Интересно, почему он ее в список на сокращение не вписал? Наверно, жалеет ее, думает, что раз у женщины чувства, ее нельзя травмировать. Но как же он выкрутится? Ведь больше и некого сокращать! Следующий момент?

— Извините! — обратилась она к Нездешнему. — Вы меня не отпустите проведать Забугину? Как это так, наш профком до сих пор не произвел никаких движений по поводу рождения ребенка? Ну, мало ли что перестройка. Дети рождались у людей даже во время войны. Да, я думаю, мы с вами можем это исправить. А сколько дадите. Его, кстати, как назвали? Тоже не знаете? Но ребенок-то мужского пола или? Все-таки на цвет подарка влияет. Поразительно.

И, не дожидаясь ответа от изумленного до не могу Нездешнего, аккуратно все сложила на столе, закрыла портфель и вышла из отдела.

Сидишь, сидишь, не думаешь ничего. Раз думнешь, и то нехорошо — так говорил их идейный вдохновитель, белый старец, русский поэт. А что тут думать? Есть вещи, которые думой не одолеть, только если вставать, да идти. И — следующий момент...

*г. Вологда*

**Галина Щекина**

**Графоманка  
роман**

*Компьютерная верстка  
и дизайн обложки  
Эвелины Ракитской*

Издательство «Летний сад»  
Издательское содружество А. Богатых и  
Э.Ракитской (Э.РА)  
Св-во о государственной регистрации  
издательской деятельности №30477000035725

Москва, пр-д Нансена д. 4 корп. 1  
тел. 8-962-904-46-18  
сайт:  
<http://www.era-izdat.ru>  
Интернет-магазин:  
<http://era.selena-studio.ru>

Гарнитура "Times New Roman Cyr".  
Формат 60 х 84/16  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
12,25 уч. изд. л. Тираж 1000 экз.

Заказ № 379  
Отпечатано в типографии «Два комсомольца»  
г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 2-203

